

Георгий Владимов

ВРЕМЯ СВОБОДЫ





J. Braden

Георгий Владимов
ВРЕМЯ
СВОБОДЫ

литературная критика • публицистика

«Вагриус»
Москва 2005

УДК 882-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
В 57

Художник Андрей Рыбаков

Владимов Г. Н.

В 57 **Время свободы : Литературная критика. Публицистика /**
Георгий Владимов. — М. : Вагриус, 2005. — 464 с.

ISBN 5-9697-0111-4

В четвертую книгу сочинений Георгия Владимова вошли его избранные литературно-критические статьи, открытые письма, интервью, выступления на радио «Свобода».

Материал расположен в хронологическом порядке, что помогает проследить творческий путь автора — от первых рецензий, опубликованных в советской периодической печати до материалов маститого писателя, лишённого гражданства и жившего до последних дней своей жизни в вынужденной эмиграции.

УДК 882-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Охраняется законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9697-0111-4

© Владимов Г. Н., 2005
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2005

К СПОРУ О ВЕДЕРНИКОВЕ



1

Довольно нелестное мнение о главном герое драмы Арбузова «Годы странствий» сложилось настолько прочно, что всякую попытку реабилитации Ведерникова стоило бы заранее признать безнадежной. Спорить со всеми критиками решительно невозможно: не только потому, что одного перечисления уважаемых фамилий стало бы на добрую страницу, и совсем не потому, что столь неопровержима их аргументация — таковой в большинстве случаев вообще не наблюдается, и обвинения, которыми герой начисто побит и скомпрометирован в глазах читателя, окажутся взятыми напрокат из реплик и монологов самих героев, и главным образом самого Ведерникова.

«Сложный человек!» — категорически утверждает критик. Герой же — покорно соглашается: я и сам себя не часто понимаю...

«Дурной человек!» — и на этот раз ответит он: страшно подумать, как я жил до войны!..

«Эгоист!» — о нём так и говорят: если бы он понял всю меру своего эгоизма, то ещё застрелился бы, пожалуй...

«Расплачиваться за его поступки приходится прежде всего другим» — ...он всё отнял у меня, даже мою любовь к нему...

«Он растратил все свои моральные ценности и ждёт, когда счастье, слава придут к нему в руки», — ...ведь плохо с тобой, совсем, брат, плохо! Ничтожно ведёшь себя! — сурово откликаются герои... И сам растратчик, — «вздорный, слабый», — сознаётся довольно словоохотливо: «Уходят дни, и я, как зевака на перекрёстке, стою и любуюсь».

Следовательно, спорить придётся не столько с критиками, сколько с автором, с драмой и её героями. В этот спор я был вовлечён уже в первом акте, когда один из героев (который «смотрит на мир с восторгом и удивлением») сообщил: «Шурка с утра в анатомичке»; одна из героинь, настроенная явно против Ведерникова, съязвила: «Любимое занятие — резать трупы!», а третий — герой, безусловно, многоопытный и положительный настолько, что фигура его «производит впечатление силы», нехотя заявил: «Он никогда не старается казаться лучше, чем он есть на самом деле»... Чего же вам ещё? Вам представляется возможность наблюдать становление характера сильного и честного человека, который смолоду любит работать, жаждет постичь то, чего до него никто не знал, и совершенно искренен в словах и поступках. Будьте за эту судьбу спокойны: если не сломает его трагическая случайность, он станет человеком, он уже человек, — потому что, как бы он ни метался, как бы тяжело ни ошибался, ни падал, в каких бы его щёлоках ни варили, он знай себе режет трупы, нимало не заботясь выглядеть красиво, да ещё и поругивает себя за никчёмность и бесхарактерность.

Ничего нет проще, чем прикладывать к человеку те эпитеты, которыми сам он себя казнит или казнят его окружающие, которые, правда, моложе критиков по возрасту... Некоторые наши критики приобретают по мере накопления стажа и опыта странное обыкновение: сядя за письменный стол, молниеносно забывая о соли и плоти житейской, о простейших будничных мерках, коими, состав от трудов литературных, будут мерить своих знакомых и самих себя... Впрочем, это ещё не смертельно. Хуже — всё ещё довольно распространённый в критике грех — невнимательность, какая-то фатальная близорукость. Один

пример. Много раз обещает Ведерников: «Я больше никогда не стану лгать». Критик раздражается: «Когда же он действительно перестанет лгать?» А когда же он, Ведерников-то, лжёт? Он больше кается, а лжёт-то всего дважды, безобидно и без выгоды для себя, и тут же, спустя минуту, признаётся. Поступки Ведерникова кажутся критику «скорее красивыми, чем искренними», — это уже поклёп несусветный. Жена Ведерникова, Люся, говорит ему восторженно: «Какой ты красивый! Господи, почему ты такой красивый?» Ведерников, которому по ремарке красивым быть не положено, отвечает: «Много каши ем». Павлик Тучков хвалит его за достойное поведение на ринге — Ведерников отмахивается: «Да... Особенно когда упал на четвереньки!» Удивления заслуживает поразительная неприязнь героя ко всяческой красивости, упрямое стремление не выделяться, стряхнуть с головы ореол, который на него незаслуженно напялили и за который так ему достаётся! Но не выделяться он всё-таки не может, ибо талантлив, умен, искренен и — чего греха таить — тщеславен.

Но самый-то слон, которого не заметили, не здесь. Если это человек дурной, вздорный — и только, почему же он оказывается внутренне подготовленным к большой, мучительной борьбе? Откуда, из какой раздвоенности и эгоизма нашлась у него упрямая, негибкая сила, когда, голодный, бездомный, попрекаемый дезертирством, работает он над своим препаратом с надеждой спасти жизни тысяч солдат, добивается первой победы, отказывается от славы, уходит сам на фронт?.. Прежде чем торпедировать Ведерникова ругательными и бездоказательными словами, не мешало бы критику задаться вопросом: что он такое, Ведерников?

Вера Смирнова в статье «Дни и годы Александра Ведерникова» пишет: «“Годы странствий” — лирическая хроника, если можно так сказать, частный дневник поколения, точнее, «история молодого человека», — одного из людей этого поколения»... Итак, Ведерникову усиленно отказывают в типичности. Это не поколение, даже не часть его, а только *один* молодой человек, чья жизнь может

быть названа историей только в кавычках и записана в *частном* дневнике конфиденциальной вязью лирической *хроники*. Отказав герою в типичности, критик далее отказывает ему и в исключительности, и даже создаёт весьма любопытную концепцию равновесия, по которой наш Ведерников пашет золотую середину между «блистательным талантом» и «просто пижоном, лентяем и хвастуном», то есть находится в таком фантастическом состоянии, когда его «стоит только чуть *перегнуть* в одну сторону» — и получится «учёный, новатор, и прочее, и прочее, и прочее», «а пусти его по наклонной в другую сторону», и он вдруг захочет «жить без усилий» и пленять «воображение юных телеграфисток, стенографисток, студентов». Не странный ли это, однако, субъект, которому так недалеко до истинного героя, что, даже будучи пущен по наклонной, он ещё способен пленять воображение, и даже без усилий! Мы шаг за шагом станем искать разгадку и наконец наткнёмся на «противоречивый, неустойчивый, выпирающий какими-то углами из нашей действительности, нелепо складывающийся, тяжёлый для других и самого героя характер». Нам ещё неизвестно, что за грех такой — «выпирание какими-то углами» из действительности, но всё остальное — противоречивость, неустойчивость, нелепость складывания, тяжёлые для других и самого героя, — задержит наше внимание и покажется знакомым. И на вопрос о том, кто же увидит себя в герое нашем, мы вправе без колебаний ответить: многие.

«Мы где-то видели его, — говорит Вера Смирнова. — Он нам кого-то напоминает. Он мог быть нашим мужем, или братом, или возлюбленным»... В тысячу раз более правой оказалась бы она, если бы вместо «где-то» сказала «когда-то». Ведерниковы живут не в пространстве, а во времени. Это не поколение, не часть его и не тип, а только *период* одной его разновидности. Понятие «Ведерников» объединяет многих, точнее — всех тех, кто жить ещё не умеет и жаждет научиться, кто понимает своё несовершенство и торопится воспитать в себе человека, самого необходимого на земле, кто мучительно ищет ответов в книгах

и в жизни, кто ненавидит себя за угловатость, ничьёмность, бесхарактерность, мстительно ранит собственное самолюбие, клянёт себя в бесполезности, мечется, ищет, оскорбляет себя и других, вечно собой недоволен, — за что? — за временное несчастье жить в том «проклятом возрасте», когда понимаешь, что жизнь прекрасна, и столько ломается дров, и все — об твою же голову!

Было бы наивностью полагать, что все неприятности этого возрастного кризиса разом уничтожаются с выбором деятельности. С этого они, пожалуй, только начинаются. До сих пор юноша мог ещё жить бездумно, теперь он ищет кратчайших путей, передоверяет своим силам, хватается за сложнейшее, ошибается, разочаровывается, не верит, с яростью наступает снова, делает уйму всяческих бесполезностей... покуда не придёт жестокий вывод: тот, кто стремится исполнить всё в один год, проигрывает пятилетку. А с этим может прийти и самое страшное: сомнение в правильности выбора. Подумайте, чем только терзается двадцатитрёхлетний Ведерников:

«— Но ведь и жизнь одна! Неужели тебя не мучают искушения, Михаил? А вот я ночью просыпаюсь, и мне вдруг страшно от мысли, что я уже никогда не буду геологом, актёром, лётчиком... А ведь я обо всём этом мечтал когда-то! И вот я придумываю себе разные судьбы, сочиняю небылицы... Сегодня, например, соврал одной особе, что я лётчик. Но ведь я мог быть этим лётчиком, — мог и всё-таки никогда им не буду. Никогда, понимаешь, Миша?»

Лаврухин отвечает «непримиримо»:

«— Нет, Павлов перед смертью говорил: помните, наука требует от человека всей его жизни...»

С этой железной непримиримостью мог бы ответить юноше не только тридцатилетний мужчина, лоб которого «изборождён морщинами», но и любой юнец-ровесник, в горячности позабывший, что Павлов сказал эти правильные вещи всё-таки перед смертью; что труднее всего — и непременно эмпирически — постигаются простейшие жизненные истины и что, наконец, «небылицы» эти, если они сопровождаются повышенным интересом и чтени-

ем, — в сущности, очень благодетельны, поскольку с ними юноша унесёт в наступающую зрелость тот необходимый запас дилетантизма, который пригодится ему в будущем в избранной им сфере деятельности. Что же, однако, даст Ведерникову это поучение сегодня? Минутное успокоение — и снова, и снова сомнения и вопросы...

Человек в этом возрасте и такого характера, да к тому же искренний, производит впечатление невыгодное. Он загорается новым порывом уверенности — и выглядит хвастуном. Он тягостно переживает пустячную ошибку — и кажется нытиком. Он углубляется в себя — его считают эгоистом. Он решает «взяться наконец за ум» — его называют бездельником. Он мечтает вслух — мистификатор и лжец! Он вдруг бросается в какое-нибудь сердечное, благородное движение — невпопад! Он, теряя силы, взвинчивает себя напоминанием о славе, об известности, он даже самую малость пробует к ней причаститься, то бишь покрасоваться, посорить деньгами, преподнести какой-нибудь тётке Тасе на последние семейные деньги коробку конфет, — уверяю вас, большего ему и не надо! — и вот уже «растрата моральных ценностей». Я берусь утверждать, что Ведерников первых двух картин, пребывающий в сложном, мучительном кризисе, выход из которого ясен любому внимательному наблюдателю и неясен только ему самому, — болен далеко не угрожающей болезнью, которую ещё в прошлом веке подметила и нашла возможным не «развенчивать» и не исцелять, а даже оправдать русская литературная критика. Дмитрий Писарев, этот «сухой рационалист», человек редкой психологической наблюдательности и смелости мысли, понимавший молодость, как никто, не только описывает эту болезнь, но и даёт весьма оптимистическую перспективу её развития:

«В студенческие годы мы не знаем действительной жизни, но мы живём в области мысли; мы в это время долго, упорно и серьёзно думаем о нашей будущей деятельности; мы подходим к явлениям действительности с очень строгими, быть может, неосуществимыми требованиями;

взгляд наш на человеческие отношения и на предстоящий труд отличается в молодости скорее излишней *торжественностью*, чем излишним *легкомыслием*. Ветренными юношами выходят из университета только те личности, которые всё время своего учения не переставали быть прилежными учениками или резвыми малютками. Молодые люди, мало-мальски умные и даровитые, переживают обыкновенно во время своего студенчества при столкновении с живой струёй науки много тяжёлых и незабвенных минут внутренней борьбы и умственного брожения. Молодой человек углубляется в самого себя и с замиранием сердца задаёт себе решительные вопросы: «Что я такое? Как я проживу на свете? Каков склад моего ума? Каковы размеры моих сил? На что я годен? К чему я себя пристрою? Чем обеспечить за собою право подавать руку честным людям и смотреть им прямо в глаза?» Решение этих вопросов тем более мучительно, что молодость всегда нетерпелива. Молодость *тратит* нерасчетливо всё, начиная от своего двугривенного и кончая своей величайшей драгоценностью — живыми силами организма. Но когда *нерасчётливый* юноша схватывает себя за голову и, потрясённый каким-нибудь новым впечатлением, вдруг с поразительной ясностью чувствует потребность решить вопросы жизни, — тогда юноше кажется, что время не терпит, что каждая минута драгоценна, что надо тотчас сделать решительный выбор, тотчас готовить себя к известной деятельности, что малейшее промедление вредно и преступно, как медленное самоубийство или как позорное отступничество. В уме молодого человека поднимается буря; вопросы решаются сегодня так, завтра — иначе, через неделю — на третий манер. Молодой человек злится, бранит себя за бесхарактерность, выбивается из сил, унывает, потом принимается за работу хладнокровней, потом опять горячится, опять изнемогает, и понемногу в этих *необходимых и спасительных* бурях нашей молодости созревает и складывается сильный и мужественный характер, который будет встречать и переносить с невозмутимым спокойствием и добродушной весёлостью всё то, что пугает, давит, развращает и уродует

мелких людишек, не закалённых в суровой школе внутренней борьбы и умственных страданий. Если молодой человек по нескольку раз в месяц меняет решение важнейших вопросов жизни, то эта подвижность вовсе не доказывает, что решения даются ему дёшево и что он относится легкомысленно к своей будущей деятельности. Меняет он свои решения совсем не для того, чтобы увеселять себя разнообразием; он худеет и бледнеет, он ночей не спит от этого увеселения; чем чаще приходится менять, тем больше он страдает; — да ведь что же делать?»*

Действительно, что же делать? Да и нужно ли что-то делать для усмирения необходимых и спасительных бурь? Я не хочу говорить о «вечных типах» и чувствах, — не для того между нами и Писаревым легло почти столетие, небывалое по глубине и количеству исторических перемен, — но молодость остаётся молодостью; талант по-прежнему доставляет творцу не столько отрады, сколько терзаний; и по-прежнему в муках, как оно и положено всему прекрасному, рождается человек... Поэтому пусть никого не смутит затянувшееся детство Ведерникова: большому кораблю — большое плавание, на то он и долго строится. Это детство — его многотрудное, мучительное становление, и ни к чему приплетать сюда «бездумность и легкомыслие»: и потому, что это неправда; и потому, что легкомыслие не имеет преимущественного возраста; и потому, что дети в большинстве своём не легкомысленны.

Я вижу стоявшую перед автором огромную художественную задачу, которая не всякому по плечу. Здесь, будьте любезны, научите юношу жить, дайте ему веру в себя, проведите по бурному житейскому морю, пока не войдёт он в надёжное возмужание. А для этого не ограничивайтесь советами, а больше давайте ему бороться и падать, ошибаться и вставать, мыслить, любить, разочаровываться и влюбляться снова. Искусство — не юридическая консультация по бытовым вопросам, готовых рецептов оно не знает и не даёт. Горько

* Д.И. Писарев. Сердитое бессилие. — Здесь и далее примечания и курсив автора.

разочаруется обратившийся к нему с вопросом: как поступить в данном случае? Но тому, кто ищет и добивается найти, кто смело идет навстречу раздумьям, искусство ответит на вопросы неизмеримо большие и трудные; и главные из этих вопросов два: как жить и каким быть в жизни?

По силам ли эта задача тому, кто за неё взялся? Соответствует ли она излюбленным методам его работы? Алексей Арбузов — писатель не только оригинального склада мысли, но и один из самых стойких борцов за настоящую тенденциозность. Критика уже отмечала чуткий психологизм его манеры, лирическую окрашенность отношений, терпеливое пристрастие к распутыванию труднейших жизненных узлов; говорилось и о том, что герои его живут каждый своей неповторимой жизнью, что драмы его охватывают временем годы, что «годы проходят между картинами», что автор «не боится быта» и поэтому персонажи его «стирают бельё и считают, сколько дней осталось до полочки». Последнее обстоятельство имело особенный успех — и, говоря по совести, это бельё проливает много света на тайны арбузовской лаборатории, ибо он, очевидно, крепко усвоил истину, что велико по-настоящему то великое, которое не боится складываться из мелочей. Он доказал это уже в своей знаменитой «Тане» и продолжает в следующих драмах. Если перед вами влюблённые супруги, вы поначалу будете изумлены той преувеличенно значительной пустяковиной, что составляет содержание их разговоров: они дурачатся и дурачат вас, бьют символические вазочки, несут лирическую чепуху, торжественно выпускают из клетки воронёнка, вы вовлекаетесь в эту игру — и не замечаете, что уже... началась трагедия! Вы прозевали, прохлопали её начало. Если бы минуту назад вам сказали, что на глаза героини навернутся слёзы, вы не поверили бы, а теперь не знаете, как могло быть иначе. Уже оглянувшись назад, вы поймёте, что художник нигде не переступил ту неуловимую границу, где кончается лирика и начинается пошлость, где сам он перестаёт быть поэтом души и становится бардом кастрюльного быта. Просто вещи у Арбузова тоже играют роли. На чём? — на пуговице раз-

вивает Гаральд Хог тигриную философию стяжательства, а тёти-Тасина «катастрофическая» керосинка напоминает действительно, что это не сцена, а жизнь, — отнеситесь к этому серьёзно. И вы особенно ясно чувствуете, что значит: Оля сейчас уходит на фронт.

Жизнь разбрасывает арбузовских героев: по чужим городам, вокзалам и переправам; и много раз, повзрослевшие, изменившиеся, они встретятся в переплетениях дорог, и будут завязываться новые узлы, закипать новые драмы. Характерно, что каждая картина у Арбузова цельна, законченна, монолитна и обладает всеми компонентами целой драмы: вы найдете здесь экспозицию, завязку, кульминацию, финал... Это напоминает серию одноактных пьес с участием одних и тех же — и всё-таки не тех же самых! — героев. Конкретное драматическое действие сосредоточено в каждой отдельной картине, между картинами сохраняется действие внутреннее, психологическое, герои «уносят» его с собою, и если они находятся во власти событий, то — огромных, охватывающих всю страну или мир. Уже поэтому Арбузов не просто бытописатель, а «Европейская хроника» доказала, что кисти его доступно по размаху огромное политическое полотно. Герои его встречаются не только друг с другом, но и с людьми новыми, пришлыми или оседлыми, у которых учатся жить, перенимают истины и привычки, открывают им новые стороны своих неожиданно многогранных характеров. Интересно не то, что живут они каждый своей неповторимой жизнью, — как же иначе? — а то, что живут они многими жизнями, обогащаются в них, растут — свободно, мучительно, упрямо. Герой в развитии и борьбе — неизменная задача драматургии Арбузова. И эта задача неизменно выполняется теми излюбленными приёмами, которые не так просты, как кажутся, и не всякому по плечу, которые обозначают не только время и место действия, но и составляют особенность композиции, окрашивают прозрачным лирическим полутонem диалоги, придают особенную прелесть и силу отношениям, гранят характеры. Эти приёмы — годы и странствия. Странствия и годы...

Я думаю, нет нужды доказывать, что Ведерниковы могли доверить Арбузову своё воспитание в надежде, что сердечный и умный учитель проведёт их по таким чистилищам, где накрепко познаются истины и закаляется молодая сталь. Эксперимент закалки мог бы и не удался, благодаря ли тому эклектизму художественных средств, особенно опасному для оригинальной индивидуальности, которым слегка грешит Арбузов и который породил в театре фанфарную сцену, где Таню под звуки «Интернационала» толпа поднимает над собой, и столь же помпезный финал «Европейской хроники», — или по той уважительной причине, что автор, создавая драмы годами и будучи более художником чувства, нежели беспощадным мыслителем, мог, чрезвычайно полюбив героев, потерять чувство их социальной определённости и снисходительно обставить их судьбу помягче. Но чего Ведерниковы ожидать решительно не могли — так лишь того, что их оставят на полдороге, приведут наскоро к общему знаменателю и заставят безбожно каяться в молодых грехах, в болезнях роста и даже в «нарушении советского образа жизни». Да ко всему — осудят за безволие и мелкие подлости... Я не думаю, что Арбузова могло увлечь развенчание Ведерниковых. Развенчивать то, что молодо, шатко, зыбко, а подчас и глупо, то, что само себя ежеминутно развенчивает, — задача не слишком благородная. Но постегать их малость за дуракаваляние, соскоблить запачканную кожу, выправить мозговые завихрения и сокрушить их внешнюю *интересность* — Арбузов определённо намеревался. И это следовало делать осторожно, чуткими руками, чтобы не лишить Ведерниковых той награды, которая, безусловно, им причитается, — за муки, сомнения и удары судьбы, за ошибки и раскаяние в них: светлого, зрелого и даровитого мужества.

2

«Простыми, бесхитростными путями идут в жизни Павлик Тучков, Лаврухин, Ольга, лишь один Ведерников плутает и куролесит, муча себя и других», — пишет кри-

тик, заметно раздражаясь и, вероятно, не подозревая, что пути, сопряжённые с новаторством, чертовски трудны и так уж «бесхитростны», что пошедший по ним человек, хотя и не старается вовсе куролесить, почему-то постоянно делает это, каждый раз обещая себе: «Это больше не повторится».

Стоило бы приглядеться внимательней: кого же ставят Ведерникову в назидание?

Павлик Тучков? Павлик, вне сомнения, импонирует многим, раздражённым ведерниковским эгоцентризмом, как достойное воплощение скромности, — на то он, собственно, и существует со своим: «А талантов у меня к тому решительно никаких». Верит он в Шуркину исключительность, понимает его больше, чем другие, но смотрит всё-таки снизу вверх, как слабый на сильного, а сам никаких особенных целей себе не ставит. Он прочно усвоил, что пороку он не выдумает, маму великим открытием не обрадует. Я охотно верю, что Павлик — это чистое, ясное, неиспорченное существо — станет впоследствии прекраснейшим человеком. Однако куда это произойдёт, изрядно потреплет его судьба. Школу жизни и он пройдёт, только быстрее и пассивнее, ибо меньшего хочет; но целый этот период, канувший у Арбузова за сцену, будет. Для чего третировать один из благороднейших девизов начинания: «Если быть, так быть лучшим!» — и ставить выше его — скромнейшее бездействие не нюхавшего труда и пороку ягнёнка?

Лаврухин? — но ведь та линия «попустительства» Ведерниковым, которую он выражает в драме, — точнее, В. Смирнова открыла в нём — не вяжется с обликом зрелого мужа, которому пора бы вспомнить уже молодость. Вспомнив, он едва ли читал бы Шурке душеспасительные речи и «попустительствовал», — а больше бы иронизировал и тонко издевался: Ведерниковым это здорово помогает...

Ольга? Но в том криминале, что припишут Ведерникову, она прямая соучастница, и мне неведомы смягчающие обстоятельства, которые учла сердобольная критика...

Нина? — но ведь эта «будущая Комиссаржевская» состоит на прочном педагогическом иждивении тёти Таси, которая рта не даёт ей раскрыть и кутает горло, ибо голос — «всё для актрисы»...

Люся, жена Ведерникова? — но что скажете вы об этом злом, ревнивом, ограниченном существе до того, как автор преподнесёт вам приятную неожиданность?

Итак, один ещё не Ведерников; другой уже вышел, в основном, из этого писаревского периода; третья проходит его об руку с Шуркой; четвертая находится в надёжных руках, каким позавидовал бы всякий недоучка; пятая — только тончайшим мастерством драматурга защищена от скоропалительных выводов критики...

И вот на этом-то фоне появляется человек, который один представлен в периоде ломки и роста, весь в строительных лесах, в опасностях обвала и взрывов, незаурядный, необузданный, поверивший в свою подспудную мощь, расpiraемый ею, страдающий от неё... словом, то исчадие ада, что критики нарекут: «шумный, объявляющий себя гением Ведерников». И дали же ему фамилию, громыающую, как пустая бочка! Беру под свою ответственность, что гением он нигде себя не объявляет и даже похожего на это нет, а шум — производится, очевидно, такими вещами:

«— Всё вздор! По мне, в тысячу раз важнее узнать причину и следствия болезни, постичь то, чего никто не знал до меня... В конце концов, настоящая медицина ещё не начиналась!

Кузя. Уж не с тебя ли она начнётся, Ведерников?

Ведерников. Почему бы и нет! Перед собой надо ставить крупные задачи... А скромность оставим неудачникам, она их здорово украшает. Нет, если говорить серьёзно, я мечтаю вот о чем — стать микробиологом и поступить в Экспериментальный институт. Должен же кто-нибудь из нашего выпуска туда попасть! (*Весело.*) Так вот, пусть это буду я...»

В. Смирнова убеждена, что произносится это «то ли под впечатлением хроники, то ли под влиянием пива... Он

явно немножко возбуждён знакомством с красивой девушкой (а отчасти и пивом), он весел и задорен, говорит больше и громче всех, немножко по-мальчишески задаётся». Поистине страшно важно, чем он, Ведерников, был возбуждён — пивом, девицей или кинохроникой? — Да мало ли чем возбуждается молодость; но когда заклиниваются сдерживающие центры, она, молодость, особенно откровенна: в таких случаях говорится всё, что вымечтано днями и ночами, без ложного стыда и мелочного опасения. Бахвальство, — скажут одни. Тщеславие, — покажется другим; а третьи, пожалуй, добавят: карьеризм. Ну что же, Ведерников своих позиций не скрывает, для броских выводов разоблачительства он поистине находка редкостная. Уже его появление напомнит надоевшего красивого индивидуалиста, щеголяющего — не то «под Демона», не то «под Печорина» — загадочностью для всех и самого себя; и приведённая тирада, казалось бы, дорисует нехитрую позитуру. Но следом пойдёт знакомый уже рассказ о небылицах, затем — в разгар лаврухинских словопрений об идеальном человеке — Ведерников будет спасаться от Кузи и производить весёлую кутерьму, затащит к столу подвыпившего прохожего, с которым только что познакомился в буфете, и закончит чудесным тостом в честь милой девушки Ольги и замечательного парня Михея. И едва ли будет отмечена вами такая маленькая, и такая горькая, сценка: Ведерников — Галина, где на два слова — больше сказать им нечего — сводит их случай и разбрасывает трудное, по-видимому, прошлое. Одна необычайно заинтересуется самоваром, другой — кинется успокаивать внезапно заревновавшую жену:

«Ведерников (*берет ее руки и нежно их целует*). Люсенька, милый мой, маленький человечек, не будь злюкой, ладно? Жить на свете очень хорошо, но очень трудно. Всякое бывает... Вот именно, всякое. Хочешь, убежим к реке и будем там сидеть вдвоем, пока скучно не станет?»

«Бахвальство» уже на язык не просится. Бахвалятся не счастливые жизнью, а довольные собой, — которым легко. О Ведерникове этого не скажешь: у человека, который

весь в будущем, уже есть прошлое. Это едва ли завидное состояние, ибо молодость боится воспоминаний: хорошие или плохие, они наводят на мысль о потерянных днях и растраченных чувствах.

Вторая картина представит нам героя на вершине кризиса, в клубке запутанных им же узлов, и одновременно раскроет методы нравственного насилия автора над героем. Ведерников ещё не оформился, не окреп, а уже вовлечён автором в угрожающее подобие социального конфликта.

Дм. Щеглов в статье «Новаторство и инерция формы» настроен к Ведерникову явно враждебно, но даже ему «невозможно понять, какое противоречие, подмеченное автором в советских людях и в нашей жизни, заставило его взяться за перо? По-моему, нет в пьесе такого противоречия. Нет в пьесе никаких общественных конфликтов... Он понадобился, этот доктор, чтобы своим моральным обликом и своими общественными качествами создать *видимость* драматической коллизии». Правда, несколько далее тот же критик напишет: «...поступки и высказывания героя таковы, что вместо «сложностей» мы имеем подлость, которая отбрасывает его за пределы морали нашего общества и превращает в политического негодяя...» Чем объясняется подобный эмоциональный накал? Я вынужден говорить об эмоциях потому, что мера обвинения заведомо не эквивалентна содеянному. Арбузов словно задался целью вызвать к Ведерникову неприязнь и бросил на это сильное своё оружие: тончайшее психологическое мастерство. Например, о герое много, слишком много говорят, и преимущественно женщины. Даже рассказ о бое с чемпионом вложен в уста восхищённой Люси, и вот непустячный, в сущности, подвиг снижен до известной формулы: «Нравимся жене, и то довольны донельзя!» Обвинение же безоговорочно приняло сторону героев, комментирующих его поступки со своих колоколен, и поэтому так трудно представить действительную картину строительства этого сложного и богатого характера.

Во второй картине мы слышим о Ведерникове:

«Лаврухин. За последнее время Шурка со всеми перессорился в клинике... И вообще неладно с ним... Изобрёл какой-то новый мозольный пластырь и получил уйму денег, а потом истратил их самым дурацким образом... Словом, совсем закружился малый...

Ольга. Мне как-то Иван Степанович про него сказал: если бы вы знали, как я не люблю своего любимого ученика!»

Мы ещё ничего не знаем ни о причинах ссоры «со всеми в клинике», ни о том, что представляет собой Иван Степанович, который одним, очевидно, говорит, что любит Ведерникова, другим — что не любит; ни о размерах полученной «уймы», ни, наконец, о целительных свойствах мозольного пластыря. Но определённый халтурщик и склочник уже витает в нашем воображении, провоцируя отдалиться справедливому негодованию. Пусть так. Но где же карьерист, о котором мы заикнулись?.. Нет, истинные карьеристы не бывают склочниками, особенно накануне решения судьбы. Истинные карьеристы знают, что пуше всего изматывает финишная прямая, и приберегут халтурную уйму на выпускной букет многосильному Ивану Степановичу. Только искренняя, необузданная натура может так изнервничаться в страстном ожидании, так закружиться в решающие месяцы, что потеряет способность расчётливо ждать и всё предоставит на усмотрение фортуны, оставив себе только всюду рассказывать, что дело с Экспериментальным институтом на мази. Юность ещё оптимистически смотрит на случай, это столько же говорит в её пользу, сколько и причиняет ей вред. Но что же знает автор о сущих бахвалах, об истинных резвых малютках и прилежных учениках, о карьеристах подлинных? О настоящих склочниках и халтурщиках? Где они в пьесе? Не может же быть один и пламенным бахвалом, и расчётливым карьеристом, и тщеславным циником, и донжуаном, и чёртом-дьяволом! Одно убивает другое. Ведерников борется сам с собою: больше ни ему, ни другим бороться не с кем. Я не берусь утверждать, что, появившись на горизонте контуры всамделишного негодяя, наш герой

ринулся бы первым в эту борьбу, но фигура его засияла бы иными красками.

Ведерникова обвиняют ещё и в том, что он — одиночка, противопоставляющий себя коллективу. Но это вовсе не так. Он, напротив, человек очень артельный, и это видно хотя бы из того, как тянется он к людям и как легко сходится с ними. Встретился ему в буфете подвыпивший прохожий — он уже с ним на «ты» и тащит к столу. Пожилой сержант на переправе — и с ним говорит он, как с близким, открывая наболевшую душу. Задумывает он препарат от гангрены — и немедленно оповещает всех. Даже от Павлика не хочет он отрываться далеко — и говорит ему: «Ничего, Павлик, и наше время придёт!» Он не таится, ничего не скрывает, он у всех на виду, — только не всегда это благоразумно. Угощает Ведерников на последние деньги конфетами тётю Тасю — бог мой, сколько поднимается шума! Люся — едва не заплачет, Павлик — и тот на дыбы привстанет; а у критиков этот поступок, вероятно, и пройдет под грифом «не столько искреннего, сколько красивого». А ведь всего-то стоило разобраться, что же это за тётя Тася, если не жаль отдать ей последнее? Попробуем восполнить этот пробел.

Тётя Тася, бывшая опереточная актриса, надо думать, не из тех выдающихся актрис, которые делают роли. Она из тех, кого делают роли. Усвоив за сценическую жизнь много красивых чувств и благородных реплик на всякие случаи, она организовала свой духовный мир искусством и теперь настолько свободно обитает в атмосфере ею же создаваемой красивой и благородной искусственности, что опуститься и омещаниться уже не может. В речи её не встретится пресной житейской мудрости, трезвого словца — она мудра по-своему: не потому, что много жила, а потому, что много играла. Современность и быт знает она приблизительно, распространяет на них аромат старомодной возвышенности, и внимание ее спотыкается о всевозможные «катастрофические мелочи»: это и «совершенно незнакомый петух», с которым «надо как-то бороться»; и пришедшая со двора «ужасная собака», которую требует-

ся убедить, чтобы она ушла и больше не приходила; и фитиль керосинки, провалившийся «куда-то вниз». Во всем этом, конечно, много лукавства и беззащитной насмешки над собой, вынужденной на склоне лет заняться стряпнёй и хозяйством; но люди, которые не прочь посмеяться над собою, — уже примечательны. Она всё-таки видела в искусстве труд и теперь «как-то борется» с положением иждивенки. Почти ослепшая, она воспитывает племянницу-актрису и учит хорошему тону молодёжь. Иногда, впрочем, она претендует на большее: например, чтобы ей разъяснили «некоторые вопросы, связанные с тактикой глубоко эшелонированной обороны», но это говорит лишь о том, что великое «чуть-чуть» ещё не всегда соблюдается Арбузовым. В остальном тётя Тася скромна, не навязывается в менторы и не требует к себе внимания молодёжи: именно потому, что молода душой. Молодёжь её, безусловно, любит, ибо вся она дышит, светится ласковым обаянием, но никто её особенно не замечает, не говорит с нею больше двух слов и даже не поддержит начатого ею разговора — и часто совсем напрасно, потому что говорит она очень весёлые вещи. Она, разумеется, прибавляет, рассказывая свои кулисные эпизоды, но это для оживления картины. Она всё замечает в доме, но не в силах никому помочь, не может вплотную приблизиться к молодым; она хочет деятельности, да не знает, как к ней приступить; она не столько хозяйка в доме, сколько его добродетельный ласковый дух; в основе её поведения лежат не логические идеалы, а полуинстинктивное стремление к хорошему. Тётя Тася чем-то незримо, но глубоко родственна Вединику: тем ли, что оба они мечтатели, только он — о будущем, она — о прошлом; или тем, что обоих любят, но не уважают; или, быть может, своим «надпочвенным», полуреальным отношением к жизни и неспособностью обрести над нею власть. Так или иначе, но лишь эгоист Ведиников задумывается, почему же не вышла замуж красивая Настасья Владимировна. Действительно ли потому, что «умные мужчины боятся красивых женщин и женятся на дурнушках, так что на нашу долю достаются одни дураки»?

Или потому нет у неё своей семьи и детей, что на руках её были чужие дети и с ними она не могла предпринять этот многотрудный женский подвиг? Или причиной — неспособленность её даже к той среде, где прошла вся жизнь её? В это верится охотней, потому что она о «своих» мужчинах вспоминает без злости: видимо, её никто не совратил, не обманул, но только все проходили мимо, совесть глубже заглянуть в её беззащитную, обаятельную доверчивость; и жизнь её, взбалмошная и неустроенная, была мечтой и ожиданием. Нетактично, может быть, расспрашивать пожилую женщину, — но бестактность не обязательно сестра равнодушия. По крайней мере недаром тётя Тася «смущена и очарована» и недаром только Ведерникову говорит, что всё-таки очень любит его. Только он и догадывается напомнить, что в ней уважают человека, женщину, бывшую актрису. И потом, ведь это великое блаженство: дарить на последние деньги! Только и всего, уважаемые критики. Только и всего!

Нет нужды комментировать дальнейшее пребывание Ведерникова во второй картине, где ему приходится круто и он огрызается на заслуженные и незаслуженные упрёки: всё это не следствие эгоистической природы, а только симптомы кризиса, о котором я уже говорил и не хочу повторяться. Но один упрёк я обязан привести, как наиболее существенный и общий:

«Лаврухин (*вплотную подходит к Ведерникову*). А ну-ка давай начистоту. Ведь плохо с тобой, Шурка, совсем, брат, плохо!.. Вспомни, как мы раньше спорили ночами, мечтали о будущем, о медицине... Как хотели работать вместе. Да ведь я... я богаче становился после наших споров, ты был необходим мне тогда! А теперь? Почему ты мне больше не нужен? Почему мне неинтересно стало с тобой, Шура?

Ведерников (*насмешливо*). Званием кандидата не удостоен, Михаил Иванович, вот и стал не пара».

Ответ, скажем прямо, не самый блестящий из всех возможных. Однако и упрекать полагается, малость оглядываясь на себя, — ведь и Лаврухин, несмотря на возраст и стаж пребывания в положительных, ушёл недалеко от

Шурки: не кто иной, как он, разразится чисто ведерниковской тирадой: «(Вспыхнул.) Я должен работать. Завтра. С утра. Иначе мне крышка, понимаешь, Люся?» Далее прояснятся другие параллели, и вот первая из них: Лаврухин так же откажется от места в Экспериментальном в пользу Ведерникова, как и последний от авторства в пользу Павлика, — но уж таковы законы траектории шишек на бедного Макара, что критики, умиляясь одному, не поймут естественнейшей природы поступка другого. Критик Дм. Щеглов пишет о «мелкой, подленькой» зависти героя, «которая никак уж не совместима с истинным талантом». Но зависть понятие слишком общее, необходимо добавить: чему завидуют. Если Ведерникова прельщают в Экспериментальном московские виды и солидная ставка, о нём едва ли стоило бы дальше спорить. Но ежели он рвётся экспериментировать, постигать незнаемое, делать настоящую медицину, которая «ещё не начиналась», — тогда, сознаваясь в этой прекрасной зависти, он раскрывается как человек идеи и темперамента. Едва ли он чем-нибудь ниже Лаврухина, который сам признаётся: «Я завидовал тогда, смертельно завидовал, что это тебе выпала такая великая работа...» И критику, подумавши, придётся признать, что мелкая, подленькая зависть несовместима не только с истинным талантом, но и с подлинным Ведерниковым.

До поры, пока человек не сделал первого крупного дела жизни, нередко моторы его питаются тщеславием. Это не так страшно, как кажется: тщеславие — сильное горячее, но не разрушительное, если только оно разбавлено другими, облагораживающими желаниями, которыми впоследствии только и будет питаться окрепшая воля. Юноша ещё не отведал славы, ещё не знает, что всё-таки много ценнее её — сознание своей необходимости ближним. Но тщеславие уже выше корысти: ибо стяжательство ведёт в берлогу одиночества, а славы нет без людей; стяжательство ищет тропы легчайшей, а слава бросает порою в жестокий труд; стяжательство отваживается на подвиг по необходимости, а слава ищет его сама; наконец, стяжа-

тельство — грех преждевременной старости, и его исцеляет могила, тщеславие же — болезнь молодости и поддается лечению развившимся чувством юмора и жизнью. Юноша, замысливший «опрокинуть земное тяготение», став на путь большого и добровольного труда для людей, неизбежно поднимется до разумного понимания жизни и смехом излечится от былых зараз, в том числе от заразы тщеславия. Труд ведь создаёт не только ценности, но и самого творца — в этом его неискоренимая благодетельная сила. Творческая воля и ум, безусловно, окупят накладные расходы наивных желаний, а сами эти желания выгорят постепенно и незаметно. Скажем, вы загорелись непоколебимым желанием утереть нос чемпиону и начнёте жестокую тренировку: вы откажетесь от курения, сядете на мясную диету, будете бегать кроссы, подтягиваться на шкафу и обливаться холодной водой из крана. Однако может случиться, что ваше намерение ослабнет — не потому, что вам не побить чемпиона, они на то и существуют, чтобы их бить, но просто вас отвлекут другие задачи, более дельные, нежели утирание задравшихся чемпионских носов, и пустячным покажется вам желание, которому вы посвятили столько сил. Но скажете ли вы, что тренировались напрасно, что зря закаляли волю и тело в добровольных усилиях?

Вот так же тщеславие образует молодую душу Ведерникова, научит его многим полезным и деловитым вещам и, как прежде в бою трижды поднимало его из нокдауна, поднимет теперь в большой, целеустремленной работе. А затем оно выгорит без следа. Тогда-то и получит он искомое средство, которым обычно и исцеляются от мук строительного периода. Это средство: *достойная и конкретная* задача. И вас уже не удивит «неожиданный» перелом, которым ознаменуется третье появление Ведерникова:

«— Мне дорог каждый час, ещё несколько дней, несколько опытов... (*Лихорадочно.*) Но у меня нет крыс. Третьего дня я украл у соседей кошку, а вчера мне не повезло и сегодня тоже... (*Тихо.*) Люсенька, Люсенька, жизнь моя... пожалей меня... Второй месяц я не ем и не сплю... Сотни тысяч солдат умерли, не дождавшись, я должен был

им помочь. Но время, время. Ещё немножко, совсем немножко...» (*Медленно валится на пол.*)

Входит Ольга, видит его на полу, подбегает к нему.

Ольга. Шура. Шура... родной!..

Ведерников (*цепляясь за неё руками*). Крыс... достаньте мне крыс... Вы должны достать мне крыс».

Ведерникова нельзя тут жалеть: он достоин большего, чем жалость. Но предоставим о дальнейшем рассказывать В. Смирновой: «Дом его разрушен бомбой, и он не хочет хлопотать о пристанище, он прямо идет к Ольге, зная, что она его любит, не оставит в беде. Он заболевает сначала тифом, потом воспалением лёгких, и болезнь надолго снимает с него всякую ответственность. Но и выздоровев, устроившись без забот в доме Лаврухина, продолжая работать над препаратом, Ведерников долго не может добиться нужного результата. «Время идёт, умирают наши люди, а я всё ещё путаюсь, как слепой в трёх соснах», — он сознаёт это и сам». Нетрудно видеть, до чего пристрастен этот пересказ. Оно и неудивительно: поведение героя не содержит ровным счётом никакого состава преступления — тем более теперь, когда любому непредубеждённому наблюдателю ясна благодетельная перековка, начавшаяся в тяжёлом, исстрадавшемся характере.

«Время идёт» по-прежнему, но только значительно быстрее, потому что «умирают наши люди»... «Мне дорог каждый час... Ещё немножко, ещё несколько опытов...» И как раз теперь неожиданно забыто о том, что ещё недавно казалось заманчивой целью. «Славы? Чепуха! Если мне повезёт, я, не задумываясь, припишу свое авторство любому. Нет, я хочу иметь успех у самого себя, а это значит — всё осуществить самолично. Всё от начала до конца».

Вот здесь-то наш герой ставит себя наконец под прямые удары критики. «Больше всего на свете, — восклицает В. Смирнова, — он хочет иметь успех у самого себя! Вот поистине высшая степень эгоизма!» Я думаю, это высшая степень того же пристрастного пересказа. Да, он хочет иметь успех у самого себя, но не «больше всего на свете»,

а только больше, чем успех у других: много понимания и не напрашивается. Ну-с, а у кого нужно иметь успех, дабы степень эгоизма понизилась? Или — вообще не жаждать успеха? Самоличные устремления Ведерникова вызывают у критиков бездну негодования: в этом видят нарушение элементарнейших устоев коллективизма, мораль отщепенца и даже (Дм. Щеглов) «сверхчеловеческую» идеологию. Впрочем, от политического негодяйства это не шибкий скачок. Однако никто не решается прямо ответить на поставленный вопрос: как же поверить в собственные силы, не сделав ни одного самостоятельного дела в жизни, как определить место в общественной жизни и как занять его, не обладая цензом умения, опыта и реальных свершений? Нет, не с тупеньким упрямством отстаивает он свои незавидные позиции, но ищет достойного выхода из создавшейся жизненной трудности, хватаясь за работу свою, как за якорь спасения. Страдания не кончились, но схватки пошли быстрее и требуют больше трудов, темперамента, силы. И уже не зевакой на перекрёстке, а настойчивым яростным искателем верной тропы предстанет герой наш во всех последующих сценах.

«— Я всё решу сам! (Пауза.) Нет, ничего я не решу. Мне так всё легко давалось, а теперь, когда я взялся за настоящее, большое, я бессилен, совершенно бессилен, Павлик! Хочешь, скажу правду? Мне стыдно тебя. Вот этих двух честных медалей стыдно... В трамвае я не гляжу в глаза военным, мне кажется, что я всех обманул... обнадёжил, а не сумел. (Садится за стол и закрывает лицо руками.)»

Так, друже! Ты ещё много раз закроешь лицо руками, но будет же день, когда ты откроешь его и помотришь на себя с гордостью. Ты прав и неправ, говоря, что тебе «всё легко давалось». Прав потому, что сегодняшнее дело сложнее мозольного пластыря. Но «сегодня» у новатора всегда труднее, чем «вчера», а «завтра» у него самое трудное. Ты долго будешь ещё страдать, не зная, что с этой болью придёт исцеление, будешь ещё плутать и куролесить, открывая восхитительные Америки, — но ведь от этого не перестают быть первооткрывателями! Это первые необхо-

димые шаги исследователя, которого ты давно хотел увидеть в себе, и потому не беда, что случаются казусы такого рода:

«— Здесь, здесь надо искать! Но как же я раньше не догадался? Ведь это так просто, малый ребёнок и то понял бы, а я... *(Хохочет, счастливый.)*»

Этот полубезумный смех уже здоров и отраден.

Нет, он — не урод. Он только гадкий утёнок.

3

Лаврухин — человек, безусловно, чистый. Человек сурового и скромного поколения, чьей судьбою стало слово «пятилетка», он не растерял себя, не растратил принципов, трезво доволен тем, что имеет, и — продолжает мечтать. Но вот, например, Ольге, которую он вырастил и любит, он говорит:

«— Настоящее чувство, даже если оно безответно, делает человека счастливым... Вот почему меня нельзя разлучить с тобой. Ты — это свет, который будет мне светить всю жизнь... до конца».

Слышать это неприятно и обидно, и я не могу понять, почему это растрогало критиков. Человек боевого, наступательного поколения пробавляется утешительной философией неудачника, замешенной на водичке евнухидального всепрощения с проблесками мистицизма, — а критики умиляются моральной чистоте любви и благостному перегоранию собственнических пережитков. Но всякий нормальный человек, так называемый «простой смертный и, разумеется, грешник», превосходно знает, что именно настоящее чувство, если оно безответно, и заставляет страдать. А почему должно быть иначе? И почему благороднее отступить, оставив свою, может случиться, ошибившуюся возлюбленную с первым приглянувшимся ей покорителем сердец? Чем в таком случае утешаться, какими нравственными материями и доводами? Кстати, и женщинам это не нравится: если

их любят, то идут на всё. Может быть, этим и решаются последние колебания. И потом — здесь ни эгоизма, ни драки за женщину: есть только борьба за любовь и борьба за человека.

Вторая часть лаврухинской формулы не лучше первой: этаким сорокалетний муж довольствуется тем, что светить ему будут на расстоянии. Это, впрочем, его дело, так ему, видимо, больше нравится. Но в чём, почему и как может светить ему Ольга, не блистающая никакими особенными достижениями? В этом смысле и Лаврухин, и Ведерников, убеждённый, что Ольга помогла ему «стать другим», больны одной болезнью: оба не видят Ольгину душу, тоже строящуюся и потому страдающую, оба замечательно глупо, как и подобает влюблённым «возвышенным» мужчинам, созерцают в ней воплощение неизреченного идеала, — тогда как это всего лишь обыкновенная хорошая женщина, стихия которой — тоже обыкновенная человеческая дружба-любовь. Если же она и претендует на что-либо иное, так это просто женское издание ведерниковских завихрений. А между тем вот на таких — порою интересных, иногда оригинальных, подчас уродливых — отступлениях от общепринятого «правильного» представления о любви строит Арбузов любовные коллизии драмы, создаёт увлекательные женские характеры, — чем и даёт мне право посвятить им отдельную главу.

Стоило бы говорить особо о женских образах Арбузова, даже о галерее арбузовских женщин. Это, конечно, Таня, затем Шаманова, Дуся, Дагни, Мария Йенсен, Галина, Ольга, Люся Ведерникова, тётя Тася. Едва ли столько наберётся у него характеров мужских, и это кажется удивительным, если припомнить, что женские типы составляют слабую сторону большинства наших писателей.

Раскосая и суматошная жизнь Ведерникова вторгается в жизнь четырёх женщин и в каждой отражается по-своему, обнажает особенный душевный мир, каждая из них воспринимает и любит Ведерникова различно. Это щедрость наблюдения и творческих сил и это особое, трудно достижимое мастерство: заставить каждый образ светить

отражённым светом другого и помогать отсвечивать различным граням его натуры.

Одно из таких чудес — рассказ Галины:

«— Почему я не стала его женой? Так вот, выражаясь не фигурально, милая девушка, ему было на меня наплевать!.. О, иногда он бывал очень внимателен и заботлив, но... из вежливости. Он жил какой-то странной одиночной жизнью... ничего не давал и брать не хотел тоже. Последнее было особенно обидным... и я ушла! (*Усмехнулась.*) Как видите, он не очень огорчился. Впрочем, совесть у него всё-таки есть, и если бы он понял всю меру своего эгоизма, то ещё застрелился бы, пожалуй. Вот почему он никогда не позволит себе этого понять. (*Помолчал.*) Здесь, в Москве, живёт его мать, но он почти не бывает у неё... Придумал, видите ли, что прежде ему следует прославиться! Явится этакий герой с портретом, напечатанным во всех газетах, и поразит старуху мать! (*В сильном волнении.*) Он всё отнял у меня, даже мою любовь к нему... А знаете, что во всём этом самое страшное? (*Тихо.*) Я жалею, что оставила его. До сих пор. Жалею... За что, по-вашему, можно полюбить? По-моему, за талант. Это самое красивое, что есть в человеке. Я любила его талант, пожалуй, больше, чем его самого. Я придумывала Шуре волшебное будущее и в этом будущем первое место отводила себе. Ну, а нынче, как видите, осталась ни с чем. Бросила учиться. Всё полетело кувырком. Всё».

Вы услышите этот неподдельный вопль души и, вероятно, почувствуете прилив негодования к герою, которому было решительно наплевать на эту «полную и очень красивую блондинку». Меня не удивляет, что некоторые критики явно пошли на эту приманку и разглядели лишь заурадный «обличительный монолог». Чтобы увидеть другое: например, мастерски сделанный *двойной портрет*, — нужно, видимо, откинуть затасканные шаблоны, приблизиться вплотную к манере автора, наконец, повнимательнее подойти к выведенным отношениям. Галина — женщина редкой внутренней честности и не скрывает собственной нелогичности и вины. Она, возможно, не пони-

мает, что газетные мечтания Ведерникова — немалое следствие ею же придуманного «волшебного будущего», что эгоисты по доброй воле не стреляются, а совесть никогда не состояла в том, чтоб не позволять себе видеть свои пороки. Не знает она и всей мучительности сознания, что тебя и любят в кредит, — поневоле не захочешь брать и постараться жить единоличной жизнью. Но в душе её зреют обида и жалость к себе: много старше Ведерникова, она ничему его не научила, ничего в нём не исправила, ничего он от неё не взял, а ведь женщина даже одних лет с мужчиной уже видит себя старше его и опытной и претендует на педагогическое господство. Но обижаться только на себя большинство смертных неспособно, и Галина надолго затаивает к Ведерникову неприязнь. Она ещё любит его, тянется к нему, даже помогает деньгами, однако не упускает случая уколоть, когда он особенно незащищён.

Люся — прямая противоположность ей и заявляет об этом прямо:

«— А по мне, так даже лучше, если он не знаменитый.

Галина. Почему же это?

Люся (*очень искренне*). Всё-таки!.. И любить меня больше будет, и к другой не уйдёт. (*Улыбнулась.*) Я иногда даже иду по улице и думаю, вот если бы он под трамвай попал, я бы так о нём заботилась...»

Эта искренность столь велика, что не нуждается в ремарках. Наивный и ревнивый ребенок, Люся обожает мужа преданной любовью, тянется к нему всеми помыслами, бережёт каждое нежное воспоминание. Каким бы Шуренька ни был, он всегда для неё хорош, если только весь принадлежит ей! Он не по хорошу мил, а по милу хорош, и всё, что делает он, уже наверное хорошо и правильно. Она и морских свинок предпочитает крысам только потому, что «Александр Николаевичу» свинок «препарировать приятней». Она ему всё прощает, вся живёт и светится им... и мы начинаем чувствовать, что эта любовь не только слепая, но и слабенькая. Случись что-либо с Ведерниковым, и Люся не выдержит потрясения, завянет, сохнет, умрёт. Этим сладеньким трагизмом кто-нибудь бы и вос-

пользовался, только не Арбузов, написавший «Таню», и поэтому Люся когда-нибудь выйдет на дорогу, «неожиданно» преодолев и тяготы эвакуации, и работу на сварке танков, и временную потерю мужа. И, что интереснее всего, сохранит самоё себя. Она ещё будет рассказывать, как весело жили все вместе, как «играли в дурачки», ожидая Шуренькиных писем, «только вот их не было», — но уже не без права ответит Ольга: «Я теперь не бедная!» И та же Галина поймёт и переоценит её. Но Ведерников ещё раньше понимает, что жена его «замечательная личность». Он, быть может, недостаточно бережёт ее, хотя всегда подчёркнуто нежен, — он попросту рано женился, рано стал отцом, а слава рисовалась ему непременно об руку с умной и сильной женщиной-товарищем, — но, безусловно, он любит жену больше, чем это кажется, и знает, что в трудные дни сможет на неё опереться. Только вот этого-то Ведерниковы и не ценят, и опираться ни на кого не хотят. Здесь, очевидно, и кроется одна из причин разрыва.

Единственное исключение из галереи замечательных и земных женщин составит Ольга, в которой автор попысился-таки на «высокую женскую душу» и заставил героев-мужчин так на неё смотреть, — отчего и пошли дальнейшие неувязки. Героиня эта заявляет своё кредо с угрожающей ясностью:

«— Раньше, девчонкой, мне казалось, что любить — значит пожертвовать всем, что имеешь. Теперь я знаю, что ошиблась. Любить — значит научить, помочь, спасти».

Тут что-то не так! — заметит благоразумный читатель и будет бесконечно прав. Обычно влюблённые просто любят, а не рассуждают, что такое любовь. И критика усмотрела «ненужную рассудочность», и Галина смекнула, какая опасность угрожает Мише, который и «сам всякого спасёт», и Ольга постепенно поняла, что если в чём-нибудь ошибалась, так только в своей привязанности к Лаврухи-ну. Но мы-то ещё не подозреваем, что опасность спасения медленно, но верно нависает над Ведерниковым! Кто же, кроме него, нуждается в спасении? Были бы спасители, а утопающие найдутся. Уже Ведерников рисуется Ольге

«вздорным и слабым», и как раз в момент своего наивысшего взлёта, и уже не терпится ей истощить запасы спасательных способностей. В какие это выльется формы, сказать не берусь, хотя и знаю за Ольгой три благодарения: помогла Ведерникову перенести болезнь, оградила от упрёков в дезертирстве, зашила пиджак. Всё это, разумеется, важно и нужно и, вероятно, требовало присутствия ласковых женских рук. Но едва ли на это размахивались автор и его героиня. Что же могло быть иного?

По моему глубокому убеждению, Ведерниковы в спасении не нуждаются. Ведь самая мысль о спасении их возникает в напряжённейшие для них моменты, когда особенно нагружена воля, kloкочут силы, мечется ум, то есть когда любое спасение означает лишь усмирение *необходимых и спасительных* бурь. Тем более странно ожидать подобного ментора из среды очаровательно милых, лирически настроенных — точнее, лирически расстроенных — интеллигентных женщин, которые составляют для Ведерникова невыгодный и неверный фон «случайной кружковщины». Последнее очень верно замечено В. Смирновой; только вместо «выросший в атмосфере случайной кружковщины» следует, мне думается, говорить «показанный», ибо вырасти в кружковщине у нас практически невозможно. Советское общество воздействует на Ведерниковых всей совокупностью достаточно ярких педагогических средств, среди которых кинохроника испанских событий весит куда больше лаврухинских душеспасительных речей. И это даёт молодым умам развиваться вольготно, деловито, не стесняясь давлением чужого разума и одновременно не слишком отклоняясь от верного стержня, оценивая на ходу собственные ошибки и откладывая в баланс собственные достижения. Неисправимые эмпирики, Ведерниковы до всего доходят своей башкой и мозолями, терпят удары и щелчки, стонут от них и смеются одновременно. И снова ищут, не верят, находят и проверяют. В конечном итоге они приходят ко многим истинам, и даже к тем азбучным, что внушались им радательными учителями; но, во-первых, приходят не ко всем; во-вторых, приходят с неколе-

бимой верой; и, в-третьих, приносят собственный арсенал наблюдений, гипотез, догадок, истин. И, оглядываясь добродушно назад, не очень жалеют о потраченных силах и времени. Следует ли таких спасать?

Но вот что представляется мне самой большой и неоправимой натяжкой. Да, эгоисты Ведерниковы умеют быть благодарными, они умеют ценить терпеливую заботу и глубочайше ценят даже ненужный им благой порыв. Они и полюбить за это могут, пойти на жертвы, покинуть семью и броситься в скитания. Но что до их деятельности, — этим они никогда не жертвуют, поскольку это — выше их. Можно поверить, что герой наш остался на перепутье, понял, что любит Ольгу, уже после отъезда её на фронт, и решился написать жене о разрыве. Он мог решить, что Ольга — та искомая и найденная наконец женщина, что будет ему по росту и на всю жизнь. Он мог, наконец, не вынести пребывания в тылу, и все его метания сошлись в единственном порыве — на фронт! Но во что решительно нельзя поверить: в то, что он мог оставить работу, в которой были его судьба, жизнь, исцеление. Автор представляет дело так, будто Ведерников остановился на полпути, бросил рождённое своею мыслью, и вменит это ему в вину как одно из составных «нарушения советского образа жизни». Это и заставляет нас обратиться к фактам.

Разговор Ведерникова с Ольгой — о славе, авторстве и «успехе у самого себя» — происходит в день её отъезда и доказывает, что герой наш по-прежнему стоек в своём заблуждении, несмотря на все старания опекуниши и даже им вопреки. Резкости его тона не смягчает даже зарождающаяся любовь; он, видимо, непреклонно настроен ещё голодать, ещё болеть, выносить упрёки, но достичь желанной победы, а там — безразлично, кому припишут славу. И могло ли случиться, что, сделав самую малость, герой наш уже обессилеет и откажется от борьбы, что в нём не пробудилась новая сила, которая сильнее воли, сильнее тщеславия, — жажда завершения? Нет, и автор не решается приписать Ведерникову сдачу по слабости духа: можно понять, что, напротив, он ринулся туда, где казалось ему

труднее. Гадать приходится потому, что прямого ответа не даёт Арбузов. Он оставляет героя и переносит действие в Борск, куда приходит сомнительная весть о первой победе Ведерникова и его отчаянное письмо жене. В конце концов, неотъемлемое право Арбузова — убить то, что он породил, и каким угодно способом. Но имеющий права имеет и обязанности. Элементарный закон композиции требует, чтобы герой был на сцене в напряжённейший миг борьбы, в труднейшую минуту изображаемого периода его биографии. И уж поскольку Арбузов почёл это, в сущности, обыкновенное, «рядовое» метание Ведерникова *решающим*, определившим всю его судьбу, он обязан был не уклониться взглянуть в лицо герою и показать этот великий перелом обязательно на сцене, непременно на наших глазах, чтобы и мы были судьями. Этого не произошло, и в остальное мы можем с полным правом не верить. Не верить, что Ведерников отложил борьбу до неопределенной даты; что и на фронте, в окопной грязи и госпитальной суматохе, не носил он выкладок и расчётов; что не пытался урвать от работы и сна минуту для своих опытов; что его желание найти Ольгу заслонило всё остальное, в том числе — желание найти наконец своё исцеление и обрести своё место в жизни, выполнить и свой патриотический долг.

4

Четвёртый акт! В него упираются копыта и стрелы критиков-адвокатов и критиков-обвинителей, недоумения зрителей и разноречивые выводы читательских дебатов. В него, наконец, упёрся и сам Ведерников. Сложный уготовлен ему переплёт «коварным» автором. Пять лет герой наш не видел матери — и она умирает в день его возвращения. Узнаёт он, что дочка совсем выросла и скоро пойдёт в школу; что Люсе трудно жилось, но она не сдавалась, любит его и ждёт; что Нина стала актрисой, а тётя

Тася ещё больше ослепла и постарела; что Галина в Борске «познала цену людям, познала цену себе», а Лаврухин закончил брошенный труд Ведерникова и по-прежнему любит Ольгу и надеется, хоть и не верит. Выросли, изменились все, «кому оставлена жизнь», но старые чувства живут и требуют — таков итог ведерниковских лет и странствий. Но это значит лишь то, что настало труднейшее испытание сердца и воли Ведерникова. Сердце его должно поручить себя уму, а ум обязан быть острым, точным и беспощадным, как скальпель в руке хирурга, ибо надо не поддаться минутной слабости, отсечь то, что сгнило, и то, что станет гнить впоследствии, принять решение самое человеческое, разумнейшее для всех и для себя, принять бесповоротно, честно и на всю жизнь. Но не ждите от Ведерникова ни одного активного поступка, решительного шага, — другие решат его судьбу, укажут ошибки и пути исправления, распорядятся даже его любовью, а сам он будет только соглашаться, каяться, благодарить, страдать, отделяться от больших решений маленькими подлостями, обнимать и целовать Лаврухина... и ничем не докажет, что прожил годы и странствовал не зря! И вот как это произойдёт.

Мы помним этот май, весну 1945-го, когда украшались цветами и плакатами разбомблённые вокзалы, прикрывались фанерой обугленные руины городов и сшитые наспех пути давали зелёную улицу фронтовикам-победителям. Возвращались они возмужалые, поседевшие, иные искалеченные, но с неукротимой жаждой жизни и созидания, с мужественным намерением восстанавливать, строить, работать лучше, чем до войны, чтобы в лихорадке новых дней залечить собственную боль, делами воздвигнуть памятник павшим, мощно двинуть вперёд нашу прерванную войной жизнь. Приходили и те, кто запятнал себя дезертирством и малодушием и не до конца успел искупить вину, — была и у них и грела надежда в новых делах и задачах выправить пошатнувшуюся душу. Но едва ли кого-нибудь оглушила долгожданная тишина, обессилила тоска по сго-

ревшему дому. И едва ли кто-нибудь ступал на спасённую в боях землю так осторожно, пугливо, в полном расстройстве воли к жизни, как это делают Ведерников и его возлюбленная:

«Ведерников. Мы с тобою, как два беспризорника.

Ольга. Почему?

Ведерников. Так мне кажется.

Ольга. О чём ты думаешь?

Ведерников. О нашем доме. Видишь, я нарисовал его на земле прутиком. Тебе нравится?

Ольга. Да. *(Улыбнулась.)* Особенно воротца красивые.

Ведерников. Где этот дом, Оля?

Ольга. Не знаю. *(Показывая на рисунок.)* Вот здесь... И больше нигде... *(Смотрит на Ведерникова.)* Ты всё время думаешь о Люсе и Шурочке... Что с ними... да?

Ведерников молча кивнул головой. Пауза.

И я тоже... *(Тихонько.)* Знаешь... на войне я часто загадывала: неужели мы снова встретимся? Тогда это казалось таким счастьем!.. А теперь, когда мы наконец вместе...

Ведерников. Это перестало тебе казаться счастьем?

Ольга *(в отчаянии)*. Молчи!.. Мы так долго искали друг друга... И вот нашли... *(Сжимая его руки.)* Остального нет. Правда?

Ведерников. Наверно».

Ну что же, друг наш ситный, долгонько ждали мы, чем кончится затянувшееся детство; уж и закаялись ждать. Много наломано дров, наговорено глупостей, спотыкано на ровном месте. Ты уже оскорбил одного «человечка», оскорбил, как мог, давши ей понять словами возвышенными, что не она помогла тебе «стать другим». Кажется, теперь на руку твою опирается настоящая? Ты искал её по фронтам, нашёл под пулями и привёз к порогу несуществующего дома... Так строй же его, этот дом, а не мечтай о нём, строй в «оставленной» тебе жизни, а не рисуй прутиком на земле. В женщине всегда живёт здоровый инстинкт надежды на силу и мужество спутника, на его непреложную обязанность и способ-

ность заложить фундамент и балки так называемого счастья, — это не помешает настоящей женщине пойти за другом на «край света», на баррикады, не оставить его, если он откажется от этого счастья во имя большого принципа, большой идеи. Но не простит она ему ханжества и безволия, не ответит материнской улыбкой на заячьих полунамёки, на этот исполненный тайной надежды вопрос: «Это перестало тебе казаться счастьем?» — на всё, чем пытается утратить её эта лирическая размазня. Закоренелый циник и отъявленный моралист поступили бы достойней: первый — какой-нибудь липкой истиной враз охладил бы её надежды, второй — сделал бы то же деликатней и многоречивее, вероятно, прочёл бы ей, бывшей любовнице, логическую и обстоятельную тираду о пользе нормального воспитания детей, рождённых в законном браке. Много приличней, не говоря уже о сердечности, было бы молча всё обдумать и взвесить, а затем обрубить, но решительно и бесповоротно. Но травить надеждами, отмалчиваться, размышлять вслух... откуда же у этой прекрасносердечной Ольги так много выдержки, чтобы ещё улыбаться красиво нарисованным воротцам, и так мало женской гордости, чтобы в отчаянии сжимать руки нашкодлившей малютки и чтобы не встать и не бросить ему в лицо одну из тех уничтожающих фраз, которых побаивается «сильный пол», частенько пасующий перед прекрасным!

Однако автор вознамерился нас убедить, что не только нет у Ведерникова дома, но и быть не может: слишком уж он нагрешил. В новую жизнь не пускают сердечные привязанности, в старую — молодые грехи. А старая уже манит героя нашего, уже рисуется ему в аспекте положительно райском, но и вернуться не может он, как сильный муж без посторонней воли, разума и руки. И вот он вскакивает, в приливе энтузиазма и тоски, которым всегда так невыгодно отличаются слабые души:

«— Да-да, работать! Закончить то, на чём остановился два года назад. Если бы ты знала, как мне нужен сейчас Михей. Ах, чёрт, я слишком много всего наобещал! И вот

мне тридцать — молодость прошла... (*Пауза.*) Нет, пусть всё, всё будет сначала».

Редкий, однако, наш герой счастливее: хочется ему Михея — вот и Михей:

«Лаврухин (*тихо*). Вот мы и добрались с тобой до сути, Шура. (*Задумчиво.*) Всё желал сделать один. Ничьей помощи не хотел, так, что ли? (*Пауза.*) Ну что молчишь, фронтовой человек? Вернулся с войны, ордена на тебе поблескивают, и молчишь? Ты что на войне защищал? Наш советский образ жизни! Ради него ты себя не жалел. Ну, ладно, там не жалел, а здесь? Сам же его закон нарушил. Вот твоя первая вина, Ведерников!

Ведерников. Есть и вторая?

Лаврухин (*страстно*). Как ты мог бросить своё... своё! То, что было рождено тобой... твою мысль! Я завидовал тогда, смертельно завидовал, что это тебе выпала такая великая работа, а ты...»

А тут бы герою не молчать и не спрашивать, а хотя бы вежливо напомнить славному Михею, что находится он в драме, где «между картинами проходят годы»; что бывают нотации, в которых уже не нуждаются, и случаи, когда приходится бросить своё, чтобы спасти общее. Ошибка честна, тогда это казалось достойным выходом; к чему теперь упрёки? Но, разумеется, эти примитивные соображения не приходят ни в ту, ни в другую головы; а спустя минуту герой наш, узнав о блистательном завершении Лаврухиным его незаконченной работы, принимает к щеке друга запоздалым благодарственным лобзанием и, не приходя ни в отчаяние, ни в восторг, прочно настраивается на покаянный лад, с которого совратить его нет возможности.

Его покаянные речи, обращённые к разным собеседникам, столь однообразны по интонациям, что могут быть сведены в один сплошной монолог:

«— Да... теперь только одним могу оправдаться — закончить работу. И я сделаю это, даю тебе слово, Мишук... Я думал, видишь ли, что я единственный. Ещё одна ошибка, я сделал их слишком много, Оленька. Теперь у меня ни на одну нет права... Нет, не теперь, но, может быть, когда-

нибудь ты простишь меня, Люся... Прости меня... Я не сумел быть хорошим другом... Только обещал и ничего не исполнил. Я хотел всё сделать один — и не смог. Прости и не оставляй меня одного: ты так нужен мне, Миша... Давай будем работать вместе. Я постараюсь быть тебе полезным. Как когда-то».

Последнее предложение, видимо, настолько нехарактерно для Ведерникова, что и Лаврухин, обнятый и поцелованный, смотрит на героя нашего с удивлением и спрашивает заикаясь:

«— Ты... ты решил это, Александр?»

Странное дело! А что он мог решить? Ведь соавторство двух учёных возникает не по дружбе, а из общности научных взглядов, чаще на конкретной проблеме, которую оба вынашивали порознь. Над чем же работать «вместе», если проблема уже разрешена? Над тем, что ещё не задумано? Или потому «вместе», что сам он уже ни на что не способен, разве что быть полезным кому-нибудь? Право, сомнительна эта полезность, и не язык учёного мужа, а лепет грешника, торопящегося под занавес «душу спасти» унижительным самобичеванием! Правда, автор приходит ему на помощь своеобразным композиционным приёмом: между картинами последнего акта проходят не годы, а всего одна ночь, но и на эту ночь раздумий падает инерция нашей привычки, приравнивая её к годам. Пусть так. Но годы прошли; и ночь, равная годам, прошла; а Ведерников только и научился бояться одиночества. Не в этом ли суть коллектива по Арбузову?

Оттого, что «вместе» наш герой не делается достойней, немалая часть обязанностей перекладывается им на других. Любовный узел не развяжется сам собой, а герой наш просит, чтоб его оставили одного, и сам уходит куда-то думать, — именно тогда, когда более всего требуется его присутствие:

«Ольга. Я его люблю. Вы угадали это давно. С той поры прошло шесть лет... Годы войны, дороги, разлука, смерть и опять дороги!.. И вот мы наконец вместе... Несколько лет ждали мы этого дня, и... *(в отчаянии)* помоги-

те мне, я не знаю, что делать... У меня такое чувство, словно я подняла руку на то, что принадлежит другим... Другим, а не мне.

Галина. Уезжайте. Сегодня же. Немедленно!

Ольга. Нет-нет...

Галина. Помню, вы как-то сказали, что полюбить — значит помочь, научить, спасти. Если это так и вы действительно помогли ему стать другим, он не может быть счастлив с вами».

Есть, однако, увесистая пощёчина нашему герою в том забавном обстоятельстве, что труднейшую для него любовную коллизию улаживает женщина, которая «едва не стала его женой». Это, видимо, и даёт ей право поиздеваться над Ведерниковым за глаза и, ещё не видя его после долгих лет, заранее отказывать ему в способности быть благодарным и любить одновременно. А может быть, он действительно «стал другим»? Нет, не может быть! Устами Галины явно глаголет автор. Видимо, здорово крута натура Ведерникова, если и теперь, самоуниженный и прибитый, нуждается он в насилии! И даже не в одном: услышит бес-таланная Ольга и мужественный глас, но то не Ведерников будет, а Лаврухин; и от него услышит она слова самые тёплые, увидит поддержку самую дружескую. И только когда они всё решат, договорятся даже о машине и проездном билете, покажется наконец и наш герой:

«— Спасибо тебе... За всё. (*Целует ее руку.*)

Ольга. И тебе также. За всё. (*Гладит его волосы.*)

Ведерников. Больше тебе не будет за меня совестно. Никогда.

Ольга (*тихонько*). Тогда мне, пожалуй, можно уйти?

Ведерников. Ступай... Конечно».

Эта маленькая подлость, сдобренная напоминанием, что нынче «кому жизнь оставлена, с того особый спрос», едва ли нуждалась бы в комментариях, не будь преподнесена под видом иносказания. Но через минуту Ведерников не удивится отъезду Ольги, ни словом, ни жестом её не остановит. Значит, иносказания нет, и в этом «ступай», то есть в последнем, что услышит она от Ведерникова, за-

ключается полная мера предназначенного ей издевательства, — ей, которая по воле автора «помогла, спасла, научила»... Далее карьера героя нашего пойдёт много быстрее: инициативу возьмёт на себя Люся, прочтёт ему чудесный монолог о прелестях жизни, которой Ведерников пренебрёг столь неосторожно; герой наш попросит у неё прощения и приложит её руку к своей щеке — жестом смертельно усталого, скомканного, раздавленного человека. Может, и есть тут сермяжная правда, но видеть и слышать её почему-то обидно... Да и правда ли это?

Перечитывая пьесу, я вновь задаюсь вопросом: для чего же был выведен на сцену мыслящий, очень своеобразный человек и почему постигло его жестокое разочарование? Почему его трудный жизненный путь обернулся версией о человеке, не выполнившем долга перед родиной? Хочется верить, что не развенчание было задачей автора, что просто увидел он в жизни тип, мимо которого пройти не решился, и откликнулся горячей страстью сердца, — поэтому драма и получилась!

За пределами анализа остались многие ее красоты: это и прощание с юностью в первой картине, и сцены в заснеженном Борске, и мудрый водитель Бочкин (в чьи уста и вложена фраза: «Кому жизнь оставлена, с того особый спрос»), и вся сцена на переправе с санитаркой Зойкой Толоконцевой, влюблённой в Ведерникова и погибающей не совсем безотносительно к своей любви; это, наконец, язык, лаконичный и наполненный размышлением и сильным лирическим чувством. И хотя уже, кажется, невежливо поздно, мне всё-таки хочется сказать, как я ценю эту драму даже за спорность её, за побуждение откликнуться горячо и честно, ответить на сложную жизненную коллизию. Но драма имеет другое, полуофициальное название: «Ведерников», — и это давало мне право сделать статью критическим портретом главного героя. Автор подошёл к нему с требованиями понятными и простыми: он его не жалел и не делал посмешищем, только хотел сокрушить его внешнюю интересность и заставить перейти от игры в придуманную жизнь к самой непридуманной жизни, —

как это и делали многие со своими красивыми индивидуалистами, демоническими отщепенцами, рыцарями красивой фразы и никчемных дел. Но случай выдался непредвиденный: оказалось, что эти подпочвенные метания, окрашенные лёгким колером красоты, далеко не только внешние, а суть глубокие симптомы становления большого и многообещающего характера, — и развенчать их значило сокрушить самый характер. В конечном итоге автор притерпелся к нему и пожалел... и решил всё-таки привести к общему знаменателю, причислить любыми путями к сонму шаблонно «перестраивающихся». Так судьба Александра Ведерникова была обставлена помягче, с пути его убрано непреодолимое, обязанности распределены по чужим плечам... и всё великое становление сковано надеждой андерсеновской насадки, что ее злосчастный птенец «со временем выровняется и станет поменьше». И что же оказалось? Незаурядному человеку едва удалось выхлопотать на празднике победы и жизни скромное местечко провинциального родственника.

Самое странное, что и эта свирепая развязка не удовлетворяет критиков: толкуют о «всепрощении», о «разлитой по всей драме беззлобной теплоте», о недостатке социальной бдительности у Арбузова. Уже от Ведерникова одни мощи остались, это не человек уже, а ходячая мямля в тряпичной обёртке, он только подличать может да плакаться, в нём уже и развенчивать-то нечего. Нет, мало ему этого! Надо бы ещё не так разоблачить! Не так бы ещё отхлестать!

Критик Н. Велехова в «Комсомольской правде» расширяет Ведерникова в пух и дым, категорически отвергая его претензии на «семейный очаг, созданный заботливыми руками Люси». Я не обладаю смелостью Н. Велеховой, чтобы единым побивахом вычеркнуть из нашей жизни целую определённую человеческую разновидность, но хочу отметить, что этот её приговор обнародован по странной случайности в статье, где говорится о пользе свободного развития характера и вредности опеки.

Я думаю, что пора оставить схоластические споры, «каким должен быть наш положительный герой», и подумать

трезвее, каков он есть и как помочь ему выявиться полнее. Он ошибается, падает, ищет, встаёт и борется снова, озаря вспыхнувшей мыслью ещё не изведенное им. Он закипает яростью по самым непредвиденным поводам, он совершает поступки по зову сердца и так или иначе понимаемого долга. Если не пресечём эти метания «педагогическими» окриками, если не помешаем им делаться всё глубже и размашистей, то, может быть, и добьёмся, что проступят рельефнее черты нашего современника. Добивается не тот, кто осторожничают — как бы не потревожить устоявшееся и привычное. Добивается тот, кто добивается!

Театр. 1954. №12

Опубликовано с примечанием: «Печатаемая в дискуссионном порядке статья Георгия Владимова, редакция продолжает обсуждение пьесы «Годы странствий», начатое статьями В. Смирновой (№ 7), Д. Щеглова (№ 8) и Н. Калитина (№ 10)». — *Здесь и далее примечания автора.*

О ДИАЛОГЕ

«Он не стремился к механическому подражанию. Он только искал каких-то общих принципов. Он составлял длинные списки искусственных литературных приемов, подмеченных у разных писателей, что позволяло ему делать общие выводы о природе литературного приема, и, отталкиваясь от них, он вырабатывал собственные, новые и оригинальные приемы и учился применять их с тактом и мерой. Точно так же он собирал и записывал удачные и красочные выражения из обыденной речи — выражения, которые обжигали, как огонь, или, напротив, нежно ласкали слух, яркими пятнами выделяясь среди унылой пустыни обывательской болтовни. Он старался понять, как явление создается, чтобы иметь возможность самому создавать его. Он не довольствовался созерцанием дивного лика красоты... он, как химик в лаборатории, старался разложить красоту на составные части, понять ее строение. Это должно было помочь ему создавать красоту. Он хотел знать «как» и «почему». Его гений был рассудителен... С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и комбинациям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными

находками Мартин преклонялся с восхищением, понимая, что они созданы некоей высшей творческой силой, лежащей вне пределов человеческого разума» («Мартин Иден» Джека Лондона).

Это — удивительный рассказ, в котором все вещи названы своими именами, сдернута полумистическая завеса над лабораторией писателя и сама лаборатория открыта пытливному взору каждого с той откровенностью, которой большие, честные художники не стыдятся. Им, труженикам, претит кокетничать «чистым вдохновением», скрывая от взоров непосвященных будничную картину «черного ремесла». Как выясняется, истинные художники не слишком доверяют своенравной музе и не делают ставки на ее визиты, зато они собственным разумом проникают в святая святых красоты и, подчиняя ее своей воле, ставят на службу великой своей задаче. При этом они органически не способны быть поводьями. Если всмотреться внимательно в приведенный рассказ о писательском труде, можно увидеть, что этот рассказ целомудренно чист и вовремя обрывается на той незримой черте, где уже не будет искусства, где кончается даже ремесло и начинается откровенная сердобольная рецептура.

Это покажется парадоксом, но представитель «чистого искусства», ревниво прикрывающий дымкой небесного происхождения таинства своей литературной кухни, способен обучить писательству несравненно быстрее и легче, нежели большой художник, крепко помнящий о земном происхождении художественных творений, о том, что творчество — это труд, упорство, терпение. Ремесленнику ничего не стоит передать кому угодно весь арсенал дюжиных приемов, уловок и фокусов, которыми он научился блистательно прикрывать убожество или отсутствие социально значительной мысли, — мыслящий художник не способен на это по той простой причине, что самым добросовестным образом уважает свое оружие и своих соратников. Рецепты, пожалуй, были бы оскорбительны для них, как молчаливое признание их неспособности выковать собст-

венное оружие, которым драться сподручней, ибо оно — по руке.

Начинающий писатель, испытывающий на первых порах потребность в готовых формулах сочинительства, менее всего найдет их у классиков-гигантов, которым он поначалу не прочь бы и механически подражать. Но зато он в достаточном количестве найдет их у мелкой эстетствующей бездари, выдающей эти формулы из-под полы с миной непроницаемой загадочности на физиономии. Если формулы эти не увлекут и не развратят начинающего, он примется искать сам и в конце концов наткнется на черновики великих — а великие, в отличие от прочих, весьма охотно оставляют потомству свои черновики, — и постигнет всю тайну созидания прекрасного из черноземной грязи, из ломовых трудов и малопривлекательных потогонных поисков. А постигнув, он, в любом возрасте, почувствует себя пригоговишкой и примется за работу истою, не смущаясь начинать с азоев. И он в первую очередь поучится обращению со словом, потому что первой крепостью на его пути окажется литературный язык, многим отличающийся от тех обиходных будничных разговоров, которые нам позволяют общаться с ближними.

Он увидит, что великие не только отбирали лучшее у языка своего народа, но сами создавали язык, воздействуя на него активной волей и вкусом, и возвращали взятое у народа — преображенным. Проблема создания языка постоянно стояла перед ними и особенно ярко вспыхивала на крутых поворотах истории искусства. Новое время требовало новых песен, новая песня — новых слов. Всякая вновь возникшая уважающая себя идея непременно желала быть облеченной в новые формы, и стихия событий не могла не сомкнуться со стихией языка. Это могло навести иные умы на идею механического созидания модернизированной речи — так, на заре нынешнего века история зло посмеялась над потугами российских футуристов, иначе «будетлян», объявивших себя речетворцами и раскрепостителями плененного языка. Сочинилось, к примеру, нижеследующее:

*Шо да шо, да не нашоками,
А в прополз брюшины шок!
Жриху вырдывыми шоками
Раздабырдывай лешо!*

Эдакое и произнести хочется, ставши на четвереньки.

А слово и нет нужды выдумывать. В распоряжении сегоднешнего русского писателя — арсеналы богатейшего в мире языка, развивавшегося веками, впитавшего лучшее от всех общественных групп и классов, всю красоту, силу, крепость и свежесть наречий и диалектов громадины-страны. Это богатство движется в его руки самотеком, за ним не нужно ходить, как хаживали русские классики, к просвирням и рыночным нищим, в тюрьмы, бани и кабаки. Островский ездил слушать язык к верховьям Волги, а нынешние волжане стоят у ленинградских станков или захаживают в московские библиотеки. Кипит море жизни, и с нею бурлит и бродит океан слов, постоянно перемешивая свои воды. Достаточно занять свое место на любом участке жизни, и языковая проблема, казалось бы, решена для пишущего.

Но значит ли это, что идея словотворчества, созидания речи теперь начисто снята и художнику остается только слушать, брать у народа его язык, да и живописать им по силе возможности? Я, верно, стану ломиться в открытые двери, доказывая, сколь благодарен и ныне труд активного творца, отданный той самой проблеме, которая стояла перед каждым из русских классиков. Однако говорить об этом все же необходимо: не всякий берущийся за перо знает, что создает он не только книгу, но создает и язык, по крайней мере должен это делать, должен воздействовать на сырое слово своей активной волей и вкусом, должен возвращать взятое у народа — преображенным.

По скромным моим наблюдениям, писатели-прозаики мало знают о собственных книгах. Выходя из-под пера и облекаясь крепостью печатного шрифта, книга отделяется от ее создателя и начинает собственную жизнь, автор же знает только, понравилась она или не понравилась, по-

купаются или не идет, и почти ничего о том, какие струны задеты ею в многотысячном сердце читателя. Драматург — в более выгодном положении: он может прийти зрителем в зал и мотать на ус восторги и молчание публики, но даже и его не раз удивит неожиданность актерских толкований. Знание степени и силы своего воздействия на массу писатель приобретает годами. И с годами он все глубже начинает понимать, как сильно и благодатно — или, увы, наоборот — действует на читателя, слушателя, зрителя — язык.

Сильнее всего увлекает воображение жизненная философия героя; но телесная оболочка мысли — слова. И увлечение более или менее ярким героем сопровождается невольным запоминанием его характерных словечек, оборотов речи, афоризмов, сентенций, крепких и точных фраз. Нет нужды доказывать, насколько это шлифует словесную культуру массы, обогащает ее. Но у процесса овладения культурой речи — свои враги: читатель вообще легко воспринимает и усваивает также и газетные штампы, канцелярские обороты и чиновничьи формулы, вялые, сорные, никчемные словеса; мысль успокаивается на них и отдыхает, а чаще всего — отгораживается непробиваемым словесным барьером от действительности, от восприятия жизненной сути во всей ее цельности и глубине. Пошлость слова неизбежно — и, наверное, неизлечимо — ведет к застою разума. Школа языка — это также и школа морали.

Иногда от пишущего приходится слышать: «Раньше были купцы, монахи, авантюристы, бродячие актеры, мужики и работный люд, — каждая каста говорила по-своему. Теперь язык стал более однородным и книжным, постепенно выхолащивается и бледнеет». До таких тирад договаривается заурядная кабинетная скука, питаемая однообразным вращением среди надоевших разговоров и лиц. Что же касается книжности, насчет этого следует говорить особо.

Отвращает не всякая книжность, а только плохая книжность. Обратившись к русской классической прозе XIX века, можно видеть, что весьма живая книжность этой прозы удивительным образом перекликается с диалогами классичес-

ких трагедий и вместе с тем максимально приближена к разговорному языку. У одного из лучших русских стилистов, Лермонтова, это делается даже с некоторым вызовом: «Герой нашего времени» написан сплошь от первого лица, точнее, от первых лиц, каждый из которых ведет рассказ сообразно своей натуре, миропониманию и запасу слов. Можно пойти еще дальше и вторгнуться в ту область, где книжность вообще не считается особенным грехом, — в область творчества великих русских критиков, сочетавших насыщенность научной мысли с высоким художеством ее выражения. Среди них одним из первых стилистов, наверное, окажется Писарев. Но что составляет силу и прелесть писаревского слога, какая первая его особенность бросится в глаза? Он максимально приближен к разговорному, заимствует у него непринужденность, юмор и обстоятельность, он предельно прост и очищен от всяческой наукообразности, дешевой иностранщины и латинизмов. Это стиль не столько трибуна, сколько собеседника, и задушевность его беседы немало зависит от живой ее разговорности. Наконец, обращаясь к поэзии, можно видеть, что первейшая суть реформы стихосложения у Маяковского состоит в стремлении предельно приблизиться к языку улиц, площадей, митингующих толп. Ради этого порушены ямбы и хорей и найдены небывалые интонации и ритмы. Существует книжность «академическая», сухопарая, наукообразная, от которой рукою подать до чиновничьих перлов: «К сему прилагаю» и «Настоящим удостоверяется», в этой книжности великая литература неповинна. Но есть и другая книжность, которая сливается с разговорной стихией, стремится к ней, живет ее соками и сама благотно воздействует на разговорный язык. И может быть, вся история становления русского литературного языка была не чем иным, как борьбою хорошей книжности больших мастеров и знатоков языка с плохой книжностью бездарей.

При Островском не говорили лучше, чем теперь, и это возможно установить с документальной точностью: именно по чахлым и одноцветным творениям бездарных его современников. Из этого сравнения всякий может сде-

лать вывод, что без создания языка ни в какие времена у великих писателей не обходилось и что эта проблема не тревожила только умы производителей писанины, потрафляющей низкопробному вкусу. Таковая количественно преобладает и теперь, но пусть утешится языкотворец: при самой немыслимой плодовитости халтурщиков их творения умирают, едва родившись, а настоящая книга живет десятилетия, а то и века, и во все время своей жизни творит и сохраняет язык народа. Уже это соображение должно бы внушить художнику веру в себя, в неминуемо благодарные результаты его работы, закалить терпением и вооружить воинственным духом. Необходимо и возможно лишить халтурщика его активно вредного воздействия на читающую, слушающую, зрительскую массу и, добиваясь преобладания, учить ее говорить остро и сочно, крепко и чисто, выразительно и красиво.

Да, учиться говорить красиво! Я не сомневаюсь, что эта фраза многим режет слух, — но, кажется, в значительной степени оттого, что некогда большой языкотворец Тургенев заклеил словоблудие памятной со школьных лет формулой: «Мой друг Аркадий, не говори красиво!» Формулу эту приводят к месту и не к месту, забывая, к сожалению, что красота не существует в абстракции, она имеет свое лицо. Наше восхищение красивой женщиной непременно потребует уточнения, что красоту конкретной Анны Петровны составляет своеобразное сочетание ума, женственности, лукавства или гордости, силы и чистоты. Только через эти звенья можно перейти к рассказу об особенностях глаз, выреза ноздрей, очертаний губ или подбородка. Так же и языка, красивого вообще, не существует, — он может быть лаконичным или преувеличенно образным, суровым или задушевым. Высшая его красота — в той гибкости, с которой он в каждом новом обстоятельстве разворачивается полным фронтом своих выразительных средств.

Язык Булычова стихийен, груб, отрывист, но он единственно возможен в той предсмертной схватке, которую ведет этот некаяющийся грешник:

«Булычов. Отрекся — а? За что? За то, что я деньги любил, баб люблю, на сестре твоей, дуре, из-за денег женился, любовником твоим был, за это отрекся? Эх ты... ворона полоротая! Каркаешь, а — без смысла!.. Молишься день, ночь под колоколами, а — кому молишься, сама того не знаешь... Вспомнила! Страшный суд... Второе пришествие... Эх, ворона! Влетела, накаркала! Ступай, поезжай в свою берлогу с девчонками, с клирошанками лизаться! А вместо денег — вот что получишь от меня — на! *(Показывает кукиш.)*»

Красиво? А почему, собственно, нет? Анафемски красиво — как идеальное выражение бунтующей страсти и обиды, пробудившейся мысли и озорства. И сколько могучей пластики, четкого и строгого ритма — это хочется пощупать руками, как торцы булыжного тракта. Отсюда слова не выбросишь, чтоб не поранить смертельно всю фразу. И это — создано, этого не услышишь от одного, пусть сверхэрудированного лингвиста-гения, еще менее — от костромского купчины, даже если ходить за ними с записною книжкою по пятам. Это слышалось годами, проникло в кровь и мозг автора, шепталось и перекраивалось десять и тысячу раз, прежде чем мощный толчок фантазии положил эти отточенные и раскаленные слова на бумагу — в одну из обычных кабинетных минут.

Право, не знаю в литературе более сильного примера борьбы словом, нежели диалоги Егора Булычова с Меланией, Башкиным, попом Павлином, где сам герой, правдоискатель и мятежник, сражаясь со словоблудием и цинизмом окружающих его, становится художником слова, создателем языка...

Как же создается язык? Этот вопрос приобретает особенное значение для писателя драматического, который поставлен профессией на первый рубеж, лицом к лицу со стихией разговорной речи. Расхожая истина многих статей о диалоге — «Пьеса пишется разговорным языком» — ничего не дает драматургу и даже дезориентирует его, потому что писать пьесу только разговорным языком — нельзя. Имеются в виду, конечно, не ремарки. Хорошая пьеса пишется

синтезом хорошей книжности и создаваемой речи. Я различал бы в диалоге — *придуманное, услышанное и созданное*. Первое — не только почти, но даже совсем неприемлемо для реалиста, ограничивание вторым — неизбежно приведет к бытовизму и серости, все герои будут говорить языком одинаково тусклым или одинаково пестрым, с изрядной долей болтливости и неуместных острот. Речь может идти только о третьем, которое есть не просто смешение первого и второго, но высший синтез их, новое качество, рождаемое чудесным слиянием фантазии и памяти, рождаемое исключительно тогда, когда рождается характер.

Рецептов к созданию языка — нет. За диалогом нужно идти к его создателю, человеку, слушать разговоры людей и запоминать их, постигать все тончайшие переходы, все перипетии этой изменчивой стихии. Но совершенно ясно, что драматург идет за словом с несколько иным целевым намерением, нежели поэт и прозаик. Драматург ищет в жизни именно диалог. Не всякий разговор двух есть диалог в его драматическом смысле. Спор — не всегда диалог, спорить могут люди одинаковых убеждений и даже одной точки зрения на обсуждаемый вопрос. А диалог — это борьба, это схватка характеров. Она не всегда, эта схватка, яростна внешне, как в случае Булычова, ее прикрывают часто непроницаемая вежливость, многозначительные иносказания и недомолвки, и разговор порою кажется бессвязным и несодержательным, но это — диалог! Люди поспорили и разошлись — каждый, как говорится, остался при своем мнении, — а диалог непременно побуждает к действию, потому что сам он есть *действие словом*.

Николай Погодин в своей книге «Театр и жизнь» пишет:

«Говоря о мастерстве драматурга, надо прежде всего говорить о языке пьесы. Сценическое слово выполняет функцию действия; оно выражает характер действующего лица; а из этих двух начал и образуется художественная форма пьесы, которая должна свободно, ясно, точно воздействовать на сознание и чувства зрителей. Вот, на мой взгляд, правила, вытекающие одно из другого, которыми должны

руководствоваться сценические писатели, когда они пишут пьесу.

Первое правило, в общем, еще соблюдается — язык более или менее точно выражает происходящее действие, — иначе просто не было бы пьесы... А вот когда надо через слово ясно, точно, четко выразить характер действующего лица, тут мы обычно начинаем сдавать».

Автор статьи, как это можно видеть, понимает первое начало — «функцию действия» — настолько же определенно, насколько и ограничительно: «язык более или менее точно выражает происходящее действие». Я не против — ни этой определенности, ни этого ограничения, но уж если перечислять начала, так их не два, а три: автор статьи забывает о воздействии словом не на сознание и чувства зрителей, а на сознание и чувства действующих лиц, то есть о функции диалога как *возбудителя* действия. Без этого начала тоже не было бы пьесы, как нет ее, кстати, без ясно, точно и четко выраженных характеров.

На эту сторону диалога обращал особенное внимание Белинский, утверждая, что диалог тогда лишь действительно драматичен, когда он разговаривающих «становит в новые отношения друг к другу». Эти новые отношения, вероятно, и послужат к последующим действиям, придадут им силу, размах и — обязательность.

Попробую пояснить это на практических примерах небезынтересной пьесы молодого драматурга Виктора Лаврентьева «Светлая». Для этого мне придется выписать довольно значительную по объему сцену. В ней мы впервые встречаемся с Илюхиным и Русиновой, о которых еще ничего не знаем и надеемся узнать из их беседы: вначале оба слушают сообщения радио о боях под Сталинградом, затем Илюхину начинает казаться, что взгляд Русиновой в чем-то его упрекает, а Русинова, со своей стороны, советует Илюхину «не взвинчивать» себя постоянно. Дальнейшее привожу дословно:

«Илюхин. За что вы молча меня упрекаете? За что?

Русинова. И не думаю, и не могу... Я не виновата, что

мой муж на фронте, что я полгода не получаю писем... Бывает очень трудно... Ничего другого в моем взгляде нет. Неужели вы не понимаете?

Илюхин. Как не понять... Да, Никита Русинов в армии. Я поручил ему отвезти материалы в институт, а лучший товарищ, друг с давних лет, позволил себе не вернуться, оставить свой пост, уйти в ополчение.

Русинова. Разве можно за это осуждать Никиту?

Илюхин. Конечно, не осудишь! А я из-за него вынужден быть здесь, за тысячу верст от фронта. Одиноким, здоровый мужик, о котором некому горевать, должен сидеть, слушать сводки, написанные кровью товарищей, и заниматься никому теперь не нужным делом — вести изыскания на реке Светлой... Вот о чем говорят ваши взгляды.

Русинова. Неправда! Не выдумывайте! (Пауза.) Мы с вами нужны здесь, нужны. Если бы я хоть на минуту поверила, что мы напрасно тратим время и силы, меня давно бы... Ищи-свищи. И вам бы я первая сказала: бросайте!»

Из этой последней реплики зритель вправе заключить, что Русинова — женщина энергичная и самостоятельная, которая и не думает упрекать здорового невоюющего мужика, потому что сама очень трезво и мужественно смотрит на вещи. Если бы дело на реке Светлой казалось ей бесполезным, она бы сама ушла от этого дела на фронт, не спросясь тоскующего Илюхина. Если этого простейшего умозаключения Илюхин не удосужился вывести раньше, так вот ему прекрасный повод оборвать этот тягостный для него разговор. Однако он продолжает его, уже с новой позиции:

«Илюхин. Оставьте... Утешительница... Я никогда не чувствовал себя гостем в этих краях. Я полюбил эту красавицу Светлую. Возможно, за всю жизнь мне суждено сделать всего только один-единственный проект и принять участие в строительстве лишь одной гидростанции. Отказаться от этого мне не так-то просто. Но нашу работу, начатую еще Геннадием Ионычем тридцать лет назад, с успехом довершат другие, в другое, лучшее время...

Русинова. Вы думаете, оно очень далеко?

Илюхин. Даром провидца не обладаю... Мы с вами инженеры и обязаны понимать — не так-то скоро найдутся у государства силы для нового строительства. Сколько уже разрушено, разбито. *(Пауза.)* Вы знаете, что еще товарищ Ленин одобрил предложение Фролова построить гидростанцию на Светлой. И это было записано в плане электрификации России. Но сколько пришлось ожидать, пока не окрепла страна, пока правительство не сказала — приступайте к изысканиям! Последние годы, помните, мы вместе считали остающиеся дни до начала работы. Начали, и вот...»

Все это Русинова великолепно знает и помнит, но если уж автору непременно хотелось сообщить это зрителю, то едва ли это возможно было сделать лучше, чем в разговорах Илюхина с новичком Лубенцовым, там это прозвучало бы уместней, патетичней и действенней, там бы Илюхин своими воспоминаниями боролся, а здесь он только отбивается от кажущихся ему упреков своей действительной союзницы. И хотя ему уже ясно, что она его никоим образом не осуждает, он так разошелся, что не может остановиться и начинает сам на себя возводить обвинения:

«Илюхин *(горячась)*. Я убежден, что нас просто забыли. Забыли, что где-то у черта на рогах, на берегу далекой реки, застряла с довоенных дней экспедиция, ее остатки. Застряла — ну и ладно. Есть поважнее работа. И вот по чьей-то забывчивости — я просто дезертир. Да, дезертир».

Все очень естественно, ничего не скажешь: сидя в тылу, когда другие воюют, даже при большом и полезном деле, почувствуешь себя дезертиром. И, вероятно, это особенно обидно, если такое случилось «по чьей-то забывчивости». Тут не нужны никакие дальнейшие объяснения, а нужно стиснуть зубы, молчать и не плакаться. Что же заставляет Илюхина думать о своем дезертирстве, точнее, как он это состояние объясняет?

«Илюхин. Помните, Татьяна Васильевна, что нас действительно забыли. Денег давно не переводят. Нас не включают в списки на снабжение. Я краснею, когда по обязан-

ности прошу в райторге выдать для нас немного муки, сахара... Я с завистью слушаю, как другие посетители говорят о нуждах людей, работающих для фронта. Они не просят, а требуют. И им дают. А на меня смотрят как на странного, надоедливого фантазера и только-только не обзывают дармоедом. Я не говорил вам об этом.

Русинова. Опасались, что у меня пропадет аппетит или опустятся руки? А я буду есть хоть жмых, хоть одну картошку, а работу не брошу... Не надо отчаиваться.

Илюхин. Благодарю. Изумительный вывод. Я отчаиваюсь?! Женщина. Открой вам душу, и получишь взамен черт знает что».

Вот видите, сам же напросился на упрек, а теперь обижается. И при чем же тут женщина? Мужчина бы ему ответил похлеще. Ведь работа у них есть. Продукты в райторге Илюхин получает «по обязанности». В чем же дело? Может быть, ему приятней было бы, чтобы в райторг ходила и краснела там Русинова? Женщине это как будто легче: авось не обзовут дармоедкой. Нет, этого он — как герой положительный и благородный — хотеть не может. Но тогда — о чем речь? Нет у тебя ощущения своей правоты, чувствуешь ты, что дело твое бесполезно, — так оставь его и поезжай на фронт, никто тебя не остановит, как не остановили Никиту Русинова. Жена этого решительного человека еще слишком терпелива и даже мила с тобою:

«Русинова *(невольно улыбаясь)*. Как мне хочется вас утешить. Вы так похожи на обиженного мальчугана».

«Эко, слов-то у тебя сколько!» — говаривал в таких случаях Булычов отцу Павлину. К чему же свелась эта громоздкая, занявшая полторы журнальные страницы сцена? Мы увидели Русинову, которая показалась нам женщиной энергичной и самостоятельной в решениях, только не в меру снисходительной к человеческим слабостям. Мы кое-что узнали о трудном житье-бытье забытой экспедиции, о мечтах Геннадия Ионыча, — только ведь зритель не будет зрителем, если не пропустит все это мимо ушей, и правильно

сделает, потому что это его еще не интересует. Наконец, мы увидели многословно тоскующего Илюхина, с чувствами, может быть, и возвышенными, но только очень уж расслабленного, плаксивого, дряблого. Наше мнение о нем радикально изменится в дальнейшем, но мы никак не поймем, для чего было автору преподносить нам такую каверзу: Илюхин не из породы «неожиданных» людей, это не леоновский Похлебкин, да и не ставил автор перед собой такой задачи, он сразу хотел показать нам Илюхина прямым, деловитым, суровым и темпераментным. Но когда он писал эту сцену, то не задал себе простого вопроса: чего же добивается здесь Илюхин, каково его *желание*, зачем он заводит весь этот разговор? В какие новые отношения поставит этот диалог Илюхина и Русинова, какие возбудит действия и к каким последствиям приведет?

А ведь пьеса-то еще не началась! Герои только поговорили друг с другом, вспомнили былое, пожаловались на жизнь, поутешали и пообижались друг на друга. И это все — и рыхлость характеров, и навязчивость экспозиции, и торможение действия — произошло только по причине забвения важнейшей и необходимейшей функции диалога как возбудителя и зачинателя последующих событий.

Но, к чести для Виктора Лаврентьева, он все-таки опомнился на второй странице и написал небольшую сценку — такую простую, лаконичную и замечательную по своей полнейшей противоположности вышеприведенной:

«Илюхин. ...Лучше дайте мне один совет. У нас есть разное имущество — палатки, всякий инструмент, стекло, гвозди... Заведующий чайной на тракте, Ефим Кутин, предлагает свои услуги по части обмена. В любом колхозе с руками оторвут, оплатят стоимость, а главное, добавят продуктов. По современной терминологии — отоварят натурой. Пойти на это?

Русинова. Соблазнительно. Мне, грешнице, уже иногда снятся груды вкусной снеди. А это... это будет законным?

Илюхин. Наоборот.

Русинова. Тогда зачем же?

Илюхин. А легко мне знать, что все вы давно не едите досыта?.. Вы хоть иногда посматривайте на себя в зеркало.

Русинова (*помолчав*). Потерпим. Гоните Кутина.

Илюхин. Спасибо».

Вот это самое «спасибо» и дает нам понять, что никакого совета Илюхин у Русиновой не спрашивал, он только хотел узнать, так ли уж верит она в дело экспедиции, как говорит об этом, и не оставит ли свою работу ради чего-то другого. И трудность мы чувствуем действительную, а не воображаемую: видимо, круто приходится этим людям, если они — суровые и честные — могут всерьез подумывать об услугах приватного комбинатора. Любопытно, однако, как много времени и слов отнял бесцельный и рыхлый разговор и как мало их потребовало действие! А ведь эта сцена решительно не вытекает из предыдущей. Та — извлекается без особенной потери, этой — фактически начинается пьеса. Пробуждает ли действие этот маленький диалог, «становит» ли героев в новые отношения, словом — есть ли в нем элемент драматический? Безусловно. Русинова ответила: «Гоните Кутина» — и этим обязала себя остаться в экспедиции и разделять с ее участниками их трудности и работу. Илюхин проверил ее, теперь уже будет ему с ней спокойнее и едва ли покажется, что взгляд этой женщины в чем-то его упрекает. А — Кутин? Подавайте нам теперь Кутина, мы жаждем его лицезреть! Ведь недаром уже и фамилия названа; он, вероятно, еще заявится и подложит экспедиции какую-нибудь свинью. Станем теперь ожидать да размышлять, как дальше развернется борьба.

Итак, диалог обрисовывает характер, диалог выражает действие, диалог является источником действия. Последняя функция может, казалось бы, атрофироваться в последнем акте, где всякое действие должно наконец закончиться. Но этого в хороших пьесах все-таки не происходит, поскольку диалоги последнего акта зачинают *послед-*

сценическую жизнь. Таким образом, все эти три начала должны присутствовать в каждой сцене, от первой реплики пьесы до ее финала. Имея в виду эти три начала, драматург и отправляется за словом в жизнь.

Это, разумеется, не должно его ограничивать: он волен слушать все разговоры людей, гнаться за крепчайшим словом, поразительной фразой, колоритнейшим оборотом, он может и должен слушать интересные беседы, споры и монологи — заранее обдуманное намерение только придаст его поискам целенаправленность и деловой интерес. Он будет искать диалоги, слушать их, поддерживать или возбуждать. Особые свойства памяти помогут ему удержать не только слово, но и те обстоятельства, в которых оно прозвучало. А ведь всегда важно помнить, было ли это в комнатной тиши или в сутолоке улиц, ранним морозным утром или на закате южного дня, сказано в гневе или страсти, в радости или обиде, женщиной или стариком, рабочим или солдатом, ученым или актером: отрывать сказанное от сказавшего можно лишь с превеликой опаской — фальшь, не замеченная за рабочим столом, неминуемо проявит себя под увеличивающим стеклом сцены, острота покажется домашней, пафос — натянутым, лирика — пошлостью или слюнтяйством.

Все сказанное, как это можно понять, упирается в проблему памяти. Без хорошей памяти — нет писателя, в особенности драматурга, поскольку его обязанность — запоминать то, что живет секундами. Но память — такое же произведение человека, как сила мышц и качества характера; память можно и необходимо развивать, и в этом на помощь писателю приходит его записная книжка.

Дени Дидро говорит: «Слушать людей и часто говорить с самим собою — вот средства, чтобы подготовить себя для создания диалога». Записная книжка писателя отражает оба этих занятия, и второе — преимущественно перед первым. Она не может быть только складом деталей будущих конструкций, она есть нечто большее, а именно — карманная мастерская первичной обработки сырого жизненного матери-

ала. Записная книжка никоим образом не должна превращаться в заменитель памяти. Она есть разговор писателя с самим собой.

Насколько известно мне из опыта начинающих, записные книжки слишком часто ведутся неправильно, губительно для развития памяти и наблюдательности. Владельцы книжек зачастую не дают себе отчета в их назначении и заводят книжку приблизительно под девизом: «Начну-ка я записывать все интересное. Когда-нибудь пригодится. Куда-нибудь вставлю». И записываются парадоксальные случаи, колоритнейшие картинки быта, зарисовки из ряда вон выходящих тетей и дядей, оригинальные словечки, сентенции, афоризмы — то есть ровным счетом все то, что великолепно удерживается или *должно* удерживаться памятью. Ну что же, возразят мне, зато внимание останавливается на самом интересном, выдающемся, обостряется наблюдательность, умение извлекать жемчужины и блески. Смею уверить, что это далеко не так. Во-первых, выдающееся не всегда блестит и бросается в глаза не всякому. Во-вторых, наблюдательность на жемчужинах не обостряется, а, напротив, становится пассивной и пробуждается только под активным воздействием исключительного. В-третьих, наконец, интересное попадает не на каждом шагу, а над книжкой необходимо работать систематически. Неудивительно поэтому, что иные быстро разочаровываются в своих записях, оставляют книжку, — а садясь за писание вещи, не знают самого простого: чина и должности своего героя, привычек его и обычаев, отношения к различным категориям людей и различным историческим событиям, не знают, где и как он воспитывался и вырос, почему женат именно на этой женщине, и, наконец, самое удивительное: не знают, как он говорит, — неужто все жемчужинами и блесками? И вот вырисовывается парадоксальнейшая картина: записные книжки некоторых начинающих пестрят изумительными находками, а творения тех же авторов суть кратчайшие расстояния между этими находками, плавающими в мутной слякоти наспех сработанной «рыбы».

Здесь-то, воспитавший в себе критическое чутье или наученный другими, автор ощущает необходимость изменить отношение к работе, и в первую очередь к записной книжке. С годами она становится ровнее, теряет интерес для непосвященных, из нее все реже можно зачитать при случае «что-нибудь остренькое», — зато она становится глубже, детальней, интимнее и превращается из некоего подобия колллекции — в помощника и друга. К ней прибегают не только с праздничным, но и с будничным, и за эту верность платит она сторицей. Столь же глубоким, интимным, выстраданным становится творение автора, но именно поэтому оно делается теперь достоянием всех.

И теперь же, когда пишущий так привязан к своей книжке, кончается рабская зависимость от нее в процессе самого писания. Она сыграла свою роль, и теперь она как будто и не нужна. Почти парадоксально утверждение многих мастеров пера: когда пишешь вещь — роман ли, рассказ, пьесу, — в записную книжку почти не заглядываешь. Она имеет неизмеримо большее значение, когда ее заполняют, ведут, нежели когда читают, лихорадочно перелистывая, с целью подстегнуть нерадивую фантазию. В большинстве случаев это не удастся, подходящая запись не отыскивается сразу и внимание спотыкается на первых попавшихся блестящих, может быть, и значительных вообще, но решительно бесполезных в эту минуту и даже губительных для рабочего настроения. Приблизительно так здоровый аппетит перебивается конфетами. Но дело не только в этом: фантазия художника не может безнаказанно эксплуатировать вчерашний день. Скупость порождается боязнью «исписать», но никого от этого не спасает, — как давно известно, только щедрость сохраняет силы, только вечные поиски нового, жадность внимания к нему и щедрость созидания дарят долголетие творчества. И поистине выдающуюся роль в этом играет ненужная и неинтересная для других, но столь необходимая автору записная книжка.

Меня побьют моим же примером из «Мартина Идена», в котором говорится, что этот герой собирал и за-

писывал именно «удачные и красочные выражения», яркими пятнами выделявшиеся «среди унылой пустыни обывательской болтовни». Это требует от меня небольшой оговорки. Наблюдательный читатель мог заметить, что Иден собирал и записывал эти выражения *«точно так же»*, как и составлял «длинные списки искусственных литературных приемов», то есть с намерением разложить красоту на элементы и познать, как явление создается, чтоб научиться самому его создавать. Перед нами уже не процесс освоения жизни, а художническая учеба на ее красотах. Записная же книжка — это принадлежность писателя, окунающегося в жизнь с намерением постичь ее возможно быстрее, глубже, социальнее, развить свою память и наблюдательность. Те разговоры и фразы, что писатель записал, не отрывая от обстоятельств и личности сказавшего, он может теперь произвольно складывать в разнообразнейших сочетаниях, отбирая лучшее и отбрасывая мусор, дополняя и углубляя диалоги книжной эрудицией. Это, собственно, и есть разговор писателя с самим собою и — создание языка. Подобно тому, как из разрозненных черточек быта складываются его картины, подобно тому, как из отдельных зарисовок вырастает, живет и дышит типический характер, так создается и складывается его неповторимый язык.

Почему нельзя придумать диалог, вычитать из книг, воссоздать из словарной эрудиции? Это так же невозможно, как придумать тип. Диалог рождается тогда, когда рождается характер. Как рыбу невозможно извлечь из старой ее чешуи и заживо облечь в новую, так невозможно реальный, увиденный в жизни характер облечь в словесную оболочку придуманной речи. Диалог — это сценическая сущность характера, и она кровоточит от навязчивого вмешательства. Идя на поводу у критиков и завлитов, требующих во что бы то ни стало индивидуализации речи, авторы пичкают язык героя так называемыми «характерными словечками», начинают его инверсиями, умолчаниями и придыханиями — словом, делают уйму благоглупостей во имя того, чтобы язык одного персонажа никоим образом не походил на

язык другого. Получается что-нибудь вроде: «Я те, Иван Кузьмич, по-нашему, по-рабочему скажу. Нехорошо вышло. Непартийно».

Временами кажется, что автор спервоначала написал диалоги обыкновенным человеческим языком, а затем пустился во все тяжкие придавать ему рабочие, колхозные, моряцкие, профессорские, студенческие и тому подобные нюансы. Если на то пошло, так уж лучше оставить, как написано. Если герой мог выразиться так, как это первоизданно вышло у автора, и автор не видел в этом особенной фальши, — значит, герой и не мог выражаться по-иному. Так называемые характерные словечки — дело настолько же простое, насколько и бесполезное. Если ваш герой родился и вырос в Саратове, он, разумеется, «акает», произносит «хворат» вместо «хворают», употребляет «а то!» вместо «а как вы думаете?» и просит передать «за сорок» в троллейбусе. Героя берут на флот — и вот он отъезжает в Мурманск, плавает по компáсу, подает рапóрты и ждет, когда его произведут в мичманá. Затем он отправляется в Одессу, приезжает оттуда и говорит: «А сходим до товарища Зябликова, или есть у него на этот счет инструкции?» Я не против легкой стилизации речи, областной или производственной, но есть ли тут хоть какая-нибудь черта характера? Если и есть, так только одна: восприимчивость ко всяким словесным новшествам.

Вся суть индивидуализации речи сводится к тому, чтобы решительно о ней не заботиться. Заботиться нужно об индивидуализации души и мысли. Диалог получится сам собою, если проделана заранее работа наблюдения и записи. А затем герой может говорить свободно, может плавать в словесной стихии, как ему вздумается: если в сознании писателя созрел ясно очерченный психологический тип, речь его неминуемо будет оригинальной и неповторимой.

Есть и другая сторона этого же вопроса: отдавая дань характерным словечкам, автор не может забывать о насущном своем призвании воздействовать активной волей и вкусом на общую культуру народного языка. Косная

речь бюрократа не остается только на сцене, она проникает в зал и запечатлевается в памяти зрителя. Канцелярские жемчужины, спасая сатирическую комедию, не должны губить языка смеющихся над нею. Здесь уже хозяйское отношение к слову не терпит так называемой объективности: клеймя бюрократа, писатель должен заклеить и его язык, страстно и отчетливо, вытесняя его из обихода и даже доводя порою до немыслимого, истинно патологического состояния, — как это сделано в знаменитом монологе Победоносикова об аппарате освобожденного времени и текущем моменте, который «характеризуется тем, что он момент стоячий».

Придуманные диалоги за версту себя выдают: от них веет той повышенной драматичностью, которая в жизни ни за что бы писателя не поразила, но на сцене, как он полагает, должна произвести эффект. Этим диалогам обычно свойственны беспомощная иллюстративность, полнейшее отсутствие внутренней логики и совершенная их необязательность для хода действия. Жизнь всегда логичнее этих диалогов, и ее логики выдумывающему никогда не учесть, сколько бы он ни напрягал фантазию и ни пытался убедить зрителя жизненностью своих наблюдений.

Я позволю себе занять внимание читателя сценой из последней драмы Александра Штейна «Персональное дело» — в этой сцене отчетливо предстанут слабости придуманного диалога.

В квартиру Хлебниковых пришел давний друг хозяина, старый военный моряк Черногоубов. Он уже познакомился с дочерью Хлебникова, Марьяной, когда прибегает младший брат Марьяны со своим приятелем. Братец — субъект весьма развязный и наделен самобытной страстью «прикидываться идиотом», по мнению приятеля, не без успеха. Поэтому сестрицу, считающую долгом делать ему замечания, осуждать не будем. Будем читать дальше.

«Павлик. Воспитываешь? Макаренко!

Марьяна. А ты — отвратительный, несносный нарцисс.

Павлик. Покажи, покажи перед кавалерами ученость.

Черногубов. Насколько помнится, слово «нарцисс» имеет два значения. Первое — садовое луковичное растение с белыми пахучими цветами; второе — самовлюбленный эгоист.

Павлик (*с вызовом*). Второе, второе! А я не знаю, с кем имею честь...

Черногубов. А я знаю: с нахальным мальчишкой.

Павлик. Поаккуратней, товарищ капитан первого ранга, поаккуратней.

Черногубов (*негромко*). Молчать!

Павлик. Послушайте, вам здесь не полубак.

Степан. Не мне вам указывать, товарищ капитан первого ранга... Но не опрометчиво ли будет? Не разобравшись в обстановке, принимать решение? Павел мне товарищ, и я дружбы с ним не стыжусь...

Черногубов (*презрительно*). Товарищ! Он хамит, а ты позволяешь? Настоящий товарищ не подхалимничает, правду режет. Подлиза ты, а не товарищ!

Павлик (*со слезами в голосе*). Марьянка, это твой знакомый? В конце концов, это черт знает что! Меня вольно обзывать, как вам будет угодно, но Степана... Еще не проверено, кто из вас смерть чаще видел. Он в гвардейском танке до Шпрее дошел, весь в ожогах...

Степан. Будет тебе...

Павлик. За десятку сдал, медаль золотая, в Бауманское приняли, и тут — отличник!

Степан. Ей-богу, глупо. Угомонись ты, петух...

Черногубов. А ежели он такой герой выдающийся, что он в тебе, бедном, нашел?

Павлик. Я вас не понимаю.

Черногубов. Ты-то сам, например, отличник?

Павлик молчит.

Стипендию получаешь?

Павлик. До первой сессии — нет.

Черногубов. А зачем тебе стипендия? Батя вытянет, у него шея дюжая...

Павлик (*подернул плечом*). Марьянка, будешь кормить или нет? Мы уходим».

То, что эта сцена от начала до конца придумана, ясно и без «нарцисса». «Нарцисс» — только реальное доказательство, потому что сам бы Черногоубов с этим «садовым луковичным растением» не справился. Справился предварительно автор со словарем, а потом уже поручил Черногоубову объяснить для публики. Он и объяснил, и притом как нельзя более кстати: именно после того, как братец посоветовал сестрице показать «перед кавалерами ученость». Не блещет моряк умом и дальше — при всем убеждении автора, что именно таким шутейным образом и следует морским волкам толковать с неразумной порослью. У автора своя логика! Но у жизни — своя. Студенты — народ зубастый, и не стали бы они оправдываться перед хамоватым Черногоубовым ни золотыми медалями, ни гвардейскими ожогами, — да после того, как весьма резонно напомнили ему о полубаке. Они бы его, с позволения сказать, оборжали и сказали бы напоследок, что до батиной дюжей шеи ему нет никакого дела.

Для чего написана эта сцена? Может быть, она нужна по ходу действия? Может быть, она порождает новые отношения — между Павликом и Черногоубовым, Павликом и Степаном, Степаном и Черногоубовым? Никаких. «Нарцисс» и капитан более ничего не скажут друг другу, только последний заметит, что Павлик — «парень как парень». У Степана с Павликом пойдет все по-прежнему, у него же с Черногоубовым не возникнет ничего. Сцена — иллюстративна. Она должна характеризовать нахального мальчишку, с жиру прикидывающегося балбесом, — и характеризует довольно непосредственного, хотя и слабонервного субъекта с незначительными проблесками ума. Она должна характеризовать умудренного жизнью и находчивого моряка — и характеризует его глупейшим солдафоном. Она должна характеризовать Степана носителем армейской чести, вступающим за товарища, — которого он даже

и не уважает, — и характеризует в нем только робость перед начальством.

Придуманный диалог никогда не может стать нужным, он все испортит и извратит, — и только потому, что, сидя в кабинете, вы никогда не учтете всех оттенков жизненной логики. И напротив, «мельчайшая пылинка живого», как сказал поэт, всегда окажется к месту, всегда поможет действию, убедит зрителя, что и все остальное — тоже правда. По-настоящему же убеждает только созданное. Величие и правда — так формулировали большие художники синтез созданного. Величие — это страсть, горение, фантазия, пафос. Правда — это земное, это достоверность, это осязаемый быт. Только в их соединении, в неразделимом сплаве рождается настоящая убедительность.

Не нужно думать, что это под силу только героической патетике, только великим трагедиям, где само величие — правда и где правда — одно сплошное величие. Никакой, даже самый земной и примитивный быт не понуждает художника только придумывать или только «бытописать». Я беру в доказательство сцену из «Светлой», — это очень простая сцена, происходящая в столовой на тракте нового строительства. Обстановка — самая прозаическая, желания — тоже не отличаются романтизмом. Приходит шофер Иван Стабретов со товарищи и требует водки. Водки ему не дают. Друзья возмущены и требуют заведующего.

«А ня. Кто меня спрашивал?

Иван. Я. А-а, не здешняя. Глупые порядки заводишь. Ты знаешь, кто я?

А ня (*холодно*). Это пробел в моих знаниях.

Иван. И улыбнуться не желаешь? Так слушай: я — Иван Стабретов. Не слыхала?

А ня. Чем вы знамениты?

Иван. Работой и своими правилами. Не люблю, когда возражают. Кто до войны здесь больше всех денег оставлял? Я! И теперь, учти, пока буду тракт утюжить, все левые в вашей кассе. Ясно? Скомандуй. (*Соне*.) Лунатик, шевелись.

Аня. Не обижайте девушку. Она о вас заботится. Ведь жаль, если вы вместе с машиной слетите в ущелье. Левых денег нам не надо. О том, что вы король тракта, постараюсь запомнить. Соня, дай товарищу жалобную книгу. Вашу претензию, вероятно, с удовольствием прочитают работники автоинспекции.

Иван. Постой, постой.

Аня. Вы хотите сказать — постоите?

Иван (*помалчив*). Скука ты ходячая! Хочешь из шофера грошового ангелочка сделать? Карамелькой обрадовать? Другой раз не заеду. Замерзать стану — не остановлюсь. С голода скрючит — вашего куска хлеба не съем.

Второй шофер. Иван, наживешь неприятности. Сонечка, неси чаек.

Первый шофер (*берет газету*). Почитаем газетку.

Иван (*отводя Аню в сторону*). Удружи, товарищ. Я без всякого гонора прошу. Годами во сне виделось, что я еще промчусь по старому пути. Я тут первым машину проводил, когда еще и тракта не было в помине. Я об этом часе, как о сказке, на фронте думал. Сколько раз меня калечило, а я упирался, нет, не отдам концы, меня мой столик ждет. Оставляли служить в Германии — не согласился, рвался домой. Где же твоя душа? Глаза? Какой для меня час хочешь испортить. Первый рейс.

Аня. Поверь, товарищ Стабретов, не хотела и не хочу. Если бы вы сразу сказали. Примете от меня угощение? От фронтовички?

Иван (*недоверчиво*). Фронтовички? Почему же плохо нашу натуру знаешь? Ведь у нас так: загорелось — выкладывай с размаху. А с оглядкой да с примеркой пусть копеечники живут».

За подобными речами не нужно далеко ходить, ни высоко подниматься, ни погружаться в лингвистические глубины толковых словарей. Виктор Лаврентьев — писатель с хорошим чувством слова и знанием изображаемого; это и помогает ему, не мудрствуя лукаво, творить из обыденного, выстраивать характеры на самых простых и, казалось бы,

примитивных желаниях. Из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся? Бог ты мой, водки не дали! Но вы чувствуете этого темпераментного, гордого и настойчивого парня, с его залихватской отрывистой речью и широтой души. Вы предчувствуете, что не глупейшей ссорой окончится его встреча с этой женщиной, что они, несомненно, понравятся друг другу и будут верно и крепко дружить. И вас не удивит, если этого парня автор сделает одной из главных движущих сил конфликта.

А теперь посчитайте «характерные словечки» — едва ли вы что-нибудь тут найдете, кроме «левых денег» и «тракт утюжить», то есть самого банального, что можно узнать об особенностях шоферского лексикона. Не в этом дело, это можно выбросить или заменить, и образ нимало не пострадает. Дело в той динамичности, страстности, безапелляционности и крепости его речи, без которых Стабретов не Стабретов, потому что выразиться иначе он не мог. Это глубже, чем особенности речи, — это особенности его мысли, его чувства, его характера. Этих простых оборотов: «Глупые порядки заводишь», «Где же твоя душа? Глаза?» — не прилепишь навязчиво к характеру дряблему, или мечтательному, или рассудительному, они опадут с него, как с дерева пожухлая листва. А Стабретов живет в них, и он не то что выразиться не может иначе, он не может иначе поступить. Это он сам, его философия, его образ жизни. Все это надо было услышать, воспринять на слух, — иначе бы в такой простой и одновременно патетической сцене фальшью отдавало бы за версту.

Почему диалогу нельзя научиться из книг? Я сознательно оставляю вопрос насчет учения у классиков напоследок, поскольку подходить к этому учению следует очень и очень осторожно. Диалоги прозы менее всего подходят для этой цели, поскольку выполняют совершенно иные функции. Слово в драме несет нагрузку и побудителя действия, и самого действия, каковая нагрузка в прозе значительно ослаблена, а в драме выступает на первый план. Даже речевая характеристика персонажей, сходная в прозе и драматургии, имеет

для последней не только большее, но даже исключительное значение. Диалоги прозы более характеризуют речь, диалоги драмы — характер. Наконец, выступают чисто акустические соображения: слово прочитанное и слово услышанное могут по-разному зазвучать на сцене. Поэтому слово должно непременно восприняться на слух, и оперировать при создании диалога можно только услышанным словом. Учиться диалогу необходимо на пьесах, но и здесь гораздо более осторожно, нежели учатся пейзажу, описаниям внешности и манер, ибо слово, в особенности у классиков, составляет настолько неотъемлемую принадлежность говорящего, что неосторожное подражание речи неизбежно приведет к стилизации под уже известного героя.

И, однако же, надо учиться у классиков: их бережному обращению со словом, их безукоризненному вкусу и неиссякаемой любви к этим крепким и чистым, сочным и объемистым оборотам, к этим круглым и «вкусным» русским периодам, которые словно бы созданы для идеального выражения душевной силы и недюжинной мудрости. Учиться умению и страсти словотворчества!

Проникнуть в стихию языка — значительно труднее, чем приобрести словарную эрудицию. И важнее! Начинающие нередко путают эти понятия и, в надежде, что вывезет запас слов, тшятся довести его до возможного предела, порядка десяти — двенадцати тысяч. Делать это, разумеется, лучше, чем не делать, но это еще не решение вопроса. Вещь, написанная с помощью десяти тысяч слов, может оказаться беднее оттенками и ничуть не ярче, не живописней, несмотря на всю языковую пестроту, — нежели написанная с помощью двух тысяч. Здесь уже выступает математический закон сочетаний. Глядя на крымские марины Айвазовского, трудно поверить, что в палитре их создателя было всего три-четыре краски, но каждую из них художник постиг в совершенстве и добивался невиданного количества разнообразнейших сочетаний. Постичь слово, как живописец постигает краску, растирая и размалевывая ее на палитре, добиваясь власти над нею, постичь бездонные недра языка и его золо-

тые россыпи, богатства пластики, музыкальности и ритма — первейшая задача всякого берущегося за перо с намерением жечь глаголом сердца людей. И эта задача никогда не решится ни словесной эквилибристикой, ни добыванием жемчужин, всегда таящих в себе опасность оказаться чужеродными и ненужными.

Без создания диалога нет сценического героя, а есть, в лучшем случае, очерковые зарисовки колоритных личностей; нет типического, а есть придуманное и только щеко-чущее слух; нет глубокой правды, а есть скольжение по вер-хушкам. Создавать язык — значит создавать идеи и характеры, значит активно вторгаться в жизнь и воздействовать на нее могущественным оружием — словом.

Театр. 1955. № 6

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ПОБЕДА

Вторая половина 1941 года...

Никогда потом не был так стремителен темп немецких наступлений и так оглушительны успехи оккупантов; никогда потом они не имели такого преимущества — в силе техники, мощности огня, обученности кадров. А между тем именно в эти полгода исход войны был предрешен, если и не окончательно, то во всяком случае бесповоротно. Был потом Сталинград, были Курск и Белгород, Корсунь-Шевченковская операция и много других побед — их одерживала уже спасенная Россия. А спасена она была именно в те трагические дни сорок первого года...

Одни из тех, кто совершил это чудо, узнали об этом значительно позже. Другим так и не суждено было узнать. Может быть, мысль о печальном различии между первыми и вторыми и породила название нового романа Константины Симонова «Живые и мертвые». Так или иначе, среди книг, тяготеющих к правде войны, засвидетельствованной участниками и очевидцами, среди этих книг роман Симонова выделяется отчетливым стремлением сказать и ту правду, которая не была тогда известна людям, сделавшим для спасения родины больше, чем они сами думали. Не напрасно же так часто в «Живых и мертвых» слышен рефрен: «Они не знали...», полный и грусти, и гордости всей мерой совершенного этими людьми.

«Они не знали и не могли знать, — говорит автор о бойцах дивизии, выходящей с боями из окружения, — что генералы еще победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев германской армии через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой».

Признания врага немало значат. Особенно если он перестает оправдываться свирепостью русской зимы и необъятностью российских пространств и называет роковым для себя самый жаркий месяц в году, когда его сапоги, колеса и гусеницы пожирали эти самые пространства наиболее успешно. Все наши споры о трагедии 1941 года упираются в чудовищную трудность: увидеть всходы побед там, где, кажется, — одна безысходная пропасть поражений.

В первых главах романа вновь возвращаются к нам тягостные, обидные часы и дни всеобщей сумятицы, «ужаса и недоумения», бессмыслицы и нелепейших слухов, потому что «толком никто ничего не знал», потому что «все перемешалось и сдвинулось со своих мест». Эпизоды и люди мелькают, запоминаясь лишь постольку, поскольку разительны сами факты. Они точно выхвачены теперь наугад из залежей записных книжек и брошены кое-как на страницы, но от этого нисколько не теряют в своей достоверности. Ни этот военный комендант, который «говорил таинственным шепотом, что ему пока ничего не известно». Ни красноармеец, бросающийся со штыком на своих, потому что заподозрил в них переодетых немцев. Ни новобранцы, идущие к своим частям и попадающие в плен, так и не успев получить оружие. Ни вот эта скорбная фигура на пыльном шоссе отступления: «...на узкой дамбе в толчее стоял громадного роста человек без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и... надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попытается отступить! Но люди двигались и двигались мимо...» И точно мало всего этого, над головами людей, в синем небе отчизны, разыгрывается еще одна простая драма тех дней; они видят ее и плачут от ярости, потому что ничем не могут помочь своим неповоротливым

и беспомощным бомбардировщикам, ползущим под огонь «мессершмиттов» без прикрытия, «на своей безысходно малой скорости».

Может статься, эта картина покажется кому-нибудь чересчур мрачной. Но надо думать, их мнение вполне уравнивается мнением тех, которые найдут ее чересчур приглаженной. Однако и те и другие вряд ли назовут ее фальшивой и недостаточно впечатляющей, чтобы вместе с автором и его героями, «доведенными до бешенства своими мытарствами», задаться вновь мучительными вопросами. «Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля?..» — спрашивают себя герои, едущие, точнее, ползущие на фронт в поезде, «почему-то составленном из одних дачных вагонов». Политрук Синцов, вернувшийся в Москву, рассказывает жене «обо всем, что видел и что передумал: о великом подвиге людей и о их величайшем изумлении перед ужасом и нелепостью происходящего; об их стойкости и бесстрашии и о возникавших в их голове страшных вопросах: почему так вышло и кто в этом виноват?».

А за час до этого к той же Маше, жене Синцова, с теми же «страшными вопросами» подступал старик Попков: «Что из ямы как-нибудь вылезем — это ты меня не убеждай... А вот как в яму залезли — ты мне объясни. Вот что я понять хочу!» Этого не только он понять не может, но и Серпилин, старый и умный военачальник, в свое время пострадавший за проповедование бывших тогда не в моде предупреждений о сильных сторонах тактических взглядов возрожденного Гитлером вермахта. В конце романа Серпилин предлагает тот же вопрос старому другу из Генштаба: «Скажи мне: как вышло, что мы не знали? А если знали, почему вы не доложили? А если он не слушал, почему не настаивали?»

Большинство этих вопросов остается без ответа. Это и понятно: чтобы ответить как художник — посредством живых фигур и реальных коллизий, Симонов должен был бы написать совсем другую книгу, совсем о другом. В романе же, начинающемся первым днем войны, все эти размыш-

ления и рассуждения в лучшем случае составляют тему публицистических отступлений; они детализируют тогдашний колорит жизни, напоминают нам, о чем думали, чем терзались люди, продолжавшие при этом делать свое дело. Художественной концепции на этом не построишь, потому что не о том роман писан.

«Почитайте книгу Толстого... «Война и мир», — говорит Хемингуэй, — и вы увидите, что все пространственные исторические рассуждения, которые ему, вероятно, казались самым лучшим в книге... вам захочется пропустить, потому что даже если когда-нибудь они и имели не только злободневное значение, теперь все это уже неверно и неважно, зато и верным, и важным, и неизменным осталось изображение людей и событий».

Вот почему если в «Живых и мертвых» есть «верное и важное и неизменное», так это изображение того, как закалялась сталь сопротивления и отпора, как люди, опомнившиеся от первого потрясения, от своего «изнурительного страха» и отчаяния, потянулись жадными руками к оружию и еще до приказа «Ни шагу назад» не сделали этого шага по доброй воле. Эта сила в «Живых и мертвых» берет начало не после сумятицы и разброда, а параллельно им, перемежаясь с ними, а еще точнее — вырастая из них, из неприятия всего, что мешает драться. Она возникает как бы исподволь, мелькая едва заметными штрихами, едва очерченными фигурами — то неким безымянным полковником, проворчавшим: «Слава богу, восьмой день воюем, пора в порядок приходить!», то даже и невидимым в темноте стрелочником, который один, в неразберихе и хаосе на станции, уверенно говорит, какой поезд пойдет, и он действительно идет; то неизвестным бойцом с чирьем на шее, который в плену у немцев конфиденциально сообщает о них Синцову: «Думаешь, порядок у них? Ничего у них не порядок, тоже беспорядок». И, наконец, является Серпилин со своей замечательной фразой о «нормальных условиях боя» и сердитой тирадой: «Все кругом только и твердят: «Диверсанты! Диверсанты!» А я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их презираю.

Если охрана несется правильно, никаких диверсантов быть не может». А затем в обескровленную боями и все-таки сражающуюся дивизию приходят пять артиллеристов, притащивших свою пушчонку по занятой врагом земле аж от самого Бреста!

Вот так, понемногу, как будто из мелких, но очевидных деталей, ясно доказывающих, что люди, совершившие чудо великого перелома, не были столь подавлены и ошеломлены с самого начала, как это казалось даже им самим в первые минуты вражеского вторжения, — понемногу из этих мозаичных кусков составляется пестрая и сложная картина того, как, кем и когда была растоптана в прах безумная идея блицкрига.

Картину эту едва ли назовешь цельной. Но едва ли она и была таковой. Гораздо легче, конечно, поддается живописанию уже устоявшийся быт войны, со всем комплексом сложившихся привычек, обычаев и традиций. В романе Симонова быт этот только еще создается. Фон повествования чрезвычайно подвижен, устойчиво здесь лишь пристрастие автора к людям кадровой армии — отсюда обилие подробностей и разговоров о званиях, наградах, передвижениях по службе. Но как раз это доскональное знание, как раз эти подвижность, изменчивость, взвихренность происходившего с героями заставляли ожидать такой же динамичности характеров. Этого, к сожалению, не произошло. Каким входит в повествование Малинин — утрюмый, немногословный и твердый в суждениях и привязанностях, — с таким Малининым и расстаемся мы в конце, когда его, раненного в живот, увозят на дровнях. Первая встреча с симоновскими героями обыкновенно сильно заинтересовывает. Но так же сильно разочаровывает вторая. Не потому, что люди эти обманывают наше очарование, а потому, что не очаровывают по-иному.

К людям мало-мальски противоречивым применяется слишком частый у Симонова и едва ли достойный его прием растолковывания вместо показа, вместо движения характера. Точно читатель не уяснит себе, к примеру, малопочтенной сущности мнительного Крутикова без рекоменда-

ции автора: «Он был молод, недобр и растерян. И, как это часто бывает, нежелание верить другим рождалось у него от неуверенности в самом себе... Он изо всех сил старался по-прежнему держаться так, как его обязывала надетая на него военная форма, и, пряча собственный страх, цукал и упрекал в трусости своих подчиненных. Но себя самого он не мог обмануть».

Если, при всем этом, генеральная тема «Живых и мертвых», тема величайшей сопротивляемости и непобедимой стойкости народной души, завязана тем не менее в основных своих узлах, то произошло это лишь потому, что Симонову с его мастерством и опытом удалась общая картина: массовые эпизоды и целая галерея маленьких, эпизодических лиц. Они-то, эти лица, мгновенно и точно очерченные, и составляют все вместе лицо сражающегося народа. Ни одна частная человеческая история в романе не может поспорить с теми картинами, где проявляется общее, народное начало — от первых дней смещения и вплоть до прекрасной сцены взятия нашими станции Воскресенское, сцены, которую следует считать кульминацией, потому что именно от этого боя берет начало новая «арифметика» войны. И тем более жаль, что люди, изменившие эту арифметику, так мало изменились сами — исключая, пожалуй, Серпилина и еще Синцова. Но о Синцове следует говорить отдельно, потому что с ним связана и основная слабость романа.

Как бы широк ни был охват событий и как бы многочисленны и масштабны ни были проблемы романа, он тем не менее или тем более требовал для себя стройной и четкой концепции, сосредоточенной вокруг определенного психологического и философского центра. Таким центром явно не может быть Синцов. Для этой роли он слишком «ограниченно годен», слишком обнаруживает свое назначение дежурного для связи разрозненных событий и персонажей. Появляясь в большинстве эпизодов, он почти нигде не становится главным действующим лицом. Между тем именно на синцовские хрупкие плечи автор возлагает всю тяжесть своей концепции, именно в его судьбе видит влияние тех больных, но живучих явлений, которым мы обязаны поражениями 1941 года.

Так начиналась победа

Описания скитаний Синцова, его злоключений в плену, побега и затем мытарств в поисках утраченной репутации занимают почти всю вторую часть романа и большую долю третьей. Здесь много приключений и беллетристики и мало прозы, той прозы, которая отличает сцены в окружении и появляется вновь в описаниях декабрьских боев под Москвой, в картинах немецкой атаки, взятия Воскресенского и на тех последних страницах, где батальон Рябченко идет на запад по снежной равнине Подмосковья навстречу поднимающемуся дыму горящей деревни.

В истории Синцова автору дорога тема веры в человека. Но при всем горячем сочувствии к Синцову в его многотрудных хождениях по инстанциям читатель не может не видеть, как малотрагедийны его мытарства в сравнении с общим «наводнением горя».

А между тем утрачивается темп, слабеет пружина главной темы, и, вероятно, поэтому вся вторая часть романа не идет в сравнение с лучшими страницами из первой и третьей, где бои, где муки, где последнее напряжение сил, где решаются судьбы мира, а не утерянной гимнастерки с документами.

На перьях, которыми пишутся книги о войне, следовало бы выгравировать надпись, как на старых клинках: «Без дела не вынимай, без чести не вкладывай». И, адресуя этот совет автору «Живых и мертвых», нужно сознаться, что вынут клинок для дела, то есть для слова, покамест не сказанного о великой войне. Но вкладывать его рано, — не так быстро расстанутся со словом, которого требует зрелая совесть живых и светлая память о мертвых.

Литературная газета. 1960. 4 февраля

Рецензия на: Симонов К. Живые и мертвые: Роман // Знамя. 1959. № 4, 10—12.

ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ ХОЛДЕНА

Не тонкость отделки и не изящество архитектоники делают роман Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» тем, что он есть, — одной из беспощадных и гневных, остро жалящих книг. Книга эта идет к вам путем самым простым и бесхитростным и вместе с тем кратчайшим, «ходами» обнаженной, предельной, бьющей наотмашь откровенности. В этом весь ее секрет. И вся сила.

Шестнадцатилетний американец Холден Колфилд пишет вам, или рассказывает, из туберкулезного санатория, где ему, конечно, не придет в голову актерствовать, «выставляться напоказ» и сочинять педагогические сюжеты из своего «дурацкого детства». Ему бы исповедаться почестнее перед вами, а может быть, и перед самим собою, и потому он без дальних предисловий, без «всей этой давид-копперфильдовской мути», просто рассказывает о трех днях своей жизни, очень суматошной, безалаберной и невыносимой для него, стараясь не упустить ни одной мелочи, называя все вещи их именами и меньше всего рассчитывая понравиться вам, — и больше всего он нравится вам за это. Его откровенность доходит порою до мучительства или до таких подробностей, которые можно назвать и натурализмом или еще каким-нибудь руга-

тельным словом, — но, как ему кажется, без этого не обойтись, если хочешь, чтоб тебе поверили.

Эти три дня выбраны как будто совсем случайно, ничего особенного в эти дни как будто не происходит. А между тем перед вами полная история несчастья. Оно началось задолго до первой страницы и не кончается вместе с книгой. Его не объяснишь ни тем, что юного лодыря «выперли» из аристократической школы Пэнси, ни тем, что украли пальто, ни тем, что он забыл в метро «идиотское снаряжение» фехтовальной команды. Его несчастьем вообще нет имени. Можно было бы назвать его строчкой из песенки Бернса: «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи...», но там, где обходишься словом или фразой, нет надобности писать книгу.

В эти три дня случилась простая вещь. Случилось так, что Холден, покинув школу и еще не придя домой, оказался внезапно вышибленным из привычной колеи, из своей респектабельной обыденщины, и остался наедине с собой. Даже не остался, а просто повис над гигантским, бурлящим и пустынным городом. В описаниях Сэлинджера Нью-Йорк поразительно бесцветен: мало того что на всем протяжении романа вы не встретите слова «небоскреб», но вы не услышите шума и грохота, не увидите прыгающей световой рекламы — вещей, столь привычных нам по традиционным описаниям журналистов. Есть только жуткий холод «и кругом — ни души». А Холден еще не в таком возрасте, когда одиночество закаляет.

Несчастье стало предельным, оно достигло красной черты на шкале, которую Холден размечает по-своему, со всем пылом мальчишеского нетерпения и максимализма. Оссенбергер, оказывается, «отгрохал речь часов на десять» — вероятно, и десять минут послушать хвастливые разглагольствования этого хлюста, нажившегося на поставке гробов, для Холдена выше его сил. Экли врывается к нему в комнату «раз восемь — десять на дню» — нам, читателям, и одного раза достаточно, чтобы нас затошнило от этого набожного тупицы, с его прыщами, об-

ломанными ногтями и вечно капающим носом; нам и один раз не по себе, когда он берет в руки фотокарточку Салли, а ведь он держал ее в своих омерзительных лапах «по крайней мере пять тысяч раз». У кинотеатра мы видим: «миллион народу стоит в длиннющей очереди» — если так ненавидеть кино, как Холден, может вполне показаться, что в очереди стоит весь род людской. Вместе с Холденом мы смотрим спектакль «про каких-то старых супругов, которые прожили пятьсот тысяч лет вместе», — и, право же, больше ничего не нужно рассказывать про этот спектакль, потому что ничего убийственнее этой лапидарной рецензии не придумаешь. Больше не нужно рассказывать о квартире Колфилдов, если в спальне у них кровать «миль десять в ширину»; больше не нужно говорить! о любви к родственникам и о них самих, если «у меня! одних теток штук пятьдесят»; большего нельзя сказать о том, какой невыносимой вдруг сделалась жизнь Холдена, если он слышит в холле «застоялый запах пятидесяти миллионов сигарных окурков».

Но, безудержный в ненависти и отвращении, он так же не знает удержу и в своих привязанностях. У малышки Фиби «целая куча блокнотов — у нее их тысяч пять, если не больше», и в этом уже сквозит застенчивая и горячая нежность к сестренке, нетерпеливое желание, чтобы она и вам поскорее понравилась, потому что это самое любимое, что есть у Холдена. И когда она «отодвинулась от меня бог знает куда, на другой конец кровати, чуть ли не на сто миль», — это тоже можно понять, это действительно страшно, потому что, когда говоришь кому-то о самом наболевшем, нельзя, чтобы он отодвинулся от тебя даже на сантиметр.

Если меришь все такими масштабами и живешь такими крайностями, можно и в самом деле прожить за три дня целую жизнь. А в Холдене «уживаются» крайности самые несовместимые, противоречия самые раздирающие. Он не выносит и минуты одиночества, он все порывается кому-то звонить среди ночи, какой-то чужой женщине, которую он и в глаза не видел, приятелю, который

«наизусть знал, кто педераст, а кто лесбиянка», и больше ни о чем не мог говорить, «старушке Джейн», которая уже побывала со Стрэдлейтером в машине «этого проклятого Эда Бэнки»; он умоляет, напившись вдрызг: «Пжалста, пзовите Салли» — и зовет ее жить с ним «у ручья»; он пытается заговорить с шоферами такси — о том, куда деваются утки с замерзшего пруда, с девицами в кафе, с музыкантами в оркестре, но «все эти смазливые ублюдки одинаковы. Причешутся, прилижутся — и бросают тебя одного». И в то же время он сам мечтает лишь об одном — уехать куда-нибудь на Запад, подальше от «ненужных глупых разговоров», притвориться глухонемым несчастным дурачком, и пусть все «оставят меня в покое».

Холден поразительно откровенен, он говорит начистоту обо всех своих слабостях, неудачах, об ощущениях, в которых ему неловко и больно теперь признаться, — возьмите его разговор о лифчиках или о дешевых чемоданах, — и в то же время он беспардонно врет милой доброй миссис Морроу насчет ее сына, расписывает ей удивительную чуткость этого «всеобщего любимца», — «а сын ее был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой школе... В крышке от унитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте», да и вообще Холден дорого не возьмет соврать мимоходом какому-нибудь дураку.

У него очень верный, почти безукоризненный вкус — по отношению к театру, кино, литературе, к «идиотским рассказам в журналах» (рассказам «про всяких показных типов с квадратными челюстями по имени Дэвид и показных красоток, которых зовут Линда или Марсия, они еще всегда зажигают этим Дэвидам их дурацкие трубки»), он умеет различить, когда певица «свое дело знала», а когда «ничего там не было — одно актерство», он знает настоящую цену слезливой сентиментальности («Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревет в три ручья, так поручиться можно, что из них девять окажутся в душе самыми прожженными сволочами») — и в то же время он сам для себя придумывает сентиментальную сказочку о житье «у ручья»,

где-нибудь на далекой бензозаправочной станции, с «красивой глухонемой девушкой», куда все к нему будут приезжать и где у него «будет такое правило — никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает»; в то же время он сам признается: «Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров... Мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться... Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно».

Он знает о людях достаточно и многих из них ненавидит и презирает, а все-таки ищет встречи с ними — даже против их желания. Он бывает взрослым и проницательным, необычайно зрелым для своих лет, и бывает милым дурашливым ребенком, который напяливает на себя красную охотничью шапку и непременно желает выяснить, куда же деваются утки, когда замерзает пруд в Центральном парке, у Южного входа.

Все это, казалось бы, странно, все это могло бы озадачить, но ведь ни одно движение Холдена не фальшиво, ни одна строчка в романе не покоробит вас неверно взятой интонацией. (И здесь нельзя не сказать о прекрасном переводе Р. Райт-Ковалевой, которая донесла до нас Холдена и роман о нем со всеми его интонациями и словечками, со всей сложной гаммой его звучаний, без явных русизмов и в то же время так, что он совершенно входит в наш язык и наши понятия, точно он и написан по-русски.)

Несчастье Холдена родилось вместе с ним, с его невесть как сформировавшейся душой, чистой и бесконечно мягкой, нежной, легко ранимой, отзывчивой даже просто на человеческую улыбку, — несчастье естественного человека, принужденного жить неестественной жизнью, прилаживаясь к официальной морали преуспевающих дельцов, маклеров-«удавов», «хлюстов», «жулья», «смазливых ублюдков», «остроумных болванов», «распутных сволочей», «всяких психов» и «двоюродных подонков», от которых нет спасения даже на кладбище, потому что страшно представить себе, «как миллион при-

творщиков явится на мои похороны... а вокруг одни мертвецы и памятники».

Он чувствует себя единственным нормальным среди психов и живых мертвецов, и, право, что может быть естественнее того, в чем он, стесняясь, признается Льюсу: «Но понимаешь, в чем беда? Не могу я испытать настоящее возбуждение — понимаешь, настоящее, — если девушка мне не нравится. Понимаешь, она должна мне нравиться. А если не нравится, так я ее и не хочу, понимаешь? Господи, вся моя личная жизнь из-за этого идет псу под хвост. Дрянь, а не жизнь!»

А что же Льюс? А Льюс говорит ему: «Ты запутался в сложностях», — и предлагает сходить к психоаналитику.

Каждое движение Холдена непосредственно и естественно для данной минуты, потому что о следующей минуте он не задумывается. Он считает себя трусом, для него невыносимо ударить человека по лицу, видеть в эту минуту его глаза, и все-таки он первый бьет Стрэдлейтера, хотя тот сильнее его, потому что у Джейн «детство было страшное... но это его не интересовало, Стрэдлейтера», «у него совести нет ни капли». Холден стесняется сказать вору, что тот вор, и все-таки называет дураков и кретинов дураками и кретинами, потому что нет сил не сказать им, кто они есть. Он отдает последние деньги двум монашкам, потому что они напомнили ему добрую и славную миссис Морроу, а ей самой он расписывает ее сына, потому что у нее милая улыбка, — и все-таки он замечает сумку, которую она поставила в проходе купе так, что кондуктор или еще кто-нибудь мог бы споткнуться. Он презирует Лилиан Симмонс, бывшую любовницу его старшего брата, за то, что она в ресторане «загораживала весь проход, и видно было, что ей нравится никого не пропускать», а в это время «официант стоял и ждал». Он замечает и славную гардеробщицу, которая не взяла у него, пьяного, доллар, и коридорного в отеле: «что за работа для такого старика — носить чужие чемоданы и ждать чаевых? Наверно, он ни на что больше не годился, но все-таки это было ужасно».

Сильнее всего и чаще он чувствует жалость — к дураку Экли, к старому Спенсеру, выжившему из ума, хотя он-то и вытурил его из школы, к некрасивым девушкам, которые должны выслушивать всяких дураков, рассказывающих им про свой «идиотский футбол». И при всем этом у него ни малейшего почтения к богатым, к сильным, к знаменитым, ко всем классным игрокам жестокой игры, которую они называют жизнью и в которую, как им кажется, играют по всем правилам. Холден среди них — явный мазила, поневоле или по призванию, но скорее всего добровольный мазила, которому все осточертело и вся игра кажется «сплошной липой».

Куда он идет, Холден, и что привязывает его к жизни? Это неясно ему самому, как туманно его собственное отношение к войне: с кем ему быть, он не знает, он знает лишь, что в американской армии «полно сволочей, не хуже, чем у фашистов», и потому, пожалуй, самое лучшее — сесть верхом на атомную бомбу. «Пропась, в которую ты летишь, — ужасная пропась, опасная... Я очень ясно вижу, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, нестоящее дело», — говорит ему учитель мистер Антолини и читает Холдену длиннейшую нотацию о людях ученых и *просто* талантливых и об «академическом курсе», которому Холден должен себя посвятить. От этих нотаций Холдена берет зевота, и неспроста, конечно, потому что мистер Антолини предлагает ему такую же пропась, такое же патентованное средство забвения, как и все те, кого Холден ненавидит и презирает: в конце концов они только и делают, что всякими способами уходят от настоящей жизни.

Единственная неизменная, неиссякаемая приязнь Холдена — это дети, и среди них маленькая сестренка Фиби, в которой мы узнаем того же Холдена, только еще не созревшего до его чудачеств и смятения. Речь его, обыкновенно хлесткая и мальчишески грубоватая, становится вдруг чистой и застенчиво-нежной, когда он говорит или думает о детях или разговаривает с ними. В пар-

не его возраста это кажется даже странным, у него еще не может быть никаких отцовских чувств, но отношение Холдена к детям вовсе не отцовское, а куда более сложное. «С ребятишками все по-другому», — говорит он, уже хлебнувший «взрослой» жизни и сразу отведавший в ней больше, чем ему хотелось бы. Он перерос эту жизнь и, пожалуй, вернулся бы обратно, если б это было возможно. И это возможно отчасти, если придумаешь себе занятие, какое придумал Холден. «Понимаешь, — говорит он Фиби, — я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему».

Это иллюзия, конечно, но спасительная иллюзия. Она не позволит Холдену вернуться обратно к миру, который его породил и отверг. В конце концов, это уже и призвание, и цель, которой можно себя посвятить. Однако ведь и эта иллюзия потребует мужества. Хватит ли его у Холдена? Сэлинджер этого, пожалуй, не знает. Да и мы знаем лишь, что в свое время из самых чистых мечтателей порой формировались вполне прагматичные буржуа, а закоренелые и отъявленные филистеры нередко происходили из безалаберных бунтарей. Вероятно, к тому же придут со временем «битники» и «рассерженные молодые люди». Это так, но все дело в том, что Холден Колфилд — не «битник» и не «энгри мэн». Скорее в их компании представишь себе Стрэдлейтера, Экли, Салли, нежели Холдена, для которого все это — та же самая «сплошная липа», та же мода и которому глубочайше ненавистны все эти банды и шайки, все эти «хлюпики из аристократических землячеств», клубов, компаний и спортивных обществ.

Ему суждено другое, суждено стать как бы отделившейся совестью всех этих людей, этого ненайденного поколения, — надорванной, отравленной и кровоточащей. Это хоть кому недешево стоит, а Холдену, помимо всего, это стоит здоровья. Дыхание у Холдена короткое, нервы «совсем ни к черту», головная боль кончается обмороком, а три дня походов — туберкулезным санаторием. О какой уж тут говорить борьбе, если тому же Стрэдлейтеру ничего не стоит повалить его на обе лопатки и придавить грудь своей «вонючей коленкой», если лакей Морис, который в другое время расшаркался бы перед ним и смиренно принял на чай, теперь, когда Холден одинок, сбивает его с ног и перешагивает через него, не опасаясь возмездия. И это еще, так сказать, «хэппи энд», мы ведь знаем, чем окончилась история с Джеймсом Каслом, над которым надругались шестеро юных фашистов и довели его до самоубийства.

Но интерес романа о Холдене вовсе не в авторском ответе на вопрос, сможет ли герой когда-нибудь бороться. Весь интерес его в том, что мы видим: вот жизнь привычно катится своим чередом, и мерзости ее становятся привычной обыденщиной, даже не слишком унылой, даже отчасти радующей глаз своим никелированным, нейлоновым, поливиниловым гляncем, и школа Пэнси доблестно выковывает благородных «сто процентных американцев», — но внезапно, откуда ни возьмись, появляется вот такой парень, сам плоть от плоти этого мира, и криком своей души заставляет посмотреть на все другими глазами. И мы видим, что человеку жить в этом нейлоновом мире невыносимо, что он задыхается в нем и не находит, куда себя деть. И мы видим другое: что этот мир не так прочен, каким самому себе кажется, и что напряжение в нем достигло красной черты. Многих читателей и критиков этой книги интересует будущее Холдена. Но разве не сам Холден отвечает на это: «По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать?» И разве для того он рассказал вам свою историю, чтобы вы задумались вместо него, как

Три дня из жизни Холдена

ему жить дальше? Я думаю, что как раз с самим Холденом все обстоит более или менее благополучно. Что-то, разумеется, уйдет от него, уйдут наивность, порывистость, способность «балдеть» от девчонок без всякой влюбленности. Но человечность и непримиримость, пожалуй, останутся. А с этим можно не только умереть достойно, с этим можно и жить.

Однако что толку думать о тридцатилетнем, о сорокалетнем Холдене, если у него не было юности? У поколения должно быть не только будущее, у него должно быть и настоящее. И вот когда его нет, тогда нужно бить тревогу. Нужно говорить во весь голос, нужно писать книги большого мужества, большой злости и большой любви. Книги о юности, за которую почувствовали бы себя в ответе взрослые и сильные.

Новый мир. 1961. № 2

Рецензия на: Сэлинджер. Дж. Д. Над пропастью во ржи: Роман / Пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой // Иностранная литература. 1960. № 11.

ПИСЬМО В ПРЕЗИДИУМ IV СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Копия — А. Солженицыну

Уважаемые товарищи!

Я, как и вы, получил письмо А. Солженицына и хочу высказать свое суждение по всем пунктам этого письма.

Я осмеливаюсь напомнить Съезду, что не рапорты о наших блистательных победах, не заслушивание приветствий иностранных гостей и не единение с народами Африки и борющегося Вьетнама составляют главную задачу писательских съездов. Но прежде всего — единение со своим народом, прежде всего — разрешение собственных наболевших проблем, без чего не может жить и развиваться советская литература. Она все-таки не может жить без свободы творчества, полной и безграничной свободы высказать любое суждение в области социальной и нравственной жизни народа, — какими бы ругательствами мы ни поносили это законное требование всякого мало-мальски честного, мыслящего художника. Без нее — он чиновник по ведомству изящной словесности, повторяющий зады газетных передовиц, с нею — он глашатай, пророк в своем отечестве, способный воздействовать духовно на своего читателя, развить его общественное со-

знание либо предупредить об опасности, пока она не на-
двинулась вплотную и не переросла в народную трагедию.

И я должен сказать — такая свобода существует. Она
осуществляется, но только не в сфере официально при-
знанной, подцензурной литературы, а в деятельности так
называемого Самиздата, о которой вы, вероятно, осве-
домлены. Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют
в машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные
вещи Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Платонова
и других, ныне живущих, чьих имен я не называю по
вполне понятным соображениям. Могу лишь сказать, что
и моя вещь усыновлена Самиздатом, не найдя пристани-
ща в печати. Время от времени она возвращается ко мне,
и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнес в нее
очередной переписчик, а той бережности и точности,
с которыми все-таки сохраняется ее главное содержание
и смысл.

С этим ничего не поделаешь — как ничего нельзя поде-
лать с распространением магнитофонных записей наших
менестрелей, трубадуров и шансонье, не узаконенных Ра-
диокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. Уст-
ройте повальный обыск, изымите все пленки, все копии,
арестуйте авторов и распространителей, и все же хоть одна
копия да уцелеет, а оставшись — размножится, и еще того
обильнее, ибо запретный плод сладок. Помимо неподцен-
зурных песен и литературы есть неподцензурная живопись
и скульптура, и я даже предвижу появление неподцензу-
рного кинематографа, как только кинолюбительская тех-
ника станет доступной многим. Этот процесс освобожде-
ния искусства от всяческих пут и «руководящих указаний»
развивается, ширится, и противостоять ему так же глупо
и бессмысленно, как запретить табак и спиртное.

Лучше подумайте вот о чем: явно обнаруживаются два
искусства. Одно — свободное и непринужденное, каким
ему и полагается быть, распространение и воздействие
которого зависят лишь от его истинных художественных
достоинств, и другое — признанное и оплачиваемое,

но только угнетенное в той или иной степени, но только стесненное, а подчас и изуверченное всяческими компрачикосами, среди которых первым на пути автора становится его же собственный «внутренний редактор», — наверное, самый страшный, — ибо он уродует дитя еще в утробе. Которое из этих двух искусств победит — предвидеть нетрудно. И волей-неволей, но приходится уже сегодня делать выбор — на какую же сторону из них мы станем, которое же из них поддержим и отстоим.

Я прочитал многие вещи Самиздата. 9/10 из них, могу сказать со всей ответственностью, — не только можно, их должно печатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зарубежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего престижа. Ничего антинародного в них нет, — об этом ни один художник, здравый умом, никогда и не помыслит, — но в них есть дыхание таланта, и яркость, и блеск раскрепощенной художественной формы, в них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни. А подчас в них слышится боль и гнев за свое отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся яркими его друзьями и охранителями.

Разумеется, все вышесказанное относится и к неизданным вещам Солженицына. Я имел счастье прочесть почти все им написанное. Это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия, кому суждено прославить ее в мире и ответить нам на все больные вопросы выстраданных нами трагедий, — не знаю иного автора, кто имел бы больше права и больше силы для такой задачи. Не в обиду будь сказано Съезду, но, вероятно, 9/10 его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр же Солженицын, гордость русской литературы, донесет свое имя много подалее. И если ему сейчас физически трудно выполнить свою задачу по причинам достаточно вам известным, изложенным в его письме, то не дело ли Съезда, не честь ли для него — защитить и оберечь этого писателя от всех превратностей его индивидуальной судьбы?

Запрещение к печати и постановке, обыск и конфискация архива, «закрытые» издания вещей, к изданию самим автором не предназначенных, вдобавок еще гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну... — читать об этом больно и мучительно стыдно. Это происходит в пролетарском государстве. Это происходит на 50-м году Революции. Это происходит, наконец, в цивилизованном обществе во второй половине XX века. Не хватило духу объявить писателя «врагом народа», — в конце концов это был бы честный бандитский прием, к которому нам ли привыкать! — нет, воспользовались приемом сявок, недостойных находиться в приличном доме, подпустили слух исподтишка, дабы скомпрометировать писателя в глазах его читателей, хоть как-нибудь объяснить его вынужденное молчание... Такого парадокса еще не ведала история демагогии — официальные общественные организации, пушающие анонимку на *частного* человека! Ведь даже Чаадаев был объявлен сумасшедшим высочайше, то бишь открыто.

И вот я хочу спросить полномочный Съезд — нация мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий Народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь же твердо, как верит он сам, — но мы-то, мы здесь при чем? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от его лица липкую зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакций и правлений, когда он искал ответа?

Мы в это время выслушивали приветствия г-на Дюрренматта и г-жи Хеллман. Что ж, это тоже дело, как и единение с борющимся Вьетнамом и страдающей Грецией. Но пройдут годы, и нас спросят — что сделали мы для самих себя, для своих ближних, которым так трудно было жить и работать?

Письмо Солженицына стало уже документом, который обойти молчанием нельзя, недостойно для честных

Георгий Владимов. Бремя свободы

художников. Я предлагаю Съезду обсудить это письмо в открытом заседании, вынести по нему ясное и недвусмысленное решение и представить это решение правительству страны.

Извините все резкости моего обращения — в конце концов, я разговариваю с коллегами.

Уважающий вас

*Г. Владимов.
Москва, 26 мая 1967 г.*

Впервые опубликовано в кн.: Солженицын А. Собрание сочинений: В 6 т. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1970. Т. 6.

ПИСЬМО В ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Вы не пустили меня на книжную ярмарку во Франкфурт-на-Майне, куда меня пригласило норвежское издательство «Гюльдендаль». Я не был на Западе ни дня, проживу и без этих шести; трудно лишь объяснить г-ну Гордону Хельмбаку, главному редактору, наивно меня пригласившему, что мой союз, добровольный творческий союз единомышленников, может утаить приглашение и не отвечать на мои запросы, может не пустить автора встретиться со своим издателем, с читателями, с книгой. Поймет ли он, смогут ли ему перевести, если я объяснюсь на вашем страшном языке тюремщиков и работарговцев: я — «невыездной»?

Еще труднее — себе самому признаться, что питал иллюзии, будто вам ведом иной язык, будто природа ваша может меняться.

Когда на Западе появилась и стала распространяться моя повесть «Верный Руслан», вы спохватились, многого ли достигли долгим битьем «Трех минут молчания», — или просто рука устала? — вы сочли ошибкою и саму травлю, и статус «неудобного», каким я всегда для вас был, и вы призывали меня «вернуться в советскую литературу». Я вижу теперь, какую цену должен был заплатить за это возвращение. Простодушный г-н Хельмбаку, желая вас порадовать, пишет, что очень доволен переводом «Руслана» и отзывами

норвежской прессы, — и какую ж занозу вгоняет в ваши партийные сердца! Ну, разумеется, политика не по его части, ему все едино, где появляется русская проза: в «Гранях» или в «Дружбе народов», — там, где он видит литературу, там вы — политику и ничего больше; кто же дальтоник? Я мог бы попросить его переписать приглашительное письмо, чтоб никакой «Руслан» не упоминался, — это бы вас устроило? — но для меня бы значило: отказаться от собственной книги. На унижение я не пойду. И так как вам не расстаться с вашей природой, а мне — со своей, то это мое письмо к вам — последнее.

Отдавали вы себе отчет, куда предлагали мне «вернуться»? В какой заповедный уголок бережности и внимания? Туда, где по семи лет дожидаясь издания книги, после того как ее напечатал первый журнал в стране (дети, родившиеся в тот год, как раз пошли в школу, выучились читать)? Где любой полуграмотный редактор и после одобрения вправе потребовать любых купюр, пускай бы они составляли половину текста (не анекдот — письма ко мне М. Колосова)? И где независимый суд в 90 случаях из ста (а если произведение критиковалось в печати, то в ста случаях) примет сторону государственного издательства и подтвердит в решении, что надо уложиться в «габариты повести»? Литературоведы, не знающие этого термина, обратитесь к судье Могильной — *она знает!*

Чего не претерпишь ради великого российского читателя — да если б была нужда терпеть, говорить с ним из-под пресса, постылым языком раба Эзопа. Разумеется, всякий предпочтет издаваться на родине, где его тиражи свободно расходятся, а не тащатся в микродозах через самую надежную в мире границу, и все же нет проблемы неизданных авторов, есть проблема — не решающихся издаваться. Десять лет назад в письме IV съезду я говорил о наступлении эпохи Самиздата — и вот она кончается, другая идет, куда более продолжительная, — эпоха Тамиздата. Да он всегда и был, Тамиздат, ненавистная для нас палуба в океане, на которую усталый пилот мог посадить машину, когда не принимали отечественные аэродромы. Но ведь советовал вам изгнан-

ник, а вы не слушали: «Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века», впору уже не о палубе говорить — о целых островах, если не материке. И попробуйте не посчитаться с нарастающей жадой читателя, который, в отличие от вас, текстом интересуется, а не выходными данными, — все меньше у него охоты разбирать седьмые-восьмые копии, он хочет иметь — книгу.

Россия всегда была страной читателя — и такого, что в семи водах испытан, в бесчисленных огнях. Чем ему только мозги ни пудрили — и казенной хвалой, и списками сталинских, в Лету канувших, лауреатов, и постановлениями об идеологических ошибках, и докладами ваших секретарей, и всесоюзными анафемами, и публицистикой «знатных сталеваров», — а все же не сплошь запудрили, выстояла, выкристаллизовалась лучшая его часть, знающая цену честной, не фальшивой книге. Этот читатель, помимо своей основной обязанности — просто читать, — принял еще оброк, наложенный временем: сохранять книги от физической смерти, и тем бережней, чем рьяней их изымают. Тридцать лет он хранил Есенина, пока не дождался переиздания, еще хранит — машинописного Гумилева, уже хранит — «Ивана Денисовича» в «Роман-газете», принял на сохранение — «В окопах Сталинграда» с библиотечным штампом — зачитал ли? украл? выпросил? — но уберег от гильотинного ножа.

Вы предлагали мне «определиться», сделать выбор, но, боюсь, он не между Тамиздатом и Тутиздатом, он — между читателем и вами. Между ним, кто хранил и мои новомирские комплекты, переплетал — без надежды, что издадут, а на северных флотах — переписывал от руки в тетрадки, — и между вами, кто не исполнил передо мною элементарных обязанностей профессионального союза. Ваше Бюро пропаганды *не рекомендовало* читателям встречаться со мною, ваша Правовая комиссия не вступилась за мои права, попранные издательством «Советская Россия»; знакомство с Иностранной комиссией вполне исчерпывается эпизодом с приглашением от «Гюльдендала». А могло ли иначе быть? Могли б вы на йоту отступить от главного своего предназначения?

Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так должно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши — и оставаясь — полицейским аппаратом, вознесшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы — и если б только они. Не стану зачитывать присталинский список — кому союз, вернейший проводник злой воли властей предержащих, да со своей еще ревностной инициативой, первоначально *оформил дела*, обрек на мучения и гибель, на утасание в десятилетиях несвободы, — слишком длинно, более 600 имен, — и вы оправдаетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руководстве — прежнем, нынешнем, промежуточном — «поздравляли» с премией Пастернака, ссылали — как тунеядца — Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля, выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал? И вот, еще не просохли хельсинкские чернила, новые кары — изгон моих коллег по международному ПЕН-клубу*. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух нобелевских лауреатов высвистели! И как не воскликнуть словами третьего: «Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!» Ну, может быть, хватит? Опомнимся? Ужаснемся? Так ведь для этого, по крайней мере, Фадеевым надо быть. Но, травя, изгоняя все мятущееся, мятежное, «неправильное», чуждое соцреалистическому стереотипу, все то, что и составляло силу и цвет нашей литературы, вы и в своем союзе уничтожили всякое личностное начало. Есть оно — в человеке ли, в объединении, — и теплится надежда на поворот к раскаянию, к возрождению. Но после размена фигур положение на доске упростилось до крайности — пешечное окончание, серые начинают и выигрывают. Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не

* В. Войновича, Л. Копелева, В. Корнилова, Л. Чуковской.

Письмо в Правление Союза писателей СССР

читаются. Унылая серость с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей ведома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда — неутолима и неукротима.

Оставаясь на этой земле, я в то же время и не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключенных, «оформленных» к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я исключаю вас из своей жизни. Горстке прекрасных, талантливых людей, чье пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они поймут, что колокол звонит по каждому из нас, и каждым этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища, — пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас — своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием.

Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны, — давите, преследуйте, не пушайте. Но — без меня.

Билет № 1471 возвращаю.

*Георгий Владимов.
Москва, 10 октября 1977 г.*

Грани. 1977. № 106

ЛИК МОЕГО НАРОДА?

К процессу Александра Гинзбурга

— Здесь стоит мать осужденного! — крикнул им Сахаров. — Будьте же хоть раз в жизни людьми!

И этот вскрик, столь страшный по смыслу, несколько их не ошарашил. Тотчас нашлась с ответом девица — вертлявая и с порочным личиком, в лаконичной сверх пределов юбочке, в калужских кругах известная как «показательная воспитанница детской комнаты милиции»:

— Мы-то вот люди, а вы кто? — и далее уже по инструкции: — Нам стыдно за академика Сахарова!

Мы и они стояли по разные стороны ворот, из которых должны были вывезти осужденного, и они реготали, ржали тем смехом, какой возникает только при виде пальца, — над чем же? Как ловко они нас провели. В руках у нас были цветы, мы хотели их бросить под колеса «воронка» с немудрящим скандированием «А-лик! А-лик!»; эти цветы хранились в прозрачном полиэтиленовом мешке с водой и были розданы в последние минуты — и тут, кстати, выдали себя примазавшиеся, втесавшиеся, изображавшие «сочувствующих»: от цветов они отказались, этого инструкция то ли не предусмотрела, то ли не могла позволить даже в целях маскировки. Однако и они приготовили свою «новинку».

За три дня мы привыкли, что «воронок» этот (не черный, как в песне поется, а серовато-розовый) вылетает стреми-

тельно, и тут же срывается и мчит за ним с прерывистой сиреной желто-синий милицейский «газик». Но вылетел — другой какой-то, без сопровождения, с одним лишь водителем в кабине, — у нас не было уверенности, но бросили цветы и под него, все-таки проскандировали. Это и было началом их розыгрыша, а самая кульминация наступила, когда у второго «воронка» так театрально неожиданно распахнулась задняя дверка и подбежавший дружинник показал нам, что в нем везли — дорожные бутылки из-под кефира.

— А вы — «Алик, Алик»! Вот вы кого с цветами встречали. Подберите ваш мусор.

Уже давно истощились наши с ними дискуссии: кого мы тут чествуем цветами, и чем нас не устраивает советская власть, и какого нам рожна еще нужно, «борцам справедливости», и вот некто, явно нагрузившийся, ступив с тротуара и выпятив живот, обвел наши ряды блаженным и оценивающим взглядом.

— Эх, хорошо встали! Щас бы вас всех из автомата — одной очередью!

— В своих попадешь, — сказал ему кто-то из нас. — Тут и ваши стоят, на этой стороне.

— Никогда! — воскликнула страстно «показательная воспитанница». — Никогда мы не встанем на вашу сторону!

Свой фортель с «воронком» они могли проделывать до бесконечности, и мы двинулись восвояси, под накрапывающим дождем, по улице, закрытой для проезда всех машин, кроме оперативных. Двинулись и они — параллельно, по проезжей части, временами приближаясь и все же не смея переступить незримую, но указанную им черту, — и все ржали и выкрикивали свои оскорбления.

Вот эти гогочущие, глумливые, неподдельной злобой исковерканные лица — это он и есть, лик моего народа? Это за него — бороться нужно, внушать ему начатки правосознания, человечности? Это ради него жертвовали профессией, любимым делом Сергей Ковалев, Андрей Твердохлебов, Юрий Орлов, платили свободой, да вот и Александр Гинзбург в третий раз за решетку идет, за проволоку? Стоит ли? И нужна ли противникам нашим другая участь, они так довольны своею!

А ведь далеким предкам их свойственно было сострадание — даже к государственному преступнику, — как же отвердели, окаменели потомки! А что стало бы, если бы и впрямь кто-нибудь из них оказался «мягкотелым вырожденком»? Когда обращался к публике Сахаров с просьбой — если действительно зал переполнен, то, может быть, кто-нибудь выйдет, уступит свое место жене подсудимого, а публика смотрела на него из окон второго этажа — тупо, равнодушно, вовсе без всякого выражения, мертвецы, почему-то расположившиеся вертикально, — вдруг бы кто-нибудь ожил, вышел бы, уступил? Вдруг бы комендант суда, предупредительный и непреклонный, презрел свои функции и пропустил бы Арину в зал — хотя бы на время чтения приговора? Да хоть бы один из этих дружинников с выправкой строевых офицеров — нет, не провел бы под свою ответственность, а только вопрос бы задал: «Ну, может, все-таки пропустим, начальник?» Стряслось бы крушение всей системы, миропорядка? Сами бы эти люди — жестоко пострадали? Мы из литературы помним, что стало с купринским дьяконом, который не опустил свечу, но поднял ее высоко и вместо анафемы «болярину Льву Толстому» проревел ему «Долгая лета!» — он лишился службы и сорвал голос. Так, стало быть, анафемствовать — выгоднее, покойнее для души?..

Но вот с этими калужанами, из которых ни одного нет, у кого бы хоть один родственник, хоть самый дальний, не пострадал, не загинул на «сталинских курортах», — чего мы не поделили с ними, откуда такая ненависть?

Кончается эта улица, тенистая и короткая, и нам расходиться пора, а пленительное «а вдруг» так и не происходит. Однако ж, уходят они — совершенно спокойно, с другими уже заботами на лицах, даже как будто усталые, опустошенные. Сыграв свои роли, сбросивши маски, они уже не дают себе труда ни лишнего бранного слова произнести, ни взглянуть какими только что были.

А полчаса спустя на другой улице я сталкиваюсь с одним из них, мы узнаем друг друга, я спрашиваю насчет ближайшей бензоколонки, он мне охотно показывает, как проехать, и я вижу два глаза, глядящих на меня с живым любо-

Лик моего народа?

пытством. А в самом деле — натасканный, надрессированный, он ведь так и не получил ответа: что же нас гнало в его Калугу, где нас не поселяли ни в одной гостинице — и мы спали по чужим дворам по трое в одной машине или по семь, по восемь человек в комнатке у знакомых? Что нас заставляло целыми днями выстаивать в затоптанном скверике около суда, откуда заранее предусмотрительно убраны были скамейки, — без малой надежды хоть на минуту проникнуть в зал? И чем могли мы помочь судимому, который и видеть не мог ни нас самих, ни наших цветов?

Если хоть это ему интересно, то он уже — «выродок». И значит, не потерян для человечества.

13 июля 1978 г.

Поиски. 1978. № 3

ОТВЕТ РОЮ МЕДВЕДЕВУ на его «Открытое письмо Р.Б. Лерт»*

Многоуважаемый Рой Александрович!

На письма, в том числе открытые, обыкновенно отвечают те, кому они адресованы. Однако ж, во-первых, один из вариантов своего письма Вы зачем-то же мне привезли — верно, чтоб я на него как-то «отреагировал». А во-вторых, по странным сюжетным соображениям, адресуясь к редактору журнала «Поиски» с обидой на уязвившего Вас П. Егидеса**, Вы не только бросаете перчатку людям непричастным и неповинным, но, сказать не преувеличивая, всему нашему правозащитному, или демократическому движению.

На первый взгляд это не главное в Вашем письме, всего лишь брюзгливая преамбула или как бы увертюра к схватке — для устрашения противника видом напрягшихся бицепсов, замахом раззудевшегося плеча. Но где-то за серединой письма смутно ощущаешь вдруг, что вся соль его позади: придать Вашему спору с П. Егидесом интерес всеобщий, принципиальный — не удалось. (А может быть, и не ставилось целью?) Письмо увязает в частнос-

* Раиса Борисовна Лерт — член редколлегии журнала «Поиски».

** Петр Маркович Абовин-Егидес — главный редактор журнала.

тах, волнующих нас куда меньше, нежели сказанное мимоходом. Архитектоника головастика — с тоненьким хвостиком и объемным началом. Намеренно ли это, случайно ли — не имеет значения; второе даже предпочтительней: больше истины высказывает человек, когда проговаривается.

Словом, есть смысл говорить лишь о первых полутора страничках.

Вы познакомились — по материалам — с калужским процессом Александра Гинзбурга, возмутились жестокостью приговора, но мнения о самом подсудимом не изменили. Вы ему от себя еще добавили обвинений — в тщеславии, легкомыслии, неосторожном обращении с документами, *«странной склонности к составлению различного рода картотек, которые содержали тысячи адресов и фамилий»*. Вам тяжело думать, Вы «ужасаетесь», как много других людей могли пострадать от изъятия этих бумаг при обыске, — и тем же недобрым словом поминаете Юрия Орлова, Валентина Турчина, Анатолия Щаранского, Андрея Твердохлебова.

Правда, ни одного из многих — пострадавших или могших пострадать по вине Гинзбурга или Орлова — Вы не называете, хоть это и не прибавило бы им опасности, коль скоро они все равно под колпаком у наших славных компетентных органов. Но Ваши обвинения все же достаточно серьезны, чтоб в них разобраться — как со стороны моральной, так и теоретической.

Может быть, Вы сторонник того взгляда, что полемисту истины ради не следует считаться с положением оппонента — лежачим или сидячим. Но нет, применительно к себе Вы такой жесткий взгляд отвергаете: *«...сейчас, когда и я, и моя семья, и мои близкие стали предметом особенно изощренной травли, когда на самом высоком уровне обсуждается вопрос — как заставить замолчать Роя Медведева, я не могу рассматривать распространение открытых писем, подобных письму Егидеса, иначе, как поступок недостойный...»*

Достойнее ли в таком случае говорить о «легкомыслии» или «тщеславии» Гинзбурга, или Орлова, или

Щаранского, когда они прежде всего лишены того преимущества, каким Вы сейчас пользуетесь, обращаясь с открытым письмом к Р. Лерт: о Вас еще только рядят «на самом высоком уровне», а их речевой аппарат уже заткнут кляпом. Достойно ли попрекать Гинзбурга банкетом по случаю сорокалетия, когда Вам доподлинно известно, что многие предыдущие свои дни рождения и свадьбу он справлял в тюрьме, там же встретит свой сорок второй и сорок девятый годы. Достойно ли переписывать из протоколов суда, что Гинзбург *«много якшался с уголовниками и устраивал им обильные угощения»!* И опять же, не называя никого, а ведь начини называть, тут же и кончишь: из уголовников окажется один Градобоев, натасканный и выставленный против Гинзбурга; зачем же так доверчиво принимать сторону обвинения, когда Вы знаете — и пишете об этом: свидетелей защиты суд не пустил в зал. Впрочем, Вы подчас даже благосклонны к Гинзбургу, Вы ему не отказываете как распорядителю Русского общественного фонда в моральном праве использовать часть средств и на свои личные нужды, на дом в Тарусе или квартиру в Москве... Странное какое отпущение греха — оно хотя и расходится с мнением «Литгазеты» и суда, самую версию, что Гинзбург таки попользовался из Фонда, подтверждает и узаконивает. Не приходило ли Вам на ум, что найдутся свидетели, эту версию опровергающие, — и свидетели и документы? Право, уже столько помоев вылиты — и еще прольется — на этот злосчастный Фонд, что и не представить, как бы оправдался Гинзбург перед целым миром — без своей скрупулезной отчетности, без «странной склонности к составлению картотек» и прочей, как Вы говорите, бухгалтерии.

Ваши упреки, разумеется, увязаны с теорией, они — в русле конструктивной, дружественной критики этих наивных, беспечных организаторов *«революционных групп»*, которые, как Вы пишете, *«совершенно не учитывали всей сложности такого дела в нашей стране»*. Здесь ведь нужна не только личная смелость, но и большое искусство, умение, знание *«правил игры»* и многие другие качества.

К этому, собственно, и сводится главная Ваша мысль — прежде надо было научиться политической борьбе, затем уж в нее вступать. Оно-то, может, и справедливо, — хотя, гласит пословица, «работа учит», столярами делаются, взявши рубанок и испортив несколько досок, — да вся беда, что нет таких университетов, где б нам преподали *«всю сложность»*, и именно *«в нашей стране»*, учат другому — как можно более радостному приятию своего беспорядка. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно...» и так далее. И как-то не вдохновляют ни пример Сталина, бегавшего то ли пять, то ли шесть разов из туруханской ссылки, ни ловкость Ильича, съедавшего при входе надзирателя молочную чернильницу из хлебного мякиша, — как говорится, эпоха была не та и харч не тот. Однако ж, совсем без понятия не оставила нас великая русская литература, кое-что рассказала нам — и довольно безразлично — о шигалевских «пятерках», так глухо законспирированных, что каждой из них не только о смежных пятерках ничего не известно, но и что в России делается, в каком направлении двигаться всем. Вот эту безразличность в первый свой час впитало нынешнее демократическое движение, высказывая и декларативно, и всеми своими действиями полную открытость, небрежение какой бы то ни было конспиративной заговорщицкой «игрой».

И в этот же час, еще как будто ничего не добившись, оно уже победило нравственно. Отказавшись спуститься в подполье, оно это предоставило своим преследователям и притеснителям, и чудесная перемена произошла на наших глазах: ниже нижнего этажа работают те, кто так грозно стучал когда-то наганом по столу, кто так картинно над нами высился, обтянутый героической черной кожей. Я беру примеры из Вашего же письма, чем теперь промышляют наследники Железного Феликса, эти brave и находчивые штирлицы, бывшие завидные женихи, образцы — черт меня дери — мужской доблести: различные виды давления и шантажа, анонимные письма, анонимные звонки, появление в Москве и за границей фальшивок, подписанных Вашим именем, перлюстрация пи-

сем, прослушивание телефонных разговоров. Каждый из нас еще бы многое сюда добавил, да всех мерзопакостей не перечислишь, тут надобно целое отдельное исследование, и думаю, такая книга вскоре появится, — но главное впечатление уже есть, и оно неотразимо и однозначно: ни дать ни взять — шурует подпольная террористическая организация, с тем лишь отличием, что не гонима правительством, а стоит при власти. И самые эти судебные процессы, так тщательно ограждаемые от глаз и ушей мира, процессы, которых власти боятся больше, чем подсудимые, и после которых стали слабее, чем до, — мы в полном праве назвать подпольными. И, на мой взгляд, самую верную позицию в таком судилище избрал самый юный из подсудимых — Саша Подрабинек: все-то ихнее судоγοворение пропустил промежду ушей, промолчал весь процесс, давши понять самым непонятливым: нет у нас с ними никакого общего языка, вывели они себя из пределов человеческого общения.

Не странно ли, что это общение вызвался наладить Рой Медведев, автор самиздатских статей и книг, многоопытный и премного информированный обличитель? Помните, для чьих ушей это произносится: «революционные группы», «любые средства», «подполье», «тщательная конспирация», «продуманная система»? Слыша такие речи, работники наших славных компетентных органов уже, поди, дырки сверлят для орденских штифтов: сейчас эти мямли диссиденты перестроятся наконец наподобие масонских лож или упомянутых бесовских пятаков. Дух пронунциаменто, заговорицкий большевистский романтизм сквозит из Ваших строчек — и загодя оправдывает самые низкие, непотребные приемы слезки. Действительно, не зазорно весь Ваш стол перевероршить и мусорную корзину вывернуть — ведь нити заговора ищутся, оберегаются мир и покой наших дорогих сограждан. Не зазорно и к любовникам под простыню залезть с магнитофоном — ежели они между делом выстраивают планы политической диверсии (желательно — с человеческими жертвами!). А штаты и без того растут, а расходы и так не

ограничены, и самые новейшие дефицитные технические средства идут в службу. Вы попрекаете Гинзбурга — зачем он деньги считал, полагаясь на бумагу, а не на взаимное доверие, — и видно из Вашего письма, во что б ему обошлось такое доверие! — а ведомство Андропова считает ли их? На моих глазах за тем же Подрабинеком следовало неотступно, часами, восьмеро недурно одетых лоботрясов, которые очень бы сгодились при монтаже мостового крана, и с ними — две «Волги», набитые черт-те какой аппаратурой, — в шутку ли, всерьез, но Подрабинеком подсчитал, что слежка за ним в месяц стоила тысяч около 12; когда-нибудь с Комитета спросят ли всенародно финансовый отчет? Навряд ли, тут и дураку ясно, с продуманной системой боролись, со строжайшей конспирацией.

Не ловите меня на слове, будто я против конспирации вообще. Мы с Вами знаем, что рукопись или документ, куда не выплыли, не попали в надежные руки, испытывают некий «момент беспомощности», когда их необходимо уберечь от физической смерти, от изъятия при обыске. Но, упрятав надежно копию, почему не хранить на квартире другую? Потому, что упоминаются люди, помогавшие движению — деньгами, доставкой писем, их распространением? Прошу прощения, но эти люди знали, на что шли, — иначе б их имена не попали ни в один документ, иначе б свои жертвования делали анонимно. И те, кто пишет письма, и те, кто доставляет их не по почте, — тоже знают: за это не глядят. Все и всё наперед знают — и идут на это довольно-таки беспечно. Может быть, те, кто придет им на смену, предварительно хорошенько вы зубрив «правила игры», добьются большего и с меньшими потерями. Но смею думать, они будут хуже нынешних, так наивно открытых, легкомысленно неосторожных. И едва ли привлекут к себе столь сочувственное внимание мира.

Вы удивлены и обижены, почему Вам, Рой Александрович, и Вашему брату Жоресу пишут открытые письма, это уже превратилось, как Вы говорите, «в особый жанр литературы». Впервые пиша открытое письмо частному

Георгий Владимов. Бремя свободы

лицу, я тоже задумываюсь — почему? Действительно, странно видеть, как люди с Вашими способностями и, должно быть, благими намерениями служат объективно тому, что сгнило и должно отмереть, вместо того чтоб всеми силами поддерживать юное, чуть выбившееся из-под земли, рискующее в любой час быть растоптанным. Слегка перефразируя большого русского поэта, нашего с Вами современника,

Я сожалею и грущу, месье.

Ваш *Георгий Владимов.*

13 октября 1978 г.

Континент. 1979. № 19

К 60-ЛЕТИЮ А.Д. САХАРОВА

Сослав его в Горький без следствия и суда, без объявленного приговора и срока, применив меру из ряда вон выходящую, власть оказала ему честь, какой мог бы удостоиться разве лишь наследный принц или возможный президент. А ведь он едва ли претендовал обладать хоть какой-то материальной силой, ничем не руководил, не стоял во главе партии, ни организации, ни даже крохотного кружка единомышленников, а только был самым ярким выразителем той бестелесной мощи, которая называется «нравственное сопротивление». Много это или мало? Власть посчитала, что это, пожалуй, и есть второе правительство.

Время от времени они пишут или наговаривают на пленку свои косноязычные мемуары. Есть надежда когда-нибудь прочесть, на каком «уровне» было принято решение, какие выдвигались «про» и «контра» и кто отважился подписать. Думаю, им доставит больших трудов сформулировать, выиграли они или проиграли, попытавшись отъединить Андрея Дмитриевича Сахарова от Демократического движения в России. Едва ли они дойдут до мысли, что сие от них вообще не зависело.

Сегодня, когда ему исполняется 60, уже можно сказать определенно, что Андрей Сахаров — несомненная и наибольшая удача Демократического движения, воплощение

его совести, оправдание всех его ошибок и поражений. В своей прекрасной зрелости он — звезда первой величины на небосклоне нашей общественной жизни, и это сознают и друзья его, и противники, и кто по недостатку решимости не относит себя ни к первым, ни ко вторым.

Мне посчастливилось знать его почти уже десять лет — крупнее и человечнее я не встретил, а может статься, не увижу больше и его самого, разве что неожиданная случайность поможет свидеться. Но я пожелал бы ему — помимо тех благ, каких мы обычно желаем юбиляру, — я б пожелал, чтоб та свобода, которой мы все достойны от рождения, а он достоин больше, чем кто бы то ни было, чтоб она явилась к нему не по случайной милости притеснителей, но неожиданным мощным поворотом истории, перед которым они окажутся не властны.

21 мая 1981 г.

Сахаровский сборник. Нью-Йорк: Хроника, 1981.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ
СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
Ю.В. АНДРОПОВУ

Уважаемый Юрий Владимирович,

я не могу пожаловаться на то, как были восприняты мои первые шаги в литературе, — вначале как критика, а позже и прозаика, автора «Большой руды», отмеченной более чем 120 статьями и рецензиями, поставленной в театре и кино, на радио и телевидении и за которую меня пригласили в Союз писателей.

Однако с года 1969-го, когда я имел несчастную глупость выступить в «Новом мире» с другой крупной вещью, «Тремя минутами молчания», мои отношения с советской литературой переменились кардинально и непостижимо для меня. Думаю, и самым рьяным гонителям теперь не сформулировать своих претензий к этому роману, не объяснить, какая была необходимость — уже и после разгрома журнала, после ухода и смерти Твардовского — продолжать кошачий концерт в центральной и местной печати и подвергать автора критической экзекуции, семь лет не издавать книгу и давить на него материально, не платя причитающегося по договору, вытребывая назад авансы, а поскольку автору это было непосильно, то присылать судебных исполнителей описывать у него мебель. Одновременно другие, услужливые, руки подсовывали ему «социальные

заказы» на побочные, хорошо оплачиваемые ремесла, как-то: переводы казахских и иных национальных авторов — соблазн, сгубивший такого прекрасного писателя, как Юрий Казаков. Вот еще одна трагическая судьба, ожидающая своего исследователя.

Ни помощи, ни защиты от травли я не находил ни в одной инстанции, а меньше всего — в отделе культуры ЦК, где некий Альберт Беляев, графоман, поставленный «управлять» литературой, оказался, к моему злополучию, еще и соперником мне по части маринистики.

Есть много способов вытолкать неудобного из советской литературы, вынудить его издаваться за рубежом, гораздо меньше — привлечь его вернуться. В моем случае — секретари Союза писателей такого способа не нашли. И да послужит этот случай уроком, что не любая душа в силах простить совершенные над нею надругательства, хотя бы они и были признаны ошибкой. К тому же и после такого признания я все оставался неудобным — это выяснилось быстро, когда от меня скрыли приглашение во Франкфурт сроком на шесть дней. Ведь у нас поездки на Запад, совершенно необходимые писателю, даром не даются, они суть высшего рода награды за примерное поведение. Не заслужив такой награды за 16 лет моего пребывания в Союзе писателей и не надеясь когда-нибудь заслужить, я эту организацию покинул и возвратил свой билет.

С этого дня — и в особенности после избрания меня председателем Московской группы «Международной Амнистии» — не оставляет меня своим вниманием возглавлявшийся Вами КГБ. Рассказать ли здесь или Вам это известно по докладам? — о непрерывной слежке и пресекаемой переписке, о приходах милиции — с расспросами, на какие деньги я живу, об угрозах моей жизни — письменных и телефонных, да, наконец, и об отключении телефона — *пожизненно*, с передачей номера 144—47—21 какому-то юмористу, отвечающему на звонки, что прежний абонент то ли эмигрировал, то ли умер. Не думается ли Вам, что и это все признают когда-нибудь ошибкой, нуждающейся в прощении?

Венцом творческих усилий Вашего ведомства явился обыск у меня 5 февраля минувшего года — на том основании, что литератор Козловский принес мне прочесть свою повесть «Красная площадь». Согласно молве, Вы владеете несколькими языками и даже читаете в подлиннике Монтеня; едва ли Вы не знаете, что со времен Софокла и Еврипида у молодых литераторов существует обыкновение приносить свои творения на суд более опытным коллегам, и никто никогда ни в какой просвещенной стране не устраивал по сему поводу обысков. У меня — перерыли две квартиры, мою и 73-летней тещи, изъяли записные книжки и материалы к новой книге, личную и деловую переписку с издателями и адвокатом, экземпляры моих изданных на Западе произведений. Если не взяли самих рукописей, это не милость захватчиков, а моя многолетняя предосторожность — не держать рукописей дома, а только последние 5—6 страниц. При втором обыске, 28 декабря, забрали и пишущие машинки — с русским и латинским шрифтами. Русская — мне прослужила 34 года; в свое время, чтобы ее купить, я продал единственный свой костюм; на ней отстуканы все мои произведения. Вернут ли ее — не знаю, до сих пор, невзирая на все обещания, мне не отдали ничего.

4 января при допросе по делу арестованного писателя Леонида Бородина следователь Губинский потребовал от меня письма в КГБ, где бы я:

1. Признал бы свою деятельность антисоветской и публично в ней раскаялся.

2. Указал бы все свои контакты (которые, по-видимому, неизвестны Губинскому из агентурных сведений и захваченной переписки).

3. Касательно литературы — дал бы обещание впредь издаваться на Западе только официально, через ВААП, а гонорары, полученные «незаконными путями», перевел в доход государства.

Если такого покаянного письма не последует от меня до 20-го числа, значит, «мы друг друга не поняли», т. е. он, Гу-

бинский, возбудит против меня уголовное дело, для которого материалов у него «более чем достаточно».

Я уже ответил Губинскому, что друг друга мы не поймем никогда, и ждать ему до 20-го нет смысла, я такого письма не напишу. Я готов приять ставшие уже привычными тернии русского писателя, и как прежде недрогнувшей ногою ступил на палубу рыболовного траулера, так же ступлю и под своды Лефортовской тюрьмы. Уверяю Вас, ни следствие, ни суд, ни уготованные мне лагерь или ссылка не переменят моих убеждений и не покажутся тяжелее того бесчестья, какое бы я себе нанес требуемым покаянием.

Однако ж вместе со мною, а может быть — вместо меня грозятся арестовать мою жену, Наталию Кузнецову. Оказывается, и на нее «материала достаточно», а главная ее вина — что она не прилагает усилий добиться от меня вышеуказанного письма, да еще и мешает общению со мною людей, которые могли бы на меня повлиять «в лучшую сторону». Это, в общем, неплохо придумано, хотя и не ново. Быть храбрым за чужой счет — невелика честь, и я не могу допустить, чтоб по моей вине, действительной или воображаемой, пострадал бы другой, будь то жена или вовсе посторонний. Как видите, славным чекистам не стоило нравственных мучений унизиться до презираемой во всем мире, но и действенной тактики заложничества.

Я предлагаю иной выход, менее ущербный для нашего государственного престижа. Я готов покинуть Россию. Быть вынужденным к этому — больно и обидно для нас, свою любовь к ней мы доказали уже тем, с каким терпением сносили гонения, преследования, унижения нас самих и нашего жилища. Я не покинул свою страну добровольно в трудные для нее годы и надеюсь в меру своих сил и способностей еще послужить ей, живя за рубежом, — до поры, когда мы сможем вернуться. Если нужны формальные обоснования нашего отъезда, то вот они. Я имею приглашения от ПЕН-клуба Франции и французского же издательства «Галлимар» приехать для лечения сердца. Кроме того, академии Бонна и Кельна, ФРГ, выразили желание, чтобы я прочитал курс лекций о современной русской прозе. Я про-

Письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Ю.В. Андропову

шу Вашего содействия моему выезду из СССР с женой сроком на год. Мы хотели бы выехать летом — сейчас, зимою, врачи не рекомендуют мне столь резкой перемены обстановки.

Впредь, до указанного времени, еще просьба — чтоб нас оставили в покое.

С должным уважением

*Георгий Владимов.
12 января 1983 г.*

Континент. 1983. № 35

О ЛИШЕНИИ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА

25 августа 1983 года советские средства информации сообщили о лишении гражданства Г.Н. Владимирова, находящегося в Западной Германии. Указ Верховного Совета СССР, подписанный Андроповым, датирован 1 июля. В Указе говорится, что Владимир «систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР».

Как я уже заявлял в нескольких интервью западной прессе и радио, главный смысл всех изменений, произошедших в Советском Союзе после смерти Брежнева и с приходом к власти Андропова, состоит в том, что, по существу, ничего не изменилось.

Уже было ясно, что новый глава государства не в силах проявить оригинальность мысли ни в одном политическом вопросе — ни в решении Продовольственной программы, ни в том, чтобы вывести войска из Афганистана и прекратить непопулярную войну, ни даже в том, чтобы решить по-человечески хотя бы одну судьбу — бессрочного узника Андрея Сахарова. Теперь выяснилось, что и по части лишения гражданства выехавших на Запад деятелей культуры и правозащитников Андропов остается таким же ординарным чиновником, лишенным государственной мудрости.

О лишении советского гражданства

Могу ответить на этот Указ словами моего персонажа из рассказа «Не обращайтесь вниманья, маэстро»: «Надо их самих лишить навсегда — национальности!»

Я продолжаю верить, надеяться — настанет час, когда всем нам, лишенным гражданства, вернет его с почетом новая, свободная Россия. Мы приложим все силы, чтоб это произошло скорее.

Георгий Владимов
Эшборн, ФРГ
25 августа 1983 г.

Радио «Свобода»

БРЕМЯ СВОБОДЫ

Выступления на 35-й Посевской конференции

Самое интересное и приятное в «железном занавесе» — то, что в нем есть прорехи. И сквозь эти прорехи можно смотреть. Можно смотреть с этой стороны, можно с той. Я не так долго живу в эмиграции и не так еще остыл от своих московских обид, чтобы уже почувствовать себя эмигрантом, и я еще ловлю себя на том, что смотрю с той стороны. И вот вопрос, который мучил первую эмиграцию, — зачем нужны наши книги, кому они нужны в России? — вот этот вопрос я предлагаю снять с повестки дня и считать, что книги эти нужны и эмиграция нужна России. Живя в Москве, я и мои друзья, мы как бы возлагали обязанности на эмиграцию. Вот вы выехали, вы ногою ступили на другой берег, берег свободы, и вы сразу же понесли какие-то обязанности перед нами, оставшимися. Так мы чувствовали это. Раз вы эти обязанности приняли и понесли, стало быть, вы нужны.

Чего же мы хотели бы от эмиграции? Ну прежде всего, чтоб она рассказала о нас Западу, рассказала о том, что здесь — в России, в Москве — происходит, разъяснила бы непонимающим, что их ожидает в будущем. С другой стороны, чтобы эмиграция поведала нам о Западе, рассказала бы о каких-то течениях, о каких-то философских и полити-

ческих проблемах более глубоко, чем это делает, скажем, западная пропаганда с помощью радио. В общем, была бы каким-то мостом между нами и Западом. С третьей стороны, она должна была бы для тех писателей, которые уже не в состоянии оставаться писателями в России, подготовить какие-то посадочные площадки в виде, скажем, журналов, газет. Есть какие-то практические вещи, которые эмиграция должна была принять на свои плечи и сделать.

Но самое главное, мне кажется, даже не в этих практических вещах, а в том, чтобы осуществить идеалы свободы, то есть жить так, как может жить свободнорожденный человек, достичь этой способности ощущать себя не рабом, сорвавшим с себя цепи, а изначально свободным человеком. Пока что, как я мог оттуда видеть, достигнута в полной мере только свобода путешествий. Да, действительно, мы с завистью, но и с некоторой долей радости смотрели на то, как выехавшие наши друзья передвигаются. Много, интенсивно, по всем странам и континентам. К сожалению, в других аспектах они остаются людьми советскими, и это проявляется прежде всего в нетерпимости — первейшая, главная черта советского человека. Это вообще как душевная болезнь, по-моему, — так называемый «советский характер», и если мы не можем лечить ее, то необходимо хотя бы поставить диагноз — это уже на треть вылечить.

Эта самая нетерпимость, которая выражается в грызне, в распрях, она страшно огорчает людей в России. Так, получаем мы какие-то письма из-за рубежа, и первый вопрос: что там происходит? Первый ответ: «Грызутся. Все между собою перегрызлись». Такое осуществление свободы наблюдать тягостно, и поэтому многие люди в России видят в эмиграции какую-то пропасть. Они страшатся эмиграции, им кажется, что никаких духовных ценностей они там не приобретут, только растеряют, что будут там несчастны, — и это заставляет их, некоторых из них по крайней мере, идти на компромиссы, на которые они бы в других условиях не пошли. Я думаю, есть смысл расширить тему нашей дискуссии, включить в нее вот этот вопрос — об осуществ-

лении идеалов свободы. Как каждый из нас, сидящих за этим столом, ее понимает.

Владимир Емельянович* имеет большой опыт попыток объединения людей, и коли он говорит, что политическое объединение эмиграции невозможно, то я ему, пожалуй, поверю. Но все же возможно объединение нравственное, объединение людей, которые преодолеют самое тяжкое бремя эмиграции, бремя свободы. Я здесь, видимо, был неправильно понят или неточно выразился, но, когда я говорил о том, что сквозь дыры и прорехи «железного занавеса» слышно, как русские между собой грызутся, я имел в виду, конечно, тот распад человеческих отношений, которые ведь существовали в России. Люди выезжают и начинают ссориться между собой, они распадаются на различные группировки, «мафии», они друг с другом, оказывается, годами не разговаривают или соотносят оппонента по материнской линии, всячески низводят полемику до уровня советской коммунальной кухни. Вот о чем я говорил и что я имел в виду, когда сказал, что все это производит тягостное впечатление на оставшихся по ту сторону занавеса.

Ну, а мне, в качестве аргумента, приводят пример обыкновенной, нормальной полемики по поводу книжки Синявского — и спрашивают меня: «Так вы что, против полемики?» — Да нет, не против, конечно. Но я думаю, что интеллигенция эмиграции, которая все-таки не забывает о России, должна ощущать себя стоящей на уровне огромной задачи. Ну, хотя бы так, как это было с поручиком Голицыным и корнетом Оболенским.

Кстати, по поводу поручика Голицына и корнета Оболенского. Действительно, происходит некий пересмотр отношения к Белому движению. Действительно, и песни сочиняются, и в кино приглашаются весьма обаятельные ак-

* Максимов.

теры на роли белогвардейских офицеров. Однако нельзя все-таки забывать, что Белая армия проиграла, и значит, она виновата.

Почему проигрывает армия? На это существует много причин, но Толстой нам рассказал и объяснил, почему армия выигрывает. Она выигрывает тогда, когда в ней самой рождается некая нематериальная субстанция, которую он называет «духом армии». Эта субстанция подчас делает среднего полководца гениальным, а последнего труса — храбрцом и героем. По-видимому, присутствие или отсутствие такого духа определяет победу или поражение. По-видимому, Белое движение не имело этого духа в достаточном количестве, и, следовательно, корнет Оболенский и поручик Голицын были несколько другими, чем это изображается в песне. Необходимо это исследовать, говорить не только другую сторону правды, противоположную советской правде, но говорить *всю* правду.

Точно так же сейчас пересматривается отношение к власовскому движению, и не столько к самим власовцам, сколько к личности генерала Андрея Власова. Я много занимался этой темой и личностью генерала Власова, и мы вынуждены будем признать, что и он виноват, хотя бы в том, что взвалил на себя заведомо непосильное бремя. Вообще, по поводу той или иной идеализации нужно быть очень осторожным. Ведь идеализируется и блатной мир в песнях, а мы знаем, что такое блатные, хотя бы из «Архипелага ГУЛАГа». Идеализация происходит оттого, что советская пропаганда навязла уже в зубах, она осточертела уже, набила оскомину, и рождается естественная реакция. Причем иногда у молодежи доходит до того, что вот 20 апреля 1981 года, в день рождения фюрера, собирается демонстрация на Пушкинской площади. Поскольку эмиграция имеет доступ к архивам, она может исследовать любую тему, вот хотя бы власовского движения. А ведь даже вопросов нельзя в Советском Союзе таких поставить: почему оно проиграло? были его цели достижимы или недостижимы? — даже задаться такими вопросами советский писатель не может. Он должен говорить только ту сторону правды.

Мы имеем возможность сказать обе стороны и, значит, *всю правду*, поскольку и архивы в нашем распоряжении, и люди еще доступны — из первой эмиграции, из Белого движения, из власовского движения.

Владимир Емельянович несколько пессимистически смотрит на положение писателя за рубежом, считает, что писать можно только на родной почве. Я тут с ним не могу согласиться, я думаю, что писатель должен *состояться* на родной почве, и вот если он уже состоялся, тогда он может работать и в Малеевке под Москвой, и где-нибудь на юге Франции. Все-таки мы выехали уже в весьма почтенном возрасте, нам есть что сказать и о чем написать. Точно так же мне хочется возразить ему и по поводу языка. Дело в том, что язык подвергается вивисекции, изничтожению не только здесь, он подвергается этому и на родине, — со стороны советского бюрократического воляпюка. Если мы равнодушны к таким советским оборотам, как, например, «по линии рождаемости» или «в плане крысонепроницаемости», то я вижу в этом не меньшую опасность для языка, чем как у Маяковского в «Русских американцах»: «тудою пройдете четыре блока и там на корнере возьмете трен». Объединение всех трех эмиграций — как трех хранилищ истинного русского языка, наверное, назревшая необходимость.

1—2 октября 1983 г.

Посев. 1983. № 11

НИКАКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ НЕ БУДЕТ

Мне было бы лестно считать Горбачева молодым, будучи на 11 дней его старше. Вспомним, однако, что Ленин еще до своих 54 подвергся бальзамированию, а политическую деятельность закончил двумя годами раньше. Не хочу этим противопоставить новоявленного генсека Ильичу № 1, но лишь подчеркну: его политическая биография не начинается, а продолжается (не исключено, что и завершается), перед нами — сложившийся характер, жесткая система, от которой можно ждать не больше того, что она уже реализовала в речах и поступках.

Утверждают, что его продвижению поспособствовали Сулов и Андропов, — в таком случае силы, его подпирющие, обозначить легко: это партия и КГБ. Третья сила — армия — на похоронах Черненко не была представлена ни одним чином, исключая тех декоративных полковников, чья воинская доля — нести подушечки с наградами усопшего. Все же я склонен думать, что своим выдвижением наш генсек обязан лишь одному человеку — именно Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он закончил юридический факультет — надо полагать, не затем, чтобы постичь мудрость правоведения (в Англии наш юрист разговаривать о «так называемой проблеме прав человека в СССР» напрочь отказался), а чтобы набраться «государственного мышления», заодно

и тонкостей крючкотворства — это юрфак вполне обеспечивает, я его сам закончил. Он никакой работы не знал, кроме партийной, — это протоколы, заседания, подсчеты и перетягивание голосов, проведение спущенных директив, это «есть мнение, товарищи», «поступило предложение кто за» (без запятой и без вопросительной интонации), «предлагаю избрать почетный президиум в составе...». Для кого — мертвая пустыня, а для иного, как нам поведал в своей книге «Номенклатура» М. Восленский, так очень рельефный пейзаж, с живописными долинами, холмами и рытвинами, которые далеко не всякому перейти. Он — перешел. И можно себе представить, каким нужно быть, чтоб суметь понравиться товарищам Суслову и Андропову... «Бойтесь первого движения души, — поучал Талейран молодых дипломатов, — ибо оно, как правило, самое благородное». Супротив этого движения слабоват иной раз оказывался Хрущев, есть тому многие подтверждения. Должно быть, Михаил Сергеевич его урок усвоил «на отлично»: за всю свою карьеру он не сделал ни одной ошибки.

Никаких неожиданностей не обещает его лицо — сытого, пожившего, все познавшего патриция времен 12 цезарей.

Некоторой новинкой для Запада — по крайней мере, для англичан, не берусь предсказать, как это пройдет во Франции, — было явление госпожи Горбачевой. Английская пресса даже отдала ей предпочтение перед г-жой Тэтчер: писали, что на домашнем приеме у премьер-министра советская «леди Шик» задвинула хозяйку «в глубину сцены». Репортеров, не учитывающих разницу в возрасте, мне трудно назвать джентльменами; к тому же и в этикете они смыслят не много: г-жа Тэтчер — весьма яркая женщина, но, очевидно, хозяйка так и должна была себя вести, чтобы на авансцене оказалась гостья. Чем же, однако, так пленила Раиса Максимовна суровых британцев? Она занимается философией? Ну какая же у нас в СССР философия — один марксизм-ленинизм, у всех иных философов взгляды исключительно «реакционные». Она уделяла много внимания

библиотеке? Правильно, другая тетеря попросила бы платяной шкаф открыть или прилипла бы к столовому хрусталу. Она особо интересовалась Шекспиром? Что же, она его дома не читала? Или произведения этого автора на его языке — такая редкость в России? Выехавшему за рубеж естественно к Набокову кинуться или к Оруэллу, которых в развитом социализме раздобыть трудненько, Шекспира же мы и в школе «проходим». Она, наконец, доказала, что и ей «вечно женственное» не чуждо — меняла наряды, шеголяла короткой прической, в магазине подолгу выбирала серьги? Тут есть от чего обмереть, но для живущего в России она — заурядная номенклатурная дама, каких много сейчас у дипломатов, гэбистов, деятелей ТАССа и АПН, даже у партсекретарей — разве что не ранга генсека. Мадам Громыко, пересчитывающая после обеда серебро — не украла ли горничная, — это позавчерашний день, новая формация знает толк в «хороших манерах», имеет в штате и массажисток, и косметичек, и лучших преподавателей английского, и, разумеется, проходит перед заграницей хорошо разработанный тренаж. Словом, «хозяйка земли советской» свою программу выполнила не хуже супруга, произносившего речи, всем на удивление, без бумажки (кстати, какие такие особенные речи? Тосты и приветствия? На траурном митинге бумажка ему понадобилась — трудненько, поди, на память перечислить заслуги Черненко перед человечеством), и значит, Раиса Максимовна вполне под стать Михаилу Сергеевичу. Тоже ошибок не делает.

И все же — почему самому молодому так единодушно отдали голоса наши «геронты»? Я думаю, причина проста — своим до смертного часа не угасающим, никогда не обманывающим инстинктом они в нем почувствовали — своего. Они в нем увидели редкое сочетание — совершенного подобия и, одновременно, воплощенного здоровья, самих себя лет на двадцать моложе. Что же, им самим не надоело — каждый год хоронить очередного Генерального и переживать встряску новых выборов? Не надоело демонстрировать свою немощь, бессвязность речи, объяснять настырным за-

падным корреспондентам свое пребывание в реанимационной палате чрезвычайной занятостью или простудой? Они не уступили ему свою власть, они только передали ее на хранение в более надежные руки — авось не уронит. И поэтому он — вовсе не ставленник своего поколения, он ставленник — стариков.

Однако ж, не питая иллюзий насчет самого Горбачева, я все же вижу нечто отрадное в его выдвижении. Сила жизни мудрее мудрости стариков и даже их нечеловечески гениального инстинкта. Неизбежно, по советскому закону подражания низов верхам, в промежуточном, в поддерживающем слое тоже начнется омоложение. Прорвутся 50-летние, которые, возможно, съедят Горбачева — и тем скорее, чем больше он будет в них нуждаться и выдвигать их. 70-летние — они надежнее, им свойственны инерция покоя и неохота к переменам, но 50-летних еще не оставило вожделе-ние власти. Возможно, из них выдвинутся и настоящие личности — даже такие, что не боятся ошибок и первого движения души. Дай-то Бог.

«Новым Сталиным» Горбачев стать не сможет, да это и не нужно ему, сталинского устрашения хватит нашему народу с избытком до конца века, да, кстати, и сам Иосиф Виссарионович, как бы он там ни своевольничал, а проводил линию и осуществлял волю тех, кого Милован Джилас назвал «новым классом». Этот класс уже настолько образовался и окреп, что без его волеизъявления генсек не ступит и шагу. Почему он не станет «новым Хрущевым», — наверное, ясно и так, не такого выбирали, чтоб еще натерпеться страху от «разгула демократии». Но он не будет и «новым Брежневым», с его умственной ленью, грузом самонаград и величавым попустительством коррупции, — это уже не только смешно, но и смертью пахнет для того же класса. Все-таки надобно что-то делать, братцы! Сегодняшние советские газеты пестрят призывами укреплять дисциплину — это значит, что новый лидер, как и Андропов, не видит стимула, который бы сделал ненужным укрепление дисциплины, от которого и дисциплина, и честность, и береж-

ливость, и энергия, и энтузиазм наладились бы сами собой. Пока что новый генсек ступает в след Андропова, прерванный его смертью, — истинно, можно пожалеть, что тот до самого конца так и не убедился в бесполезности своих «силовых приемов».

Но наш юрист ведь еще и агроном по образованию, он курировал сельское хозяйство и, как утверждают, вместе с Андроповым что-то такое проводил или пытался провести насчет расширения приусадебных участков. Теперь, имея некоторую власть, он их, возможно, и расширит малость — сотки на две, на три. Возможно, на одну дырку смогут наши соотечественники подраспустить пояс. Но дело-то не в количестве земли, дело в качестве владения ею. На главное, кардинальное, все узлы разрубающее — никогда Горбачев не пойдет, и класс ни за что не допустит, чтоб земля получила наконец — хозяина. Будет нечто вынужденное, и значит — половинчатое, что-нибудь вроде бригадного метода, который отойдет в забвение, как отошли торфоперегонные горшочки, хрущевская кукуруза, косыгинская «реформа».

Вся беда наша, что мы уже и не ждем от наших лидеров изначальной человечности, чтоб они горели желанием сделать своих подданных сытыми, свободными, счастливыми, мы спорим лишь о том, насколько такой-то будет вынужден пойти на то-то и станет ли он этой вынужденности уступать или противиться. Если бы Петр Великий был только вынужден «пробить окно в Европу» и выстроить город у устья Невы, но не хотел бы этого яростно, во весь размах своего темперамента, мы бы не имели нашей Северной Пальмиры, мы бы имели что-нибудь вроде Мурманска. Равно и Джефферсон — разве же только вынужден был написать Декларацию независимости, а не хотел этого всей душой? И не хотел ли великих преобразований Александр Второй, подбирая себе в помощь лучшие умы? Вынужденно — он бы и сам чего-нибудь сообразил.

Будем, однако, унылыми реалистами и хоть то признаем, что для свободного мира (а я к нему причисляю и тех в тоталитарном лагере, кто сам себя посчитал свободным)

настало время не возлагать надежд на того или иного генсека Политбюро, но полагаться на ту силу, которой он сам обладает. Сейчас вот на первый план выдвигается защитная космическая программа, объявленная Рейганом, — очень сильный ход, едва ли не самое большое потрясение для Советов со времени испытания атомной бомбы в Аламогордо. К сожалению, эта программа явно скомпрометирована своим названием — «Звездные войны», не только безвкусным, но скрывающим главное в ней — ее оборонительную суть, чем советская пропаганда воспользовалась как только могла. Что она это умеет, мы наблюдали на днях: естественно было американской делегации в Женеве предложить советской повременить с переговорами, покуда прах Черненко не засыпан землей, — предложение человеческое, да и по протоколу, наверное, требуется, к чему здесь было придраться? Ан положили советской прессе палец в рот, и тут же она его укусила — американцы хотели оттяжки мирных переговоров! Назовите рейгановскую программу хотя бы — «Космический щит» (я беру первый пришедший в голову вариант, кто-то найдет и получше), и сражаться придется уже с самой сутью. Суть же ее — гениальна во многих отношениях, даже в том, что открытия и достижения в этой области не обязательно покрывать мраком тайны, можно ими делиться с противником, со всеми соседями по планете, можно даже совместно разрабатывать: «Вот какой забор я себе отстроил. Хочешь — и тебе помогу».

Мы лишь смутно догадываемся, к каким грандиозным переменам может эта программа привести внутри СССР, но уже воочию наблюдаем все страхи перед нею «нового класса». С удивлением мы узнаем, что Советы и сами разрабатывают космическую оборону несколько лет, но — поразительно! — забрасывая Запад новыми и новыми «мирными инициативами», предлагая то сокращение, то замораживание, то безъядерные зоны, то еще какой пропагандный кунштюк, ни разу не предложили эту программу — самую надежную и мирную. Больше того, скрывали старательнее, чем самые смертоносные ракеты, — не дай бог, кому-то еще

Никаких неожиданностей не будет

придет в голову. Но вот — пришло. И можно представить себе всю растерянность нашей военно-промышленной олигархии, когда эта программа станет осуществляться — и все накопленные заряды сгодятся лишь на сожжение в реакторах электростанций. Когда придется же дать отчет — не народу, но хоть себе самим, — на что истрачено было национальное достояние, в какой песок ушли труды и жертвы соотечественников.

Представим себе и то тяжелейшее испытание, какое выпало новому лидеру — влететь между «Космическим щитом» и щетиной нацеленных боеголовок. Как вывернется Горбачев, как поведет себя? Перед чем отступит? Чему воспротивится? Не знаю. И не хотел бы быть на его месте.

Посев. 1985. № 4

ТАМИЗДАТ и его влияние на процессы в России

Я не стану пересказывать вам всю историю Тамиздата, которая началась задолго до моего рождения. Это было бы слишком громоздко для нашего короткого совещания. Но некоторые эпизоды, некоторые этапы Тамиздата, которым я был свидетель, — впоследствии и участник, — я постараюсь до вас донести.

Тамиздат вошел в мою жизнь в 1956 году, когда я — в прекрасном и, увы, невозвратимом возрасте, 25 лет, — был приглашен в журнал «Новый мир» редактором отдела прозы. Мне было сказано, что в правой тумбе моего стола находится роман, который нужно очень быстро прочесть, потому что он перспективный и выведет нас, то есть «Новый мир», далеко вперед, на «генеральную линию». А в левой тумбе стола находится другой роман, который, по-видимому, придется возвращать автору с отрицательной рецензией, потому что он, к сожалению, перспектив не имеет. Тот, который перспективный, был роман Дудинцева «Не хлебом единым», всем вам хорошо известный, и он не только не вывел нас, то есть «Новый мир», на «генеральную линию», но из-за него в конце концов редактору Константину Симонову пришлось уйти из журнала. Ну, впрочем, может быть, и к лучшему, потому что на его место пришел Александр Трифонович Твардовский.

Роман бесперспективный был вскоре, через год, передан на Запад, там опубликован и выдвинут на соискание Нобелевской премии, которую и получил. Это был «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Я вспоминаю о том, как мне это было впервые рассказано. Пришел, помнится, в редакцию Борис Лавренев, член нашей редколлегии, — ну, как в народе говорят, «мужик не вредный», — все понимающий, автор к тому же великолепного рассказа «Сорок первый», это очень заметная веха в советской литературе. И вот почему-то с непонятными для нас раздражением и насмешливостью он стал рассказывать, как группа писателей во главе с Фединым и Сурковым поехала на дачу к Пастернаку уговаривать его забрать свою рукопись у издателя Фельтринелли, как их встретила «не то жена, не то сожительница», ничего определенного не сказала, и в конце концов Лавренев разразился такой сентенцией: «Как он не понимает, Пастернак, что если он будет откалывать такие трюки, то не будет больше Пастернака, его уничтожат!»

Вскоре его действительно уничтожили. Состоялось то позорное судилище, которое закончилось исключением Пастернака из Союза писателей. И самое странное, что в этом судилище участвовали люди в общем приличные и порядочные, ну, такие, как Борис Слуцкий, как Владимир Солоухин, впоследствии сам автор Тамиздата, как Вера Панова, как председательствовавший на этом судилище Сергей Сергеевич Смирнов, автор книги о Брестской крепости, который многим из своих героев помог, выгасил их из лагерей и ссылок. Не удержусь процитировать, что говорилось на том судилище:

«Пастернак чужд советскому народу... Написал эту дурно пахнущую мерзость, этот поганый роман, где оплевано все святое для нас... Пастернак ненавидит народ, считает его быдлом... Враг народа... Вся его поэзия — это 80 тысяч верст вокруг собственного пупа... Нож за пазухой, нож против народа... Поставил большую пушку — обстреливать из этой пушки народ... «Доктор Живаго» — предательский акт, проповедь предательства и апология предательства... Литературный Власов, соучастник преступления против мира и покоя на планете...»

И наконец апофеоз:

«Пастернак — это война!»

Любопытно, что все это говорилось, как мне сдается, не читая самой книги. Мало того, это было возведено в некий горделивый принцип. Если помните, пресса той страшной недели пестрела такими заявлениями: «Пастернака не читал и читать не собираюсь», «Случайно услышал, что есть такой Пастернак...»

Хочу еще прочесть вам один небольшой перл, — я думаю, что это, пожалуй, самое прекрасное, что когда-либо выходило из-под пера советского человека:

«Только один наш колхоз продал государству в этом году 250 тысяч пудов хлеба и 200 тысяч пудов маслосемян. Лишь за 9 месяцев от каждой коровы мы надоили по 2070 литров молока. И поэтому мы с радостью встретили сообщение о том, что Пастернак лишен высокого звания советского литератора».

Я думаю, что на памятнике коммунизму, а коммунизму тоже будет полагаться свой памятник, эти слова следовало бы выбить на цоколе.

Но откуда же взялся вот этот запал? Откуда такой темперамент? Откуда такая вражда к человеку, который отважился спасти свой роман от забвения и напечатать его за рубежом? Было ли это только проявлением писательской зависти к успеху, к премий? Наверно, и это присутствовало здесь, и я вообще в писательской зависти ничего плохого не нахожу, но хочу напомнить, что в 1967 году никакая зависть не мешала тем же писателям, в количестве ста человек, вступить за Солженицына, для многих очевидного лидера советской литературы.

Несколько лет спустя после того судилища Вера Федоровна Панова, будучи уже при смерти, приблизительно так объяснила свое тогдашнее в нем участие: нам казалось, что Борис Пастернак своим поступком нарушил негласный договор между правительством и интеллигенцией, он испортил

начавшийся диалог между властью и писателями, он сильно помешал Никите Сергеевичу в его борьбе с «ястребами» в Политбюро.

Я думаю, что участие в том судилище — по крайней мере, вот этих порядочных людей, которых я перечислил, — было тогда искренним, и мы его можем простить сейчас, по прошествии многих лет, хотя бы тем людям, которые сами себе этого простить не смогли.

Прошло еще восемь лет — и прогремел знаменитый процесс Синявского и Даниэля. С моей точки зрения, это был второй этап Тамиздата. И вот как он был воспринят писателями и властью. Власть по-прежнему, по инерции, считала, что к этим двум «отщепенцам», этим «перевертышам», которые к тому же выступали под псевдонимами, общественность, в основном писательская общественность, отнесется с таким же темпераментом, с таким же запалом, как она судила Пастернака. Ничего подобного не произошло. Что-то сильно сдвинулось в сознании большинства писателей, и это сказалось уже в том, что не нашлось ни одного порядочного имени — поставить его под постановлением правления, которое клеймило этих самых «отщепенцев» — Синявского и Даниэля.

Ну, мы, молодые, тоже немножко повзрослели и уже должны были как-то высказать свое слово, мы почувствовали себя обязанными вмешаться в этот процесс. Как мы в свое время отнеслись к Пастернаку? Нам было приятно и радостно, что он получил Нобелевскую премию, но мы были, разумеется, разочарованы, когда он не смог вынести всего лишь одной недели травли, не смог вынести «всемирного презрения» и клеймения, не смог вынести угрозы Семичастного, отворившего ему дверь на Запад, и обратился с покаянным письмом к Хрущеву, с просьбой оставить его в России, сказав при этом, что он отказывается от премии. За это же осудил его и Солженицын в своей Нобелевской лекции.

Но мы тогда не заметили — по молодости, по глупости, — что Пастернак не отказался от самого главного: он не отказался от «Доктора Живаго». А ведь тот же Солженицын настаивал, чтоб не ставили ему в укор пьесу «Пир победите-

лей», захваченную при обыске. Пастернак не предал свое детище, он ни словом не раскаялся в том, что он эту книгу написал, — как потом, к сожалению, многие авторы Тамиздата отрекались от своих собственных произведений в покаянных заявлениях в «Литературной газете». Дело прошлое, я их здесь называть не стану, но во всяком случае того состояния духа, которое проявил тогда Борис Пастернак, они не достигли. Что сказал своим заявлением Пастернак? «Вы хотите видеть в Нобелевской премии политический акт? Пожалуй-ста, я от него отказываюсь. Я отказываюсь от премии. Я художник и не принимаю участия в ваших политических махинациях. Но лиры милой не отдам».

Позиция новых тамиздатчиков, Синявского и Даниэля, была как будто менее нравственной, они действительно укрывались под псевдонимами. И ведь на дворе уже была не «оттепель», а стойкое похолодание, да, собственно, этот процесс и обозначил для нас начало этого похолодания. Тем не менее писательская масса ощутила к ним сочувствие. Я помню, как ко мне за столик в Центральном Доме литераторов подсел Василий Павлович Аксенов и мрачно сказал: «Ну что, старик, надо выступить, надо написать письмо». — «Надо, — говорю, — а какое письмо? Куда?» — «Ну не знаю, но как-то же надо ребят выручать...» И мы тут же зашли в редакцию журнала «Юность» — это поблизости, там оказался Анатолий Гладилин, и вдвоем быстренько сочинили первое — в моей жизни, во всяком случае, — «подписантское» послание к нашим лидерам — Брежневу, Подгорному, Косыгину. Это письмо впоследствии подписали еще 17 литераторов — среди них Евтушенко, Вознесенский, Коржавин, Рождественский, Ахмадулина, Булат Окуджава, Василь Быков. Это было то самое «письмо двадцати», за которое Шолохову было стыдно, как он сказал на партийном съезде. Если помните, было еще одно письмо, «письмо восьмидесяти», во главе с Эренбургom и Паустовским, за которое Шолохову было «стыдно вдвойне».

В 1973 году Советский Союз примкнул к Всемирной конвенции об авторском праве, и для тамиздатчиков начались трудные времена. Стало, как ни странно, хуже. Ну, благодаря различным причинам, которые здесь не место и не время вы-

яснять, любая конвенция, любой акт, который в любой другой стране приводит к расширению прав, к увеличению их объема, в нашей несчастной стране приводит к обратным результатам — к сужению прав, к их умалению. Так произошло и с этой конвенцией. Ведь вот до конвенции любой издатель вправе был взять любое произведение советского писателя и напечатать его, не спрашивая ничего позволения, пиратским способом. Такого автора обыкновенно вызывали к литературному начальству и спрашивали его, как это получилось. Автор начинал объяснять, что он носил свое произведение в одну редакцию, в другую редакцию, кому-то еще давал читать, ну и в конце концов утратил контроль над рукописью. Ну, прекрасно, это именно и хотелось от него услышать начальству. Тогда этому автору предлагали «отмежеваться» от своего издателя, — если это было издательство «Посев», так назвать их «бешеными собаками» или еще какими-нибудь сильными кликухами, — и объяснить читателям, что рукопись не завершена, что она лежала в столе и ее оттуда чуть ли не выкрали и т. п. Ну, здесь уже все зависело от твердости самого писателя, от того, соглашался ли он позориться, или ему это было слишком противно, имел ли он намерение съездить за границу или не имел, собирался ли покупать машину через Союз писателей или мог ее купить другими путями, — во всяком случае, тут были многие привходящие обстоятельства, которые оказывали и свое давление.

Теперь же сослаться на «пиратский способ» было нельзя. Предполагались, по конвенции, какие-то согласованные действия издателя и автора, требовалось непременно согласие автора, и такому автору напечатанного за границей произведения могли предложить выступить против своего издателя в суде. Ну, ничем особенно страшным это издателю не грозило, кроме некоторых материальных затрат, но все-таки это было крайне автору неприятно. Возникло в связи с конвенцией Всесоюзное агентство по охране авторских прав — ВААП, или, как остряки его называли, ВОХРАП — «Вооруженная охрана авторских прав», — и оно обратилось к юристам Министерства юстиции с просьбой разработать уголовный закон, который бы запрещал саму передачу рукописи за

границу. К чести юристов, они воспротивились. «А собственно, на каком основании можно уголовно наказывать автора, передавшего кому бы то ни было *свое* произведение?» — «Ну, хотя бы на основании монополии внешней торговли, которая целиком принадлежит государству». — «Но ведь монополия распространяется на водку, на трактора, на нефть, но никак не на изделия интеллектуального творчества. Тем более что вы, то есть ВААП, организация общественная, да к тому же еще как бы дочерняя, возникшая на базе других общественных организаций, и нарушение вашего устава никак не может быть уголовно наказуемым».

К чести юристов, они трижды отвергали проект такого закона. «Что же нам делать? — спрашивали вохраповцы. — Этих тамиздатчиков становится все больше и больше, дурные примеры заразительны, и нужно же как-то на этих нарушителей воздействовать!» — «Ну и воздействуйте, — отвечали юристы. — У вас в уставе Союза писателей есть для этого соответствующие меры. Вы можете объявить нарушителю выговор, можете строгий выговор с занесением в личное дело и т. д. Ну, наконец, подвергнуть исключению».

Вот тогда и последовала целая полоса исключений, которую открыл, по-моему, Максимов, за ним — Копелев, Чуковская, Корнилов, Войнович, ну и, наконец, Феликс Светов.

Однако ж, исключение, как убийство или самоубийство, имеет один крупный недостаток — его можно применить лишь один раз. Это ведь только товарищу Сталину удалось дважды расстрелять Рокоссовского, а потом поручить ему командовать армией. У Союза писателей это не получалось; тем более, будучи исключенным, автор куда же направлялся? Ну, разумеется, в Тамиздат, больше ему некуда было идти. Все советские редакции были для него закрыты. Таким образом, само исключение только узаконивало его участие в Тамиздате, а когда стали писатели сами покидать свой союз, так и вовсе эта мера потеряла свое страшное, карательное значение.

И вот тут-то случился еще один эпизод, который я счел бы третьим этапом Тамиздата. Этот эпизод в истории советской литературы я считаю уникальным, он называется —

«Метрополь». 23 автора во главе с Аксеновым, Ахмадулиной, Андреем Битовым, Семеном Липкиным, Инной Лиснянской собрали свои неизданные рукописи и, по существу, издали их сами. Они превратили свой альманах — я сейчас отвлекаюсь от его художественных достоинств — в некое подобие Самиздата и Тамиздата и, по существу, в готовый продукт печатного процесса. Даже художник у них был свой — Борис Мессерер, который сделал обложку. «Ардису» оставалось только выпустить это коллективное произведение книжкой.

Чем интересен этот этап? Тем, что 23 человека сами себя поставили в такое положение, когда им отступать было некуда. Они не могли сослаться на то, что у них рукописи взяли почитать и не вернули, что издатель их обманул — как в свое время наших «покаянцев», — они сами собрали свои произведения, сами их расположили в определенном порядке и представили на суд читателя, минуя литературное начальство. И не случайно этот альманах «Метрополь» вызвал такую ярость, вызвал к жизни новое позорное судилище, с самыми драматическими последствиями. В частности, Василию Аксенову, Инне Лиснянской и Семену Липкину пришлось добровольно покинуть Союз писателей — в знак протеста против преследования их молодых коллег.

Характерно, что из этих 23 человек не нашлось ни одного, которого бы удалось отколоть, который бы выступил с покаянием и обвинениями своих коллег. Ну, может быть, повинен в некоем отступлении от этого правила Андрей Вознесенский, который сильно подвел «метропольцев» тем, что свое стихотворение напечатал параллельно в официальном советском журнале и тем самым дал повод ерничать: вот, мол, вы говорите о «якобы несвободе», о том, что вы печатаете произведения, которые не могут пробиться в советские редакции, а вот, пожалуйста вам. И все, выступавшие против «Метрополя», ссылались на этот единственный пример.

Каким образом Тамиздат влияет на те процессы, которые происходят в России? Ну, прежде всего, Тамиздат несет читателю информацию, которой он, естественно, не может получить в печатных органах, официально зарегистрированных в Союзе. Очень многие писатели не были бы известны в Рос-

сии, если бы не Тамиздат. Что́ был бы Набоков для российского читателя без Тамиздата? Что́ был бы, скажем, без Тамиздата такой прекрасный мастер, открыватель нового жанра — реалистического абсурда, — как Венедикт Ерофеев? Что́ был бы для России без Тамиздата, скажем, Сергей Довлатов, который буквально вырос здесь как писатель, в эмиграции? — он ведь не напечатал ни одной прозаической строчки в своей собственной стране. А между тем писатель очень интересный, со своим стилем, внешне как будто суховатым, но поразительно емким, лапидарным, выразительным; сейчас вот в «Гранях», в 137-м номере, мы печатаем новую его подборку — «Рассказы из чемодана», — прошу на них обратить внимание; это, мне кажется, уже какой-то новый этап творчества Довлатова. Что́ был бы без Тамиздата молодой Владимир Рыбаков, автор весьма читаемого в России романа о советской армии — «Тяжесть» — и вот недавно вышедших армейских очерков «Тиски», донесших до нас много правды о трагической участи советского солдата в Афганистане.

Тамиздат выставляет советскому читателю как бы новый критерий истины, новый критерий художества. Советский читатель этот же критерий предъявляет уже и официально признанному писателю, который печатается в официальных журналах. От этого никуда не уйдешь. Читатель, наслышавшийся, начитавшийся Тамиздата, уже не может не предъявлять каких-то требований даже своим любимым писателям. Это чувствует начальство, и, естественно, оно задумывается — что же мы противопоставим Тамиздату? Многие из вас, вероятно, заметили, что наша советская литература как бы посмелела в последние годы. Часто слышатся вопросы: как это могло появиться, как это пропустила цензура? Ну, скажем, «Дом на набережной» или «Старик» Трифонова. Или повесть Бориса Можаева «Полтора квадратных метра». А ведь мало кто знает, что эта повесть, прежде чем была напечатана в журнале «Дружба народов», 5 лет пролежала там. Что же она за эти 5 лет стала менее «острой»? Стала помягче? Или ее так сильно урезали? Насколько я знаю, почти в том же виде она и была напечатана. Просто воз-

ника вот эта самая ситуация, когда необходимо разрешить что-нибудь «поострее», нечто большее высказать писателю на поле правды.

Как реагируют на Тамиздат иные читатели — кроме того, что они его распространяют? Вот, скажем, мне довелось видеть сброшюрованный «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Отпечатано типографским способом в Грузии — без обложки, просто пачка листов. Расположение шрифта говорило, что это не фотокопия, а собственный набор. Наконец, появляются и ксерокопии. Вы знаете, что в России нет свободных для доступа аппаратов, где можно за гроши отпечатать любой документ или страницы любого текста. Там все эти машины находятся на учете: чтобы напечатать какой-нибудь чертеж, необходимо десять разрешений, десять резолюций. И тем не менее люди ухитряются, перепечатывают на этих машинах страницы «Граней», «Континента» или изданных на Западе книг. Мне в свое время был преподнесен такой подарок, один из лучших в моей жизни: напечатанный таким способом на запретной машине «Верный Руслан». И первое, на что кинулись гэбисты, когда пришли ко мне с обыском, это и был вот этот самый экземпляр. Вероятно, по каким-то особенностям шрифта они надеялись распознать, что за машина и кто на ней печатал.

Как реагируют на Тамиздат писатели? Вы понимаете, смелость — она заражает, такое у нее свойство. Я помню одного из первых тамиздатчиков, Владимира Максимова, — это был 73-й год, — который вовсе не ходил с понурым видом, как от него, наверно, ждали, не каялся, а даже наоборот, расцвел, приделся, выглядел победителем и говорил, что он всем теперь укажет путь. Это увлекало, и это соблазняло робких. Кроме того, писатель в России уже не может сказать, что ему неизвестна другая половина правды или другие три четверти правды. Он не может на это сослаться, потому что Тамиздат стоит у него на полке. В свое время, вы помните, в 49-м году, появилось стихотворение Исаковского, в общем, хорошего поэта и доброго человека, стихотворение, посвященное Сталину, одно из самых позорных явлений советской литературы:

*Спасибо Вам, родной товарищ Сталин,
За то, что Вы живете на Земле...
За то, что Вы такой, какой Вы есть...*

Многих я спрашивал, — конечно, не самого Исаковско-го, но близких к нему людей, — как мог он в то время, в страшное время, в разгар «борьбы с космополитами», написать и напечатать такое произведение? Ну, не напечатал бы — ничего бы с ним не было. Объяснялось так, что он не знал всей правды. Я думаю, что его дети, даже несовершеннолетние, знали больше, чем их родитель.

Но теперь советский автор уже не может сослаться на свое незнание. Вся остальная правда ему известна, и она толкает его перо к еще большей правде. Затем, Тамиздат существует для него в качестве некоего плацдарма, на который можно ступить в случае чего. Как говорят писатели, на рукописи не усидишь — когда она написана, она должна быть напечатана, она толкает автора к решительным действиям. И хотя этот плацдарм завоеван другими людьми, которые костями на нем полегли, тем не менее приятно сознавать, что он существует и можно начальству не то чтоб заявить, но дать понять, что вот это произведение, которое автор принес в редакцию, это есть уже явление, с которым надо что-то делать, решать, так просто его отшвырнуть нельзя. Когда более или менее крупный писатель приносит свою рукопись в редакцию, об этом ведь знают уже во всех других редакциях, об этом знает уже через день вся Москва, весь Ленинград. И всегда есть опасность, что рукопись может стать достоянием западных издателей. Это отлично чувствует начальство и всячески старается этот вопрос как-то загладить, что-то решить, найти какой-то компромисс.

Вообще надо сказать, что партийно-литературное начальство пристально следит за Тамиздатом, не упускает ничего и тоже иной раз берет его на вооружение. Вот появился роман Лимонова «Это я, Эдичка» — и что же? «Литературная газета» не преминула тут же поместить сочувственную статью, где особенно цитировались проклятия автора западно-му миру. Вот появилась в Советском Союзе такая страннова-

тая книга некоего Яковлева «1914-й год», из которой мы с удивлением узнаем, что Россия в 1913 году была вовсе не такой отсталой страной, как нам это 70 лет долдонили большевики. Ведь это, в сущности, был их первый и главный миф, что Россия была страной слабой и ее все били за эту слабость. И вот мы узнаем от Яковлева, что Россия в то время была единственной в мире страной, которая могла построить линейные корабли. Или что она в Первую мировую войну поставила на фронт 70 миллионов пар сапог. Других цифр просто не помню, но они столь же ошеломительны. Спрашивается: если все было так хорошо, зачем было делать революцию?

Но в то же время и другое «зачем?». Зачем было опровергать этот миф, который уже так прочно вошел в мозги всех последующих поколений? А вот зачем. Само название клонит к ответу: «1914-й год» перекликается с «Августом четырнадцатого», и этот Яковлев дает понять, что «мы сами о себе можем сказать куда бóльшую правду, чем все эти продавшиеся отщепенцы». Вот как реагирует вовсе не глупая власть на появление тамиздатских книг.

Авторы Тамиздата находятся в России в довольно сложном положении. После процесса Синявского-Даниэля власть, в общем-то, закаялась судить «официальных писателей», членов союза. Но, скажем, такие писатели, как Ирина Ратушинская или Леонид Бородин, — это, с ее точки зрения, не писатели, они же не были членами союза, не имели писательских билетов, так что их талант ничем не удостоверен. «Официальных» же — стараются все-таки не судить, а как-нибудь «безобидно» их выпроводить в эмиграцию, или подкупить, или вообще сделать вид, как будто ничего не произошло. Иные авторы Тамиздата, как, скажем, Ахмадулина, или Окуджава, или Солоухин, не только сохранили свой статус, но иногда и выезжают посланцами советской литературы за рубеж. Таким образом, власть подходит очень дифференцированно, она учитывает и степень дерзости того или иного писателя, и степень правды, которую он выражает, ну и возможность как-то его все-таки вернуть, приспособить для своих целей. Я думаю, что с приходом к власти Горбаче-

ва, например, несколько облегчатся условия жизни «деревенщиков», да и некоторые критиканы получают чуть больше полномочий. Думаю, что этот процесс дифференциации будет продолжаться и будет разработана целая, так сказать, табель о рангах — кого все-таки можно использовать и в какой степени, а от кого уже придется совершенно отказаться.

Мы этот процесс должны учитывать, но вся беда в том, что у нас не разработан инструмент такого учета. Вот, скажем, небольшой пример. Напечатал Фазиль Искандер, один из авторов «Метрополя», аллегорическое произведение, — кажется, оно называется «Кролики и удавы», во всяком случае там шла речь об этих животных, — напечатал в «Континенте» в двух номерах, с продолжением. Так вот, не дожидаясь окончания, выступает эмигрантский критик по радиостанции «Немецкая волна» и ругает это произведение. Тут дело не в том, что он его ругает, а он ругает первую половину, хотя четко объявлено, что окончание следует. Это типичный советский прием, который применялся еще при Сталине, и, если помните, даже так бывало, что окончание вообще не печаталось после критики, — так было с повестью Юрия Германа «Подполковник медицинской службы». Или, скажем, выступает некий критик на страницах «Русской мысли», говорит о стихах Инны Лиснянской. Он критикует эти стихи, они ему не нравятся. Ну, я думаю, Инна Лиснянская — достаточно мужественный человек, она эту критику как-нибудь перенесет. Но тут же в статье содержится весьма незлегантный намек на то, что, дескать, сама Лиснянская избрала себе тот общественный статус, который ее так тяготит. Все дело в том, что не она избрала для себя этот статус, а так ей повелела совесть. Есть такая порода людей, которые иначе поступить не могут, как им велит их внутренний голос. Нужно быть чрезвычайно осторожным с такого рода высказываниями, потому что они очень больно отражаются на авторах в России, и я думаю, что на Фазили Искандера эта критика повлияла — в том смысле, что он решил все-таки вернуться, хотя и с большими потерями, с большим, так сказать, уроном для его чести, но вернуться в советскую литературу и вы-

ступить с сильно обрезанным, изуродованным цензурой рассказом в «Литературной газете».

Недавно в Париже побывал Горбачев, и французские политики ему преподнесли список, коротенький список, в котором были академик Сахаров, Щаранский и Ида Нудель. И, судя по сообщениям прессы, эти высокопоставленные уши все-таки как-то вняли и что-то такое в себя впустили, потому что Горбачев обещал поручить расследование неким компетентным людям. Это приятно слышать, это вселяет надежды, но обидно и грустно, что в этом списке не было таких писателей, как Анатолий Марченко, Ирина Ратушинская, Леонид Бородин, Виктор Некипелов, Микола Руденко, Феликс Светов, Лев Тимофеев. Что же, их судьба — предпочтительней? Или за них некому было сказать слово? Западные политики говорят то, чего мы, собственно, добиваемся от них, чтоб они сказали. В свою прошлогоднюю поездку в Париж я разговаривал об этих писателях с парламентариями и с правительственными чиновниками Франции, но, видимо, этого было недостаточно, видимо, нужно долбить и долбить, и этот вопрос должен был быть подготовлен ну за неделю хотя бы до приезда Горбачева, потому что забывают, забывают люди. Я думаю, нужно приложить все усилия, чтоб этот список был расширен по крайней мере за счет тех имен, которые я перечислил, чтобы они были произнесены в уши советскому лидеру во время его встречи с Рейганом.

Процесс Тамиздата требует от нас огромной ответственности. Дело в том, что свобода — это не только величайший дар, но и величайшее бремя, которому мы не всегда соответствуем. И я это говорю и как редактор «Граней», который тоже ответствен в немалой степени за литературный процесс в эмиграции. Мы не всегда помним, что литература наша в конечном итоге едина; она хоть и разорвана в пространстве, благодаря тем или иным причинам нашей трагической истории, но тем не менее процесс этот единый, хотя бы потому, что один читатель российский. Россия из всех держав выделяется хотя бы уже тем, что она есть величайшая страна Читателя. Я думаю, что и литература в изгнании, и та литература, которая печатается в России, в лучших ее образцах, это

сообщающиеся сосуды, которые питают друг друга, соревнуются в том, чтобы сравняться в своих уровнях, и если один из этих сосудов высохнет до дна, то и другому сосуду также не остаться полну.

Благодарю за внимание.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Владимир Дмитриевич Поремский задал вопрос: не будет ли расшифровка того, что написал автор в Советском Союзе иносказательно, с применением эзопова языка, — литературным доносом из-за рубежа, если мы скажем, что в данном произведении критикуется вся советская система и оно, по существу, скрыто «антисоветское»?

Мне по этому поводу вспомнилась апокрифическая встреча писателей с товарищем Сталиным. По-моему, там участвовал Алексей Толстой, который спросил: «Иосиф Виссарионович, как мы должны изображать нашу советскую действительность? Как она есть или как она представляется нам в будущем, как она отражена в партийных документах?» На что товарищ Сталин, вынув трубку изо рта, ответил так: «Пишите правду».

Этот его совет я бы адресовал и нашим критикам: пишите правду о том, что написал советский писатель или тамиздатский автор. Разумеется, существует жанр литературного доноса, и советская печать его хорошо знает. Много было таких произведений критической мысли, особенно в периоды присуждения Сталинских премий, — вдруг появлялись статьи, явно рассчитанные на то, чтобы данное произведение было вычеркнуто из списка. И это еще безобидный пример, бывали и прямые доносы политического свойства. Я думаю, что это, в основном, касается советской печати, — доносы из-за рубежа сейчас, как мне кажется, не принимаются во внимание. И автор, обладающий громким голосом, может сказать: «Я отвечаю только за свой текст, а что там эти шавки про меня пишут, мне нет никакого дела». Может и так сказать: «Не знаю, не знаю, откуда вы это вычитали. И почему

такой у вас интерес к вражеским голосам?» Словом, у него всегда есть средства для защиты. Когда я говорил о критике из «Немецкой волны» или «Русской мысли», я отвлекался от содержания этой критики, я говорил только о приемах. В одном случае был использован недозволенный прием рассмотрения напечатанного произведения, окончание которого еще ожидалось, в другом — говорилось об общественном статусе литератора. Все это было, с моей точки зрения, нездорово, и я знаю, что такие вещи воспринимаются болезненно среди авторов, живущих в России.

Второй вопрос, заданный Владимиром Дмитриевичем, — как власть будет относиться к писателям, станет ли она больше применять кнут или пряник? Владимир Дмитриевич в перерыве мне сказал, что и кнут, и пряник — два средства принуждения. Это, безусловно, так. Но мне все-таки хотелось бы его поправить: это как минимум четыре, а не два средства принуждения. Потому что можно дать пряник, а можно его не дать, а дать соседу, твоему ненавистнику, — это очень обидно и неприятно. Можно дать кнута, а можно дать его не тебе, а соседу, — наоборот, приятно... Так что здесь вариации всевозможные, вплоть до чисто мазохистских, когда человек жаждет кнута, ему хочется, чтоб его обругали, чтобы Запад об этом услышал, чтобы войти в известность, — а ему не дают кнута, а его замалчивают, рангом не вышел. Все эти средства служат одному: заставить писателя сделать то, чего хочется родной партии.

Что касается Горбачева, то я потому связал с ним относительные выгоды «деревенщиков», что новый лидер все-таки по профессии агроном, и, поскольку он, видимо, будет заниматься реформами в деревне, ему необходимо привлечь этих писателей и дать им высказаться о деревне. Тем более что «недостатки» можно списать на Брежнева, на Андропова, на Черненко. Правда, профессия еще ни о чем не говорит, он по другой профессии еще и мой коллега — юрист, но вот к проблеме прав человека относится индифферентно. Думаю, что, заявляя себя реформатором, он какую-то незначительную свободу допустит, и она прежде всего коснется писателей-«деревенщиков». Что же касается средств принужде-

ния, — как пряник и кнут, — то это вещи неразделимые, и откуда стоит советская власть, они всегда будут находиться у нее в одном кулаке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Хочу сказать только несколько слов, поскольку особенных возражений против содержания доклада я не встретил. Но некоторые мысли хотелось бы уточнить. Как говорит Солженицын, труднее всего провести среднюю линию. Но я все-таки возьмусь за это, чтобы помирить Кублановского с Коржавиным, — учиться ли нам у Запада или мы сами могли бы Запад кое-чему научить? Конечно, ориентироваться в поэзии на образцы Тамиздата как на эталон — не следует. Но что касается других жанров, скажем, критики, то мы примеры такого взаимопроникновения видим. Не знаю, как Коржавин относится к такому критику, как Лев Аннинский. Наверное, хорошо. Так вот что однажды мне рассказал Аннинский: «Я начал читать Бердяева, когда о нем здесь даже не слышали, вот почему я был такой умный...» Видите, учеба и взаимопроникновение, или ориентация, все же происходит. Поэтому мой тезис о сообщающихся сосудах остается в силе.

В прекрасной речи журналиста Владимира Жедилягина меня несколько покорило упорное противопоставление свободы и родины. Оно мне напомнило споры в военной среде, которые возникали по мере того, как в обиход входили те или иные технические средства войны. Прошу прощения, что я говорю здесь о военных доктринах, но ведь и Жедилягин начал с генерала де Голля. Так вот, по мере появления этих технических средств появлялись и те или иные учения, или доктрины. Так, гросс-адмирал Рейдер доказывал, что основное слово в будущей войне скажет флот. Итальянец авиатор Дуэ, конечно, говорил: нет, решающее слово скажет авиация. Гудериан, естественно, — танки. Президент Кеннеди называл атомную подводную лодку «абсолютным оружием». Ворошилов с Буденным, ясное

дело, ставили на тачанку, на доброго коня и вострую шашку. В конце концов сошлись на том, что главное — взаимодействие всех родов войск.

На какое слово отзовется скорее русское сердце — на слово «родина» или на слово «свобода»? Не знаю; скорее всего, что и на то и на другое в равной степени, и одно без другого существовать не может. И родина без свободы плоха, и свобода без родины не лучше. И прежде всего, прежде чем говорить о России, прежде чем выражать ту или иную национальную идею, или концепцию, нужно получить элементарное право слова — для того чтобы иметь возможность эту концепцию высказать.

В основном же я рад, что наш диспут пошел по пути творческому, что здесь было высказано много интересных мыслей, и главным образом я чувствовал, что все участники нашего совещания глубоко и полно понимают свою ответственность перед теми нашими собратьями, которые находятся по ту сторону «железного занавеса».

Всех вас благодарю.

Посев. 1985. № 12

Доклад в качестве главного редактора журнала «Грани» на 37-й Посевской конференции, в Эшборне близ Франкфурта-на-Майне, 5—6 октября 1985 года.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЯНВАРЯ

Академик Андрей Дмитриевич Сахаров на пороге семилетия своего заключения в Горьком становится персоной почти мифической, наподобие Железной Маски, загадочного узника Бастилии. Но про того хоть было известно — арестован по приказу короля, то есть личности, бесспорно, существовавшей. О Сахарове тоже было объявлено — по Указу Президиума Верховного Совета, но существует ли этот Президиум в натуре? Я в этом никогда не был уверен. Лишенный советского гражданства именно этим почтенным органом власти, коллегиальным президентом, я до конца дней обречен терзаться вопросом: неужто всерьез это было — пятнадцать мужиков собрались, совещались, решали? Нам приходится ловить случайные крохи информации — будто бы удаления Сахарова из Москвы, под надзор милиции, потребовали военные, то есть маршалы и генералы, планировавшие оказание братской помощи Афганистану, но это когда еще мы сможем проверить...

Может статься, сама причина — забыта или уже неясна или утерян листок с подписями голосовавших. Оттого и слышится этот невнятный лепет — будто освобождение Сахарова означало бы «распространение ядерного оружия». То есть, как можно понять, в придачу к тем мегатоннам, которых уже хватает пятьдесят восемь раз испепелить нашу планету.

Но вот в начале 1983-го чудом проникло на Запад открытое письмо Сахарова ученому коллеге, американскому физику Сиднею Дреллу, названное «Опасность термоядерной войны». И немедля четверо коллег советских, тоже академиков, выступили в «Известиях» с обвинениями автора в «нравственном падении», в «ненависти к собственной стране и народу», расценили его письмо как «человеконенавистническое», «призывающее к войне против собственной страны». Это уже — существенно. Слышится по крайней мере хоть какой-то состав преступления.

Правда, читающему само письмо никак не покажется, чтоб Сахаров призывал к войне: все наоборот, он от нее предостерегает, ищет, как ее избежать; термоядерная война представляется ему «коллективным самоубийством», гибели не избежит никто, в том числе и страна-агрессор. Но и в самом деле то, к чему он призывает Запад, звучит на слух советского человека как бы даже кошунственно, как бы и чудовищно. Разоружиться? Ни в коем случае, это было бы гибелью цивилизации. Напротив — довооружиться, восстановить равновесие боевых потенциалов — как в ядерном, так и в обычном оружии, — то равновесие, которое было утеряно в сладостном шуме разрядки, или «детанта». И только в этом случае переговоры о разоружении могут быть успешными. Да вот и подлинные слова Сахарова:

«Запад на этих переговорах должен иметь, что отдавать».

И еще:

«Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты «МХ», может, придется Западу это сделать...»

Может ли такое, хотя и горестно, произнести патриот, интеллигент, противник войны, убийства? Всякий ли сможет — не знаю. Сахаров — смог. Потому что должен был. Ведь не Гитлеру он это говорит, и пора бы уже понять, что нет сейчас на Земле ни «наших», ни «ваших», но все мы на ней — возможные будущие погорельцы. Потому что и впрямь, говоря словами Сахарова, «начиная со второй по-

ловины XX века, человечество вступило в особо ответственный, критический период своей истории».

Насчет особой ответственности наших правителей он знает, как никто другой. Наглядный урок ее понимания преподавал ему сам Никита Хрущев, сказавший со всей большевистской прямоотой: «Ваше дело, физиков, создать бомбу, а наше дело, политиков, как ею распорядиться». И распорядился — послать ракеты на Кубу. Поэтому и говорит Сахаров с полным, запредельным знанием, с фактами и цифрами в руках, со смелостью последнего отчаяния, отлично сознавая, что за такие речи, может быть, не сносить ему головы.

Кто установит, прислушался ли Запад к его призывам или сам пришел к тем же выводам, но вот три года прошло, устанавливаются в Европе крылатые ракеты и «першинги», замаячила перспектива создания космической обороны, грозящей свести на нет все преимущества Варшавского блока, — и что же? Послышалось в ответ удвоенное, утроенное бряцание оружием? Нет, посыпались новые «мирные инициативы», которыми так умеем мы забрасывать непримиримого идейного врага, и наши лидеры опять поспешили в Женеву (едва не сказал — в Каноссу), из которой так недавно, хлопнув дверью, ушли. Само собой теперь разумеется — и принято полагать, что равновесие просто необходимо обеим сторонам. Тут-то она и забрезжила, последняя надежда выжить.

В чем же был виноват Сахаров? А в том, что был прав. За удовольствие оказаться умнее и дальновиднее своих правителей приходится платить. Сахаров за это и платит — пока что шестилетней своей несвободой. Близко к тому, что заплатит и жизнью.

Заплатил же некогда другой провидец, военный ученый генерал Александр Свечин, за наше же ослепление собственной мощью, заведомой непобедимостью молодого «атакующего класса». В 30-е годы так легко сочинялись и пелись пленительные доктрины, что будущую войну поведем мы на территории агрессора, «малой кровью, могучим уда-

ром», «своей земли вершка не отдадим». И только упрямый Свечин мрачно твердил, чтоб не тешили себя иллюзиями, война предстоит затяжная и многокровная, поначалу — на своей территории, и нужно готовиться к длительной и глубокой обороне. За подобную ересь неподатливого генерала отправили в ГУЛАГ, где он и скончался. А в 1941-м увидели мы оккупантов у ворот Москвы, а в 1942-м — на Кавказе и у Волги, и никакая правота умершего не помогла его воскресить. Да и кто о нем тогда вспомнил?

Извечная природа всякого неприятного для нас предвидения: вначале за него клеймят и казнят, потом — помалкивают, наконец — объявляют идею провидца само собою разумеющейся и даже банальной. Похоже, судьба академика Сахарова вступила во второй этап: правду о нем самом предпочитают скрывать, зато идеями его — торгуют напропалую. Когда «энергичный реформатор» Горбачев сам призывает к равенству вооружений, к паритету, к одновременному «замораживанию» и даже — наконец-то! — к обоюдному контролю, — ведь это чистой воды плагиат, все заимствовано у Сахарова, который это высказывал, предлагал, внушал еще в те года, когда Михаил Сергеевич только еще окидывал честолюбивым взором ступеньки иерархической лестницы, только-только подумывал: «Я б в генсеки пошел, пусть меня научат...»

А необходимость реформ, гласности, неукоснительного исполнения законов, свободы хозяйственной инициативы, честного признания наших слабостей и ошибок — не от Сахарова? не из его ли книг, статей и писем? Вот только проблему прав человека, открытости общества и прочих мерихлюндий никак не перенять Горбачеву, но ведь она — не отдельная в системе сахаровского глобального мышления, она входит органично необходимейшей частью в его концепцию спасения мира. Настанет время признать и ее.

Есть основания думать, что и решение проблемы Афганистана придется заимствовать у того же Сахарова. Ведь он не только первым нарушил позорное наше «единодушие»,

не только подписал в числе восьми смельчаков обращение Московской «Хельсинкской группы» — знаменитый документ 119-й, призвавший мировую общественность сделать все возможное, чтобы остановить советскую интервенцию, но он еще и разработал поэтапно, как выйти из этой авантюры, и даже — без «потери лица». Яснее, надежнее, бескровнее люди, затеявшие авантюру, не придумают.

Похоже, идеи и предложения Сахарова пробивают себе дорогу к человечеству, даже к той его части, от которой что-то зависит. Остается в беспросветном пока тупике его собственная человеческая участь. Чем, в сущности, он защищен, Андрей Дмитриевич Сахаров, от произвола государственной громады? Мы думали — всемирной известностью. Принято считать: писателя защищают его книги, полководца — его победы, ученого — его открытия. Мы увидели воочию, какая это чепуха! Ни триждыгеройское звание, ни Ленинская премия (а Нобелевская — та вообще не в счет) не помешали с ним поступить, как с любым из нас. Да хуже, чем с любым: какому ссыльному запрещены переписка, телефонный разговор, приезды к нему родных и друзей? Да и по сроку это не ссылка — сталинская «вечная» отменена, а новый закон не предусматривает больше пяти лет. Предлагают слово «депортация». Но к чему играть в слова, назовем происходящее подлинным именем — медленное убийство. Убийство тела, мозга, души. И защищен-то он только тем, чего нельзя у человека отнять, — мужеством.

Это немало — если знать Сахарова. А я имел счастье знать его достаточно хорошо, чтобы судить не только об его интеллигентности, необычайной его мягкости и деликатности. Да он и доказал свое мужество этими шестью годами, доказал свою стойкость, непреклонность, неискоренимость самостоятельного мышления. Подвергаясь бесконечным унижениям, издевательствам, угрозам, рукоприкладству врачей, жестокостям насильственного кормления при голодовках, он остался самим собою, вполне оправдав гордые, но казавшиеся неисполнимыми слова Ремарка: «Пока человек не сдастся, он сильнее своей судьбы».

Двадцать второе января

Ко всеобщему удивлению, ему удастся и победить. Нисколько не умаляя усилий государственных и политических деятелей, всякого рода гуманитариев, добивавшихся, чтобы жену Сахарова, Елену Боннэр, выпустили полечить сердце в американской клинике, я все же не могу не сказать, что чашу весов в ее пользу перевесили не столько их протесты, просьбы и хлопоты, сколько двести семь дней его голодовки. Двести семь дней, с двухнедельным перерывом!

Я думаю, он превзошел своим мужеством все человеческие пределы. Но никому не дано одолеть пределы физических сил, предательство организма. Он истощен голодом и болезнями, измучен страхом за жену, истерзан «миллионом терзаний», которыми так умеет обласкать любящая наша родина-мать своего непокорного сына.

Человек, столько сделавший для всех нас, вправе надеяться на нашу солидарность. Мы же — не вправе от нее уклониться. Ни по лености, ни из страха, ни из желания задобрить могучую и опасную сверхдержаву. Может быть, не ради себя, но ради будущего, ради наших потомков. И не в том дело, что покроем себя перед ними позором, это мы как-нибудь переживем. Но если умрет в несвободе Андрей Дмитриевич Сахаров, это будет означать нечто большее, чем просто уход из жизни одинокого измученного человека. Это вот что будет означать: если сегодня мир не сумеет или не захочет спасти своего великого гражданина, завтра — он не спасет себя.

Радио «Свобода». 1986. 22 января

ВОКРУГ 64-х КЛЕТОК

Недавно в парижской газете «Русская мысль» попалась мне маленькая заметка, сообщение из Москвы — о том, что 15 «отказников» в дни партийного съезда держали голодовку; среди них — шахматные гроссмейстеры, экс-чемпионы СССР Борис Гулько и его жена Анна Ахшарумова. Не знаю других участников, не знаю и причин их упорного желания покинуть родину; думаю, они так же вески, как у этой блистательной пары шахматистов, добивающихся выезда уже восьмой год. Однако я заподозрил здесь ошибку — вполне объяснимую нашими коммуникациями с Россией, где о нас, отъехавших, даже говорят в прошедшем времени: «Он был... Она была...» И впоследствии мои сомнения подтвердились — Аня Ахшарумова в голодовке не участвовала. Насколько я знаю Бориса Францевича Гулько, он этого не мог ей позволить. Для его кодекса рыцарства это недопустимо — чтобы женщина, да еще моложе его на несколько лет, разделяла с ним все мучения и опасности, выпадающие «отказнику». Он все берет на себя — и письма-протесты, и демонстративные выходы с плакатами, и, бывает, столкновения с дружинниками.

Мне довелось быть свидетелем его голодовки в ноябре 1982-го. Он лежал в постели, с восковым лицом, обросшим щетиной, с запавшими горящими глазами, даже говорить

избегал, чтобы не тратить силы. Голодовка была — бессрочная, значит — смертельная, надо было растянуть ее как можно больше. Аня все же готовилась присоединиться к ней через три недели, но была надежда, что это не понадобится, ОВИР все-таки уступит или хотя бы пообещает что-то членораздельное. Ту голодовку прервала, обесмыслила нежданная — и долгожданная — кончина генсека, незабвенного Леонида Ильича. Открылись тогда новые надежды — и новые ожидания. Несть им конца и по сей день.

А началось — с того же кодекса рыцарства, кодекса чести настоящего спортсмена, которого сразу и не разглядишь в Борисе Францевиче — таком мягком, уступчивом, спокойно-доброжелательном, как, впрочем, не распознаете вы жесткий бойцовский характер в милой, прелестной, застенчивой Ане, с ее обликом школьницы, сбжавшей с уроков. Свои многообещающие звездные карьеры они поломали разом в тот злосчастный день, когда отказались подписать письмо, клеймившее невозвращенца Корчного. Расправляться с противником не на доске, сводить счета за пределами 64-х клеток — увольте. И что же — уволили. С того дня закрылись для них заграничные поездки, международные состязания, остались — внутренние, и притом второстепенные, где можно бороться и побеждать, нельзя — развиваться и расти.

Банальная истина — диссидентами не рождаются, не становятся по доброй воле, диссидентов упорно и старательно делают. Сначала они, как видим, «неподписанты», затем — напротив, «подписанты» и «отказники», или — еще один горестный неологизм — «рефьюзники»; и так естественно было им задуматься на скользкую тему прав человека, принять участие в Сахаровском сборнике, наконец — оформить свою оппозиционность, вступив в Московскую группу «Международной Амнистии». И все-таки, наперекор судьбе, играть.

Весною 1984-го чудом дошло до меня, в Западную Германию, письмо из Москвы, с улицы Твардовского, 17. *«У нас все по-старому, — писал Борис Францевич. — Не-*

*множко играем. В этом году я разделил в первенстве Москвы 2-е место, Аня — 3-е. После этого Аню допустили в международный турнир, тоже в Москве. Она взяла 2-е место, перевыполнила норму гроссмейстера»**. Как будто все хорошо, есть и успехи. Но в том же году — его письмо в Швецию, коллегам из сборной мира: *«Я лишен возможности участвовать в соревнованиях, годами — полностью, годами — частично»*. И тут приоткрывается, какого мужества стоят эти успехи, какими унижениями сопровождаются, какими подножками, ударами ниже пояса. Стоит напомнить, как утерjala Аня Ахшарумова первенство Союза и новое звание чемпионки. Ее противница, будучи в худшем положении, вдобавок еще

* *Примечание 1998 года:* В этом же письме Борис Францевич напоминал мне о нашей с ним договоренности. Накануне моего отъезда он просил передать в НТС, который виделся ему организацией боевитой и авантюрной, чтоб устроили ему и семье побег на самолете. О таких попытках «солидаристы» рассказывали в своем журнале «Посев», и не сказать, чтоб относились к ним отрицательно. Условлено было, что я дам знать о времени и месте тайной посадки, куда готовы были прибыть Борис и Аня с маленьким сыном. По приезде в Германию я говорил об этом с лидерами НТС, я даже присмотрел самолет — некий любитель держал у себя перед домом, на лужайке, двухмоторную машину, по виду легкий бомбардировщик времен Второй мировой войны; с хозяином можно было договориться, чтобы он либо сам слетал, либо дал свою реликвию напрокат. Куда там, лидеры и слушать не хотели, подвиги в духе Маттиаса Руста их не увлекали. Всей боевитой авантюристичности НТС только и хватало, чтобы десятилетиями поставлять «нашим американским друзьям» отважную туфту насчет подпольных групп в России, увлеченных идеями «солидаризма» и в любой час готовых к восстанию по сигналу из Франкфурта. Джентльмены с развесистыми ушами отстегивали на это хорошие деньги. Впрочем, сдается мне, что все они, вплоть до верхушки ЦРУ, не обманывались насчет туфты, да надо же им тоже чем-то кормиться. Где они теперь, те повстанческие десяточки и пятерочки, неужто все по подпольям сидят? Хоть бы один выполз да в Думу, что ли, кандидатурку выставил...

просрочила время, упал флажок на ее часах. Но судьи и шахматная федерация распорядились — продолжать игру. Даже и для тех, кто знает лишь «e2 — e4», это против всех правил, точнее сказать — это новое правило, которое ввели специально для Ахшарумовой, зная наперед, что она наверняка не подчинится идиотскому произволу. Не называю ее противницу — виновата ли она, что счастье свалилось ей в руки с небес? Да и у кого из вас, дорогие слушатели, хватило бы духу в этой ситуации встать и пожать руку настоящему победителю?

Долгие годы судьба моих друзей была в руках Анатолия Карпова. Что ему стоило, чиновному любимцу Брежнева и Политбюро, добиться, чтоб их отпустили с миром? Но Гулько никогда бы к нему с этим не обратился, и еще вопрос, выполнил ли бы Карпов его просьбу. Как было известно в кругах шахматистов, существовало опасение, что, оказавшись на Западе, Борис Гулько может стать тренером и ассистентом Корчного, тогда чрезвычайно опасного претендента на мировую корону. В планы партийно-государственного чемпиона это не входило.

Много писали на Западе о внеигровой стратегии Карпова, об его многочисленной свите, включающей тренеров, массажистов, телохранителей, личного повара и даже парапсихолога Зухаря, который должен был воздействовать на противника своим «силовым полем». Не писали о вещах попроще и омерзительней. О том, сколько мастеров высочайшего класса вынуждены были делиться с чемпионом своими идеями и находками, чтоб только остаться в ранге «выездных», участвовать в мировых первенствах. По существу, вся сборная Союза противостояла Корчному в матчах в Багио и в Мерано. Тем удивительнее — подвиг Каспарова.

Ситуация была — как в рассказе Джека Лондона «Мексиканец», где юный тщедушный Ривера дерется с могучим, опытным и бесчестным Уордом, которому подыгрывают столь же бесчестные судьи. Наши симпатии, разумеется, на стороне Риверы, сражающегося за винтовки для революции, — хотя, заметим, насчет самой революции автор не пи-

тал иллюзий. Нет смысла и нам оценивать нового чемпиона в плане социально-политическом — насколько он либеральнее, прогрессивнее Карпова. Несомненно одно — это была победа шахмат над интригами и политиканством. Вероятно, помимо таланта, молодого задора, темперамента, еще и сознание высшей правоты помогло противнику Карпова буквально восстать из поражения, переломить ход матча, преодолеть наконец и предательское решение судьи Кампоманеса оборвать состязание как раз на переломе. Не привыкши побеждать чисто, Карпов и проиграть не сумел достойно, прибег к очевидному подлогу, на прощание выторговал себе матч-реванш, ни за какие заслуги ему не полагающийся, но ставящий под сомнение победу Каспарова. Жалкая, морально проигранная позиция! Но, может быть, и честная попытка вернуть родной партии ее веру, что она вправе назначать чемпионов. Ведь известно школьникам: «Партия — вдохновитель и организатор всех наших побед». Стало быть, и на 64-х клетках.

Но вернемся к Борису Гулько и Ане Ахшарумовой. Теперь-то, когда судьба мировой короны переместилась в страну «развитого социализма», какой резон властям держать их и не пущать? Какая тут логика? Хотя еще в игровом возрасте, но уставшие, истерзанные душевно, выбитые из должного развития и режима, они еще не скоро представляют реальную опасность.

Опасность, может быть, и нет. Но ценность они представляют. Люди с именами, они к тому же зарекомендовали себя в глазах советской системы хорошими, упорными врагами. А врагов не затем растят и воспитывают, чтобы ими разбрасываться. Это обменный фонд, это валюта, на которую покупается «разрядка» — то есть новейшая технология, электроника, уступки по части разоружения, а попутно — приятное впечатление от нового генсека.

Просто их время еще не пришло. Мировая шахматная общественность помалкивает, ведь она так не любит смешивать спорт и политику — имея дело с державой, которая только тем смешением и занимается. И покуда это так,

Вокруг 64-х клеток

из ОВИРа — или какое там ведомство на самом деле распоряжается выездами? — будет слышно одно «красноречивое молчание». Или — ответ, ставший уже своего рода классикой: «Нецелесообразно».

Как говаривал Наполеон: «Отвечать следует коротко и неясно».

Радио «Свобода». 1986. 14 марта
Посев. 1986. № 4

НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Майским вечером 1983 года, едва приземлясь на франкфуртском аэродроме, я попал в их круг — такой плотный, что Анатолий Гладилин, примчавшийся из Парижа для первого интервью, минут сорок не мог ко мне пробиться. Поздней он заметил: «Они окружили тебя, как ксэндзы — Козлевича. Видно, ты им очень нужен». Может, и впрямь ситуация напоминала «Теленка» — не того, который бодался, а «Золотого», ильф-и-петровского. Но, измученный предотъездными неделями, нескончаемым расставанием, зверским таможенным досмотром, каким заботливая родина дает нам напоследок доброго материнского пинка, я был тронут встречей. Дружеский ужин у председателя НТС Артемова, приготовлены комнаты в тихом отельчике, телефона нет, адрес никому не сообщается, письма с приветствиями новому эмигранту приходят в «Посев», там же и встречи с корреспондентами — и не со всяким, а кто *нужнее*; свои переводчики, свои поводыри на первых шагах в неведомом мире.

На другое же утро — первое утро на чужбине — они предложили мне журнал: «Это наша мечта, чтобы вы приняли и повели «Грани»». Я еще не знал, что они его не мне первому предлагали, помнил, как они мне писали в Москву: «Это Ваш журнал», просили консультировать

тогдашнего редактора Н.Б. Тарасову — *что нужно для России*, и курьеры привозили оттиски — на мое одобрение, и что я ни посылал своего или своих друзей — печатали без возражений.

И все же было о чем задуматься. «Ваш журнал» — это очень украшает речь и льстит и вселяет надежды, но он же еще — и партии. Легко ли оно — редактировать партийный журнал? С другой стороны, разве у Твардовского был он свой? И партия нависала над редакторским столом, и собственный партбилет — слева, где сердце, — удерживал от слишком резких телодвижений, но как много он смог, успел. Ну, наконец, и партия все-таки другая, совсем противоположная. И хотя известен закон, что любая оппозиция зеркально копирует своего противника, однако и законы имеют же исключения...

Ни все те ругательства, какими обкладывает «солидаристов» бесталанный советский агитпроп, ни их брошюрки и листовки, которые там, «за бугром», никто и читать не трудится, — облика НТС, конечно, не создают. Но когда из-под пресса ГБ — с непрестанной слежкой, подслушками и глушилками, обысками и допросами — видишь сами лица их курьеров, молодых идеалистов из Англии, Дании, Италии, Нидерландов, прекрасные лица *свободнорожденных*, — таким и представляется лицо этой партии, единственного политического объединения в российском зарубежье. Любопытно, однако, что курьеры непрестанно меняются; за двенадцать лет редкие приезжали ко мне дважды: должно быть, со временем они составляют себе представление о Народно-Трудовом Союзе — и порывают с ним. Мне же теперь все больше кажется, что его вообще не существует — ни «Народно-го», ни «Трудового», ни «Союза».

НТС, конечно же, партия, как ни избегают они этого слова. Но какая-то странная партия. Ее становой хребет, ее ствол, разросшийся по всем континентам ветвями и побегами, составляет семейный клан — Артемовы-Редлихи-Славинские-Бонафед-Горачики, — объединенный

перекрестными супружествами, кумовствами, крещениями, шаферствами и всех степеней родствами. Остальное — «второй сорт», батраки, служащие ему кто по совести, с искрой в душе, а кто потому лишь, что деваться некуда. Этим кланом несменяемо правит одинокий и престарелый, уже на восьмом десятке, Евгений Романович Островский-Романов, ласково и почтительно именуемый — Романыч. Клан выдвигает его, поддерживает и, разумеется, давит на него, требуя своего, но лидерство его бесспорно, а слово весомо и непререкаемо, как оруэлловского Старшего Брата. Одной чековой книжкой, которую он цепко держит в кулаке, перемещаясь вместе с нею с одной должности на другую, такого авторитета не объяснишь; это действительно если не самый интересный, то самый живописный человек в НТС, олицетворение его и скрепляющий стержень; многие и думать боятся, что станет с организацией, если Романыч уйдет.

Борис Прянишников (Серафимов), один из основателей «Посева» и «Граней», знавший Романыча в лучшие годы, так его характеризует в не изданной еще книге: «...многогранен и сложен. С одной стороны, это энергичный, умный и толковый человек, отличающийся редким самообладанием и огромной силой воли. С другой стороны — эгоцентрик, скрытый и замкнутый... Властолюбив, вероломен и лжив до крайности... Если человек ему чем-то необходим, он с ним исключительно вежлив, обаятелен, предупредителен, даже задушевен; но завтра же он может повернуться к нему спиной, коль скоро надобность в нем миновала. Людей он в сущности не любит... Отношение к ним циничное и подчас жестокое... Мастер интриги, долго вынашиваемой в тайниках души... Одна из замечательных черт его — умение пользоваться чужими руками... Любит и ценит деньги, умеет их «делать» и знает их власть над людьми. В области духа и идей у Е. Романава интересов нет».

Я застал личность, уже изрядно потускневшую, в которой одни черты затвердели и выпятились, другие — смяг-

чилились или стерлись. Но кто скажет, какие для политика мелкого пошиба важнее? Отыграв многие роли, нынче он, седогривый и седобородый, в ампула «благородного отца». Забот ему все прибавляется — клан оброс детьми и уже внуками, невестками и зятьями, которых нужно же «пристраивать». Один из зятьев, с многообещающей фамилией Жданов, пристроенный руководить издательством «Посев», двух внятных фраз по-русски не напишет, а понятия его о литературе — как у того мистера Хиггинботама, который, читая произведения Мартина Идена, всякий раз укреплялся в убеждении, что только дураки могут платить за это деньги. Да, впрочем, не думаю, чтобы он вообще читал то, что издает. Считается, что это и не нужно ему, коли при нем издательский совет, а что старик Форд сам неплохо разбирался в автомобилях, на то вам ответят вполне серьезно: «Это другое дело!» Любимейшее же их возражение: «Это *вам* так кажется», то есть они одни — держатели патента на Истину. Однако проблема возникла — не отцов и детей, а детей и пасынков — «третьей волны» эмиграции. Весь ее цвет проследовал мимо, прикнули только послушные. От цирковых дрессировщиков знаю, что, к сожалению, как раз те пантеры и тигры, которые царапаются и кусаются, они-то и есть «артисты». «Третья волна» оказалась и непокорнее, чем ожидалось, и соответственно талантливее, энергичнее, профессиональнее и знает Россию. Никак не укладывается она в те рамки, что составились у них сорок лет назад. Так вот и ждали меня, как потом выяснилось, — на укрепление клана.

Простецки улыбчивый, мягко стелющийся А.Н. Артемов все чаще приговаривал: «Вот когда вы вступите в НТС... Вот когда вы наш будете, как Галич...» В конце концов я заявил, что никогда ни в какую партию не вступлю, партийное мышление противопоказано писателю, да и что оно такое — партийное мышление? Это — с понедельника всем считать белое черным, а красное — серо-буро-малиновым? потому что — инструкция вышла, генсек решил?

Мудрый Романыч согласился: «Вы совершенно правы». И совсем подкупило, когда он сказал: «У вас — полный карт-бланш. С нашей стороны — три условия, точнее — пожелания. Чтоб не было фобий: русофобии, юдофобии... Второе — чтоб «Грани» не стали ареной счетов и эмигрантских склок. Ну, и чтоб не было критики НТС». Собственно, первые два — никакие не условия, они — из кодекса интеллигента, третье же — на редкость привлекательно, я не хотел даже упоминания НТС — помня, чем это грозит авторам в СССР.

Но вскоре — как говорится, «мягко, но твердо» — мне предложили в ответственные секретари влиятельную даму из клана, чуть не хозяйку его, «матку пчелиного улья» — в качестве Фурманова при Чапаеве (не называю ее, так как пришлось бы раскрыть ее псевдоним — М. Рубцова). В первые же дни она меня информировала, что «богомерзкий Лев Толстой за все свои дела (?) сейчас в аду лижет сковороды». Такая, значит, сотрудница. Комиссарствовала она неукротимо: «Ведь это мы не печатаем, не правда ли». Вопросительного знака в ее интонации не слышалось. Зато как грозно он вырос, когда я предложил главы из нового романа «Континенту» (в «конкурирующий журнал!»): «А вы об этом сообщили Романычу?!» Ей не стукнуло в голову, что, пересылая в «Посев» из России «Верного Руслана», я не испрашивал разрешения ЦК КПСС. Сказывают, в годы былые эта дама, теперь пенсионерка, «свергала кабинеты». Должно быть, то были не чересчур сильные кабинеты, если падали от интриг дамы, катастрофически не разбирающейся в людях. С чего-то ей показалось, что мною легко управлять (это не казалось Союзу писателей СССР); когда я упрямился, она раздражалась и насылала на меня Артемова или Романыча — увещевать. Обиженным авторам она отвечала по-ленински: «Не ошибается тот, кто ничего не делает... Обидно, когда что-то прозеываешь, но не вешаться же!» С последним я был совершенно согласен, а все же попросил г-жу Фурманову уйти из «Граней» — за полной ее профне-

пригодностью. Романыч и на это пошел. Но роковой шаг был сделан. Я потревожил клан. Хуже того — разочаровал его. И клан — зашевелился.

Следующий мой номер, при новом секретаре, не мог выйти полгода. Опоздания сделались хроническими и прогрессировали, хотя все материалы сдавались по графику. Сейчас, в июне, когда пишу это, выходит лишь 139-й, первый номер года. Не таким ли способом советская цензура в годы Твардовского сбивала подписку на «Новый мир»? Сама картотека подписчиков — число их? профессия? возраст? страна проживания? — глухая тайна для меня, как многое в этом причудливом заведении, как бюджет «Граней» и штат сотрудников, как полагающаяся им зарплата и отпускные дни. Естественно, при смене редактора меняются и читатели, но если о новых ему знать не дано, то уж посыпавшиеся вдруг, как по команде, отказы (да, может, именно по команде) исправно кладутся ему на стол: «Ваш русскоязычный листок я не желаю больше видеть в своем почтовом ящике. Объяснять Вам, почему данный листок является плевок в русскую православную душу, я надеюсь, излишне» (Елена Ванина, член НТС). Соккрытие от меня рукописей, перехват читательских писем, содержащих похвалу журналу, анонимки, подбрасываемые под Новый год вместо поздравления, — кажется, чем еще выразить редактору, что пришелся «не ко двору»? Почему же нечем? Можно и саму комнату «Граней» запереть на ключ и не пускать заведующую редакцией, чтобы ни я к ней, ни авторы не могли дозвониться.

Совершил ли я ошибку, не поискав «худого мира» вместо «доброй ссоры»? Может быть. Но вот что бывает, когда такой ошибки не делают, а дают сесть себе на голову, вот о чем за год до моего приезда писала Романычу перед уходом (в монастырь!) несчастная затравленная Тарасова, отдавшая «Граням» три десятилетия жизни:

«Что касается... состояния моего здоровья, то оно сильно ухудшилось. И не только из-за общего старения,

но и в связи с тяжелой рабочей обстановкой, которая складывалась постепенно и теперь дошла до кульминации.

Многочисленные поиски нового главного редактора для «Граней» без моего ведома и при том, что я не собиралась в то время оставлять журнал; постоянное вмешательство в редакционные дела нечленов редакции; принятие без моего ведома новых рукописей в «Грани» нечленами редакции; кардинальные переделывания... не только подготовленного мною для набора материала, но уже и набранного — тоже без моего ведома; наложение запрета на принятые редакцией рукописи — по всем разделам «Граней»; клевета, распространяемая обо мне как о редакторе председателем НТС А.Н. Артемовым... грубое вмешательство в мою редакционную переписку — распоряжение Н.Б. Жданова не передавать адресованное мне письмо...»

Самое трагичное тут, — но и пикантное! — что плачется она в жилетку тому, кто всем ансамблем и дирижировал, при главном аккомпаниаторе — г-же Фурмановой. Помните? — «чужими руками...».

Между тем все это уже и на меня надвигалось неотвратимо. Как ни следили я и мои помощники, но ушла в набор без моего ведома рецензия на «Ярмарку в Сокольниках» Ф. Незнанского (тоже член НТС). Маленькая случайность — неведомый рецензент подписался кокетливо латинскими инициалами «L. N.» — озадачила наборщицу, и она позвонила мне — так ли и набирать? Рецензию извлекли; она меня поразила не только своей беспомощностью, чудовишной грамматикой и безудержными комплиментами «писательскому дару» г-на Незнанского, но и такими вот блестками мысли:

«Частный, не типичный случай отношений правоохранительных органов обнаруживает конструктивные, нравственно положительные силы, действующие почти на всех уровнях власти» (в СССР!! Но почему же — «почти»? — Г. В.).

«В романе возникает и властно захватывает позиция добра, возникает ярко очерченная этическая граница (?),

как сущность той культуры (?), оторвать от которой (кого? что? от жилетки рукава? — Г. В.) так и не смогла советская власть».

«Нет обстоятельств, при которых нельзя было бы сделать доброе дело» (вызволить Сахарова из ссылки? избавить афганцев от «братской помощи»? — Г. В.).

Что это было — подвох редактору? Или — истинное кредо, которое хотели за моей подписью высказать? И кто эту ахинею заслал в набор? Как говорится — «с концами».

Но дальше пошло «крещендо». Стало ясно, что ничего за моей спиной сделать не удастся, за любой вставкой или вычерком я услежу; их требование сдавать весь номер целиком (и только директору Жданову) — нелепое, непрофессиональное, не способствующее ни качеству журнала, ни выходу его в срок, — я тоже разгадал: так удобнее тайному цензору, не бегать же ему в типографию за каждым материалом по отдельности. Наконец, и тон их писем ко мне переменялся: «Как в общественном сознании, так и практически, «Грани» неизбежно останутся журналом НТС... Делать «Грани» возможно только совместно с НТС и в опоре на него». Вот это и называлось — «ваш журнал», это и называлось — «карт-бланш».

Третьего июня, с наивностью «небитого фрея» я предложил им: «До НТС мне дела нет, прошу только об одном — *не мешайте мне делать журнал «Грани»*. Вот единственный приемлемый компромисс с вами». Но встречно, датированное тем же днем, уже шло их письмо, объявляющее мне отставку: «Остается лишь искренне пожалеть, что Вы сочли возможным занять в отношении НТС столь нелояльную позицию».

Время подвести итоги. Из тех, кто дал себе труд вчитаться в программу «солидаристов», одни в ней находят непереваренный марксизм, другие — считают ее устаревшей. Это не так, она все-таки обновляется, вот уже поставлен крест на правозащитном движении, которому так недавно присягали в верности; оно «исчерпало себя бесперспективностью... не сумели перейти к иным

методам борьбы», как пишет В. Рыбаков в № 6 «Посева», с той суровой решимостью, с какой он, вероятно, кидался, обвешанный гранатами, под машину тирана Брежнева; ищут теперь опоры «в конструктивных силах правящего слоя», то есть номенклатуры, не мучая себя вопросом — хочет ли она опоры на НТС. Но, по мне, программа любой партии, покуда она не у власти, гроша не стоит. Большевики нам не обещали ГУЛАГа и 66 миллионов жертв. И какая же партия не напишет на своем знамени что-нибудь приятное и возвышенное? Это ведь только морские пираты честно предупреждали о последствиях, поднимая черный флаг с черепом и костями. Нужно не в программу смотреть, а на то, каковы они сами.

Что толку обещать демократию, когда ею не пахнет на Флуршайдевег, 15, во Франкфурте, где упомянутый зять рывкает на подчиненных, не исключая пожилых женщин, топает ногами и шваркает дверью, и трепещущие сотрудники, придя на работу, не о новостях из России осведомляются, а — в каком сегодня настроении Николай Борисыч. Хуже не придумаешь сочетания — советского бюрократизма с семейным предприятием. Что толку обещать отмену цензуры, когда у самих, живущих в свободном мире, она учреждена и материал за моей подписью не примет типография без директорской «Ж» на каждой странице; когда иной Тамиздат здесь под запретом — «не рекомендуется», к примеру, Саша Соколов, а за чтение Н. Решетовской или Д. Панина можно из партии вылететь и с работы. Что толку обещать «свободное развитие наций и народностей», когда в тех же брошюрках пишут: «русское дело может сделаться только русскими руками» (куда только отнесем Редлихов, Раров, Бонафедэ, Брюно, Брудерера, Ламздорфа, баронессу фон Кнорринг?), и ведут учет, сколько печатается в «Гранях» евреев и полуевреев.

Называют себя «духовными наследниками власовцев», «третьей силы», сражавшейся «против Сталина и Гитлера». Против Сталина — да, против Гитлера — тоже

бесспорно, помогли восставшей Праге. Но не примут поздравлений с 9 Мая — «это не наш праздник». Это как прийти на похороны и поздравить покойника с днем рождения. Почему ж так? Ведь все же — кончилась кровавейшая война, и одним вселенским злодеем, одним тоталитаризмом стало меньше на земле. А что другой укрепился при этом, расширил свои владения — да, печально, горестно, и тем не менее, сознавая это, миллионы моих соотечественников отмечают в этот день *свою* победу, даже и те многие, кого не вытащишь на демонстрацию 7 ноября, действительно черный праздник России. Для «солидаристов», стремящихся задним числом «перевоевать» войну (в СССР тоже немало таких охотников, только с обратным знаком), это не довод. Их концепция войны проста, как помидор: весь народ встречал оккупантов хлебом-солью, и только немецкие зверства подогрели сопротивление, организованное чекистами. Отставили Москву и Сталинград, взламывали Курскую дугу и брали Берлин — «обманутые пропагандой». Толстовская «теплота патриотизма» — не из этого лексикона...

Вот странно: мое поколение, в большинстве с тяжелым военным детством, готово понять трагедию власовцев — стрелявших, между прочим, не в Сталина, а в наших отцов и братьев! — готово и к Белому движению отнестись непредвзято, даже сочувственно, но тщетно нам ждать ответной готовности — понять и другую сторону выбора. Трагедия генерала Свечина или командарма 2-й Конной Миронова, пусть и того же Тухачевского, трагедия 30 тысяч царских офицеров и генералов, пошедших служить в Красную Армию, — это не тема для размышлений, это закрыто, другие персонажи истории волнуют воображение «солидаристов». Вот читаю в №2 «Посева» рецензию В. Ламздорфа, замечательную в своем роде, восстанавливающую добрую память — кого же? — генерала Охранного отделения Герасимова и провокатора Евно Азефа. Этот совсем душка был, выданных им — жалел, просил не вешать. «И постепенно читатель, — уверен наш

рецензент, — проникается уважением к этому умному и храброму человеку, рисковавшему жизнью в течение долгих лет, чтобы удержать Россию от крайностей...» Ладно, это положительный герой, кто же — отрицательный? По В. Рыбакову (тот же «Посев» № 6), «сталинский кинематографический сатрап» (!) Михаил Ромм, автор «Обыкновенного фашизма», любимый учитель Андрея Тарковского, Василия Шукшина, человек, показавший нам пока что самый высокий пример самораскаяния. Отчего предпочтительней для «Посева» облик двойного агента, не берусь сказать, но нужно же было — дойти до апологии стукачества и виселицы для революционеров, о которой не могли молчать Толстой, Короленко, Куприн, Леонид Андреев! К 1000-летию Крещения Руси следует, видимо, ждать реабилитации попа Гапона. Да, наконец, и Павлика Морозова почему опять не восславить, ведь цель великую имел паренек, а к средствам, как нас убедил г-н Ламздорф, постепенно проникнуты уважением. Не вспомним ли знаменитое: все нравственно, что ведет к нашей победе. И начинай все сначала...

К счастью, ничего этого не случится. Не ждут их в России, и не так уж тянет их туда. Это попросту «участок работы», а могла быть Ангола или Камбоджа. А по склонности большинства людей преувеличивать значение своей деятельности они тешат себя, что нынче НТС и популярнее в России, и многочисленнее, и лучше вооружен теоретически, чем были большевики в 1907—1908 годах, в «период шатания и разброда» (а что нет пока Льва Давидовича Бронштейна-Троцкого и Владимира Ильича Ульянова-Ленина, так выдвинутся еще, взрастим в своем коллективе!). Их послушать, так вся Совдепия пронизана «молекулярной сетью», в тайном членстве состоят и рабочие, перекидывающие брошюрку «солидаристов» от станка к станку (живо представим себе: от сверлильного к токарному, а от него к фрезерному), и колхозники, ловящие листовку с неба и тут же вступающие «самоприемом» в НТС (понадеемся, что без помехи для посевной); есть даже

целый город, так густо населенный энтээсовцами, что хоть завтра восстание поднимай (и не спросишь — какой же город? какой хотя бы области? это же дураку ясно — конспирация!). Многого тут хвачено через край, но для иных мозгов — хорошая пудра. И сами они, наверное, не врут, похваляясь, что деньги на их борьбу поступают из 19-ти стран. Потому-то, когда какой-нибудь Валентинов или Татьянин (публицисты из КГБ любят брать в псевдонимы имена своих жен) громит их в «Неделе» «Известий», под рубрикой «За кулисами диверсии», это — именины сердца, в такие дни копировальный аппарат дымится от перегрева, ксерокопии перепархивают из комнаты в комнату, и виновники торжества, раскрасневшиеся от гордости, размахивают ими, как еще не привинченными орденами. Ведь это — сертификат, оправдание их работы, да и жизни самой. Все те же Ильф и Петров, «Союз Меча и Орала», бессмертные «Рога и копыта»!..

Говорят об инфильтрации НТС гэбистами. Вероятно, не без этого; был случай, когда за моим другом в Москве, которого благополучно посетил курьер, тотчас после этого установили слежку. А он человек стреляный, ошибиться не мог. Я попросил более никого к моим друзьям не посылать — и это мне тоже зачислили в «нелояльность». Но, сдается мне, и самый вопрос об инфильтрации становится как бы излишним: своя же новейшая установка «солидаристов» — пристроиться в ногу советской номенклатуре («конструктивные, нравственно положительные силы, действующие почти на всех уровнях власти») — набрасывает на них такую смиренную рубашку, какую не могло бы изобрести самое хитроумное управление Лубянки.

Я полагаю, единственная и бесспорная заслуга НТС, да и того же Е.Р. Романова, что в труднейших условиях они основали издательство и журналы, печатали наш художественный и публицистический Самиздат, многих из нас — и самых разных — в пору «похолодания» поддерживали, не дали нам заглухнуть. Никогда не забывая об этом, я и пытался сделать «Грани» — и надеюсь, 10 выпущенных

Георгий Владимов. Бремя свободы

мною номеров доказывают мои усилия — центром, объединяющим российских авторов по цензу таланта и мысли, всех, имеющих что сказать, независимо от партийных влечений и установок. Этого хозяева НТС не потерпели. Своей кастовой природы наши «солидаристы» преодолеть не смогли. «В области духа и идей... — помните? — интересов нет». И поскольку это так, политически они — битая карта. Никаких надежд Россия с ними связывать не может.

К счастью, и «Грани» и «Посев» — давно не единственное, и даже не основное, прибежище свободной литературы. Поэтому вынужденный мой уход — ни для меня не трагедия, ни для моих авторов. Но надвигающуюся трагедию самого НТС вскоре придется ему осознать.

*Георгий Владимов
Нидернхаузен, Зап. Германия
12 июня 1986 г.*

Континент. 1986. № 48
Грани. 1986. № 140
Панорама. 1986. № 273

НУЖНА «ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА»

Интервью журналу «Форум»

— *Георгий Николаевич, три с половиной года назад вы были вынуждены покинуть Советский Союз из-за преследований КГБ. Но ваше решение эмигрировать было, по-видимому, связано и с литературными планами. Еще на родине начали вы писать роман «Генерал и его армия». Здесь, в журналах «Континент» и «Грани», были опубликованы отдельные главы. Как возник замысел романа? Почему вы обратились к теме Второй мировой войны?*

— Тема той далекой войны еще не остыла, и концепция ее не утвердилась. Я вообще думаю, что темы войны и ГУЛАГа перешагнут порог века, то есть и там будут волновать и задавать вопросы. Но прежде я хочу подчеркнуть, что не связывал свой выезд с литературными планами. Писать свободно можно где угодно, и какое-то время мне это удавалось. Просто есть какие-то приемы, которые подпольный писатель должен знать. Наоборот, на Западе о России труднее пишется, оскудевает источник раздражения, который питал двигатели, внимание переключается на другое — на адаптацию к новой жизни. Это, в общем, нездорово для русского писателя, а никакими друзьями нам уже не стать — ни американскими, ни немецкими, ни английскими. Хотя делаются такие попытки, и заявле-

ния такого рода мы слышали — скажем, от Василия Аксенова. Но он все-таки остается русским писателем в Америке, а не американским...

— *А случай Набокова?*

— Набоков, если не ошибаюсь, выехал в 19 лет, свободно владея английским. Стихия языка очень много значит, а у него их было две. Для нас же, если и выучим сносно иностранный язык, стихией, в которой мы можем плавать, дышать, — остается родной, русский. И замыслы остаются — русские. Роман был задуман и начат там, здесь я его только завершаю. У меня так сложилось, что в молодости я зарабатывал деньги писанием книг за генералов. Тогда Воениздат затеял огромную серию «Военные мемуары», где всем боевым генералам дали высказаться. Я думаю, эта серия была предназначена не для раскрытия правды, а для сокрытия ее. Все, что у генералов накопилось, о чем они жаждали рассказать, все это постарались «канализировать», бушующее море заключить в цензурные берега. Ну, и поскольку сами генералы с пером не в ладах, приставили к ним литературных костоправов — из молодых писателей, критиков, журналистов. Так и мне довелось написать две книги за генералов. То есть они рассказывали, а я — «художественно оформлял». Конечно, рассказывалось в десять раз больше и в сто раз интереснее, чем попадало в книгу. Но, случалось, едва я хватался за карандаш, мои генералы бледнели: «Что вы, это не для записи! Это так, между прочим...» Они прежде всего сами себе стали цензорами. Бездну любопытного нарасказал мне и Петро Григорьевич Григоренко, но в его книгу, к моему удивлению, многое не вошло — тем более я озабочен, чтоб это не пропало. Можно и из самой серии кое-что извлечь — если читать и особенно обращать внимание на те места, где генералы сводят друг с другом поздние счеты: кто-то кого-то подвел, не обеспечил прикрытие фланга, присвоил чужой успех и т. п. Вот тут мы улавливаем обрывки истины — из этих перекрестных обвинений.

Работа, конечно, кропотливая. А гигантский военный архив, который находится в Подольске, недалеко от Москвы, практически закрыт для писателя. Требуется специальный «допуск». Для освежения памяти моим «авторам» нужны были документы, поэтому Воениздат выписывал нам пропуска — конечно, разовые — на какой-то определенный сейф. А любой из них — это клад. В особенности — материалы военной прокуратуры, трибуналов, донесения политотделов, «Смерша», кляузы «особистов». Но вы не можете это сфотографировать или переписать в блокнот, на все требуется обоснование — зачем это вам, почему интересуется...

— *Там есть и немецкие архивные материалы?*

— Да, то, что захвачено в виде трофея и пограблено в архивах самой Германии. В общем, там все есть, чтобы восстановить полную картину войны. Но приходится работать в условиях, в каких обычно работает кинематографист — каждый отснятый кусок он должен показывать. И ваша работа может прерваться на любом этапе — если кому-то покажется, что вы идете «не в ту сторону».

— *Но тем не менее у вас, чувствуется, накоплен большой материал.*

— В основном, от моих «авторов». Но они еще встречались друг с другом при мне, что-то совместно вспоминали, уточняли. Из этих-то рассказов, «сольных» и «хоровых», и выплыл сюжет, который мне кажется интересным и в каком-то смысле новым взглядом на войну — не на всю, конечно, но на какую-то часть ее. Надо признать, что советская литература в общем достаточно выразила солдатскую правду войны, офицерскую правду — ведь авторы были на войне младшими офицерами, как Некрасов, Бакланов, Бондарев, Быков. А вот генеральская правда и была «канализирована» Воениздатом или отдана на откуп таким писателям, как Симонов, Стаднюк, Чаков-

ский, — эти люди правду ценят на вес золота, поэтому особенно ею не разбрасываются. Клубки всевозможных интриг, которые сопровождали буквально каждую операцию, до сих нор не размотаны. Цензура к офицерской правде или к солдатской все-таки снисходительнее. Потому что тяжесть войны, ее грязь, кровь, пот, увечья, смерти — этого не обойдешь, без этого не будет и лживой книги, никакой. Но когда речь заходит о многих тысячах людей, напрасно загубленных, о том, во что обходится генеральское или маршальское честолюбие, чванство, бессовестность, дурь, профессиональная необразованность, — тут цензура начеку. Об этом разрешается говорить проверенным товарищам, о ком заранее известно — они эти большие вопросы обойдут.

— *Какой же эпизод войны вы исследуете?*

— Именно эпизод. Вторых «Войны и мира» мы не дождемся, масштабы были таковы, что не уместятся ни в какие тома. Я взял одну лишь операцию, из которой видно, что такое вообще операция, как она строится, какое в ней бывает столкновение интересов, страстей, честолюбий, оплачиваемых всегда чужой и притом большой кровью. Показательна в этом смысле Киевская операция, то есть освобождение Киева осенью 43-го года. Там была сложная история с двумя плацдармами, из которых один был заведомо не нужен. Масштаб был грандиозный, а сколько участвовало исторических лиц: Жуков, Ватутин, Хрущев, Черняховский, Москаленко, Рыбалко...

— *Судя по всему, это была и одна из самых кровавых операций войны.*

— Вот лишь одна страница этой истории: там впервые был применен массовый воздушный десант в составе нескольких бригад. Люди, с полной выкладкой, падали в воды Днепра или сыпались на немецкие походные колонны — и их расстреливали еще в воздухе. В лучшем случае

ветром относило к своим — и нужно было еще доказать, что ты это не устроил нарочно, не бежал из боя. Вообще много было сложностей. Дело в том, что Киев — самый большой город, который был отдан немцам. Это и самый большой приз, который мог достаться счастливчику-командарму. Можно себе представить, какая драка шла — кто будет брать? кому поручат? И вот, пока возились на южном, Букринском, плацдарме, месили там глину и заполняли овраги гниющими телами, негромкий, не обремененный наградами генерал Чибисов спокойно захватил плацдарм севернее Киева, у села Лютеж, и чуть было не взял Киев. Но уж до этого его не допустили! Кажется, это был единственный случай, когда командарма сняли за успех. Но нельзя же было не снять его — ведь он оказался чуть не в десяти километрах от города. В какое положение он поставил Жукова, Ватутина, Хрущева!..

— *Этот генерал Чибисов — прототип героя в вашем романе?*

— Я беру только его ситуацию, но не его самого. Мой генерал, конечно, собирательный. Хотя фамилия похожая — Кобрисов, я ее выудил там же, в Подольском архиве, из сводок. Кстати, фамилия оказалась главным недостатком генерала Чибисова. Было решено, что Киев, столицу Украины, должен брать командарм-украинец — Москаленко. Армию Чибисова отдали ему, и он с нею прошел последние километры. Это был истинный представитель сталинской полководческой школы, людей он за войну положил, сколько ни один другой генерал, за что и назывался — «командарм наступления». Это значит, единственная тактика: «Вперед!». Никаких этих мерихлюндий — обходов, рокировок, тактических отступлений, только «Вперед!». Ну, под Киевом и вовсе незачем было голову ломать насчет потерь. Ведь задача была — не просто взять его, но к седьмому ноября. Так вот, чтоб советский народ обрадовать к празднику, здесь его, этот народ, не жалели...

— *Может быть, вот эта готовность идти на лишние жертвы ради какой-то там даты — это специфика не только нашей политической системы? Ведь и на Западе были операции, нужные только для того, чтобы удовлетворить честолюбие какого-то генерала или поднять национальный престиж. Взятие Парижа, например. Может, это вообще специфика войн?*

— Я думаю, так, как в советской армии, это не проявлялось нигде. Вот я ввожу эпизод с Гудерианом — в главе, опубликованной в «Гранях». Любопытно, что первый приказ об отступлении был отдан грозным Гудерианом, истоптавшим гусеницами пол-Европы, мастером, виртуозом наступательных операций. Свое решение он принял в доме Толстого, в Ясной Поляне, где находился двадцать шесть дней, — может быть, самый дух этого дома повлиял, не знаю. И на следующий день, не зная об этом, другой генерал, Андрей Власов, принял решение наступать под Москвой, любой ценой наступать. Почему-то никто из историков не отметил этого совпадения. Но меня больше интересует здесь — противопоставление...

— *...которого я пока не вижу. Ведь они оба служат в армиях тоталитарных стран. Служат верой и правдой.*

— И все же закваска Гудериана, или «ментальность», западная, стало быть — «гнилая». Его отношение к личности солдата, к армии — христианское, у Власова же — типично советское. Гудериан позволил себе задуматься о людях — как им тяжело, холодно, страшно, — и в этот момент, поддавшись человеческим чувствам, он терпит поражение. Власов же, не задумываясь, бросает в пекло только что прибывших людей, уставших с дороги, не подготовленных душевно, да и не к нему направлявшихся, — и выигрывает. Однако война тем еще чудовищна, что в ней не выигрывает никто. То есть ты можешь выиграть, но останешься ли человеком? И наоборот, оставшись им — не проиграешь ли?

— *Что вы думаете о Власове вообще? Советская пропаганда рисует его предателем, негодяем, здесь же он для многих — национальный герой.*

— Писатель постигает человека, описывая его. Чтобы разобраться во Власове, я думал изобразить его в нескольких эпизодах, но вдруг почувствовал, что мой интерес к нему, по-видимому, исчерпан в одном этом эпизоде. Когда я сформулировал, что «минута его решимости и час безволия определили судьбу Москвы», мне стало ясно, каков он будет дальше во всем. Это человек момента. В нем были свойства, ценные для генерала, — авантюризм, дерзость, находчивость. Но он человек минуты, а не часа.

— *Я немного о другом — не о характере, не о личности Власова, а о нем как о руководителе «Третьей силы».*

— Я к этому и веду. Он под влиянием момента принял бремя руководителя «Третьей силы», заведомо неподъемное для него. Составить армию из военнопленных — замысел, достойный Спартака. Но того, наверно, не волновало, во что одеть своих гладиаторов; в позднейшие века форма сделалась вопросом нравственным. Это не просто прикрытие наготы, тут идеология, тут и национальный дух. Так вот, форма оказалась — немецкая, гитлеровская. Не случайно сам Власов от всякой униформы отказался, носил что-то неопределенное. Ну, а солдаты и офицеры были в немецком. Единственное отличие — нашивка с геральдическим щитом, с надписью «РОА», с цветами андреевского флага, — было утверждено г-ном Розенбергом. Итак, ты поставил свою армию под знамена врага, назовем вещи их именами. Вот первое испытание, которого Власову было не преодолеть. Отсюда — погружение в апатию, метания, питье, паралич воли. Но не забудем и его мученическую кончину, истинно генеральскую — он не отрекся от своего войска, не покался, не «раскололся»...

— Ну, а сама идея «Третьей силы» в этой ситуации — в войне с Гитлером, против которого вместе с Советским Союзом были и западные демократии, — возможна ли и нужна ли она была?

— К сожалению, не спросили воюющий народ, как он к ней отнесется. А он отнесся так, что с власовцами, попадавшими в плен, расправлялись с большей ненавистью, чем даже с эсэсовцами. Поздно, а потому и безнадежно было создавать эту «Третью силу» после Сталинграда, после Курской дуги, когда война уже повернула на победу, когда вся армия валом валила на запад и только одного хотела — скорее очистить землю от оккупантов. Вспомним толстовскую мысль, что война движется по законам, которые сама создает, и бессмысленно, самоубийственно противостоять этому движению.

— Эту мысль можно и расширить. На Западе, в эмиграции, иногда говорят, что это была война Сталина против Гитлера. Вероятно, вначале, когда войну планировали и развязывали политики, это и было так. Но, по Толстому, война против захватчиков создает свои законы и на каком-то этапе она неизбежно превращается в войну народную. Так и эта война превратилась в Отечественную, в народную войну против Гитлера — и не по воле Сталина, а сама по себе. В своем «Необходимом объяснении» вы сказали — и я согласен с вами, — что миллионы наших соотечественников 9 Мая отмечают свою победу, а не победу Сталина. Но вот вас упрекнули: Владимирова возмущает, что эмигранты не празднуют День Победы.

— Уточним: не эмигранты, а НТС, так сказано в их «Вынужденном ответе»*. Меня не возмущает, меня удивляет: если вы были «Третья сила», то есть ни то ни се, но «вместе с народом нашим», как оно провозглашается в ваших манифестах, так отчего же это не ваша победа,

* «Грани». №140.

если возлюбленный вами народ хотел ее и добился? А что — как они вопрошают — «думали об этом миллионы заключенных в сталинских лагерях... что думали жертвы «Смерша»... что думает поработанная Европа»... Да что бы ни думали, но вряд ли поражение Гитлера было для них самым большим огорчением. Декабристы хотя и выступили против своего царя, но и на каторге не переставали гордиться, что изгнали узурпатора Бонапарта. Впрочем, сдается мне, этот «Вынужденный ответ» писан Романовым, бывшим редактором газеты в Днепропетровске, основанной с разрешения немецких оккупационных властей. Едва ли его газета претендовала на особое мнение, отличное от мнения г-на коменданта. Едва ли она призывала читателей к превращению войны в народную. Едва ли даже заикалась о какой-то там «Третьей силе». Тогда все верно — это и впрямь не их праздник.

— Мы приходим к тому, что власовская «Третья сила» реально была лишь частью одной из двух сил — нацистской Германии. А энтээсовцы были идеологами власовского движения. Какую же идеологию они в это движение несли? Еще в тридцатые годы они себя объявляли противниками демократии и ратовали за «третью форму» — антидемократическую и антикоммунистическую, подобную в чем-то «солидаризму» итальянского фашизма.

— Ну, мы с моим генералом — я говорю о романе — в идеологические дебри не забираемся. Просто в той операции, что я описываю, был так называемый «Восточный вал», где немцы использовали русские соединения, батальоны. Они обороняли днепровские кручи. И перед генералом встает проблема: если эти батальоны окажутся у него в плену, кем он тогда будет для своих соотечественников — палачом? А он не может думать об этом, как любой другой советский генерал, то есть вовсе не думать. Он, Кобрисов, и сам был жертвою сталинских репрессий, затем, под Москвою, именно Власов своим наступлением спас его от гибели или от плена. Поэтому об этих несчаст-

ных русских Кобрисов думает нетривиально, он понимает их трагедию. Он спрашивает себя, можно ли их назвать изменниками или само это слово теряет смысл из-за массовости явления. Этого вопроса он так и не решает, но сами подобные раздумья опасны, они ведут к проигрышу.

— *У Солженицына в «Архипелаге», в тех главах, что писались еще в Союзе, власовское движение представлено как трагедия сотен тысяч людей. А в части пятой, говоря о власовцах и им подобных, Солженицын меняет ракурс, откровенно принимает сторону этого движения. Теперь это уже — героическое сопротивление сталинскому режиму. Для многих, для большинства — это была личная трагедия. Их можно понять, им сочувствуешь. Но идеология этого движения, на мой взгляд, ошибочна и даже преступна.*

— Солженицын говорит, что плох был бы народ, если б не сделал попытки хоть издали погрозить батьке Сталину оружием. Но вся беда, что ни сам батько, ни его сподвижники не имели обыкновения ходить в штыковые атаки. И добраться до них невозможно иначе, как перебив энное число своих же неповинных соотечественников. В этом трагедия любого антиправительственного движения, трагедия гражданской войны.

— *Гражданская война идет между различными внутри-национальными силами, власовцы же вынуждены были воевать на стороне чужеземной и, главное, античеловеческой силы.*

— Вполне ли они понимали это «главное», то есть с кем они имели дело, и, прежде всего, сам Власов? Понятно, что, ища поддержки для формирования РОА, он должен был встретиться с кем-нибудь из высших чинов рейха. Но с кем же он встречается — с Гиммлером, рейхсфюрером СС! И вот его впечатления: «...думал увидеть кровожадного чекиста вроде Берии... а встретил типичного буржуа. Спокойного и даже скромного... Он из дерев-

ни, а значит, как я, крестьянин. Любит животных...»* Просто уши вянут!

Разумеется, ничего из этой встречи не вышло, она лишь скомпрометировала Власова в глазах немцев, как и встречи с Геббельсом, Розенбергом, Леем, фон Ширахом и другими будущими «героями Нюрнберга». А между тем был в Германии человек, и могущественный человек, в ком «Третья сила» встретила бы понимание и поддержку. Это был все тот же Гудериан, в то время — начальник Генерального штаба сухопутных сил, фактически главный организатор обороны Германии. Власов с ним дважды встречался на полях боев — когда выводил свою 37-ю армию из Киевского котла и в генеральском их поединке под Москвой; по исторической идее должна была бы состояться и третья встреча — личная. Да и естественно было Власову обратиться теперь к нему — как генерал к генералу. Но он даже не искал этой встречи, предпочел жандарма, скромного любителя животных, а также и газовых камер Освенцима. Гудериан же только в американском плену узнал с удивлением, что была такая — «Третья сила».

Почему об этой «невстрече» они бы оба могли пожалеть? У Гудериана, близкого к «людям 20 июля», был план, значение которого мы могли бы сегодня оценить: он хотел открыть фронты американцам, англичанам, французам, а все немецкие силы бросить на Восточный фронт, чтоб не пустить Советы в Европу. Вот в этом случае «Третья сила» имела бы хоть какое-то историческое оправдание, если бы даже и сражалась бок о бок с вчерашним врагом. Вспомним опять же Толстого, что народная война была лишь до границы России, а дальше пошла война политическая. Чувство народного возмущения и мести было бы вполне удовлетворено изгнанием Наполеона, незачем было его преследовать до Парижа, он пал бы и сам после неудачи вторжения. Точно так же пал бы

* Штрик-Штрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1975.

и Гитлер, его сверг бы сам германский народ при поддержке других европейских народов, но уже бы никто не делал из него мученика и героя. Вся картина итогов Второй мировой войны была бы иная.

НТС заявляет о своем влиянии, о руководстве власовским движением. Вот их влияние и руководство: неразборчивость в людях и средствах и поразительная некомпетентность. Познакомясь с этими людьми, я увидел, что они и сегодня не в состоянии подняться до той мысли, которая владела немецким генералом еще в 1944 году.

— *Хочу немного отклониться в сторону. Вы как-то говорили о наличии «военной партии» в Советском Союзе. Вы, вероятно, хорошо знаете эту среду — среду профессиональных военных, генералов. Знаете их настроения. Я, честно говоря, совсем не верю в эту силу как в силу преобразующую, конструктивную.*

— Генералы бывают разные — взять того же Григоренко, самую неожиданную фигуру Демократического движения. Они вообще люди неожиданные. Быть неожиданным входит в их профессию. Но она неотделима от военной ситуации. Если война в Афганистане еще продлится, и так же неудачно, она может выдвинуть амбициозного генерала, который захочет полномочий и будет поддержан коллегами и армией. Итак, нужна ситуация — популярная война, она есть. И нужен генерал, от которого, кстати, и не потребуются роли преобразующей, конструктивной, а только чтоб он обеспечил порядок. Все остальное сделают другие, демократические, силы.

Такого героя делает обычно удачная операция в неудачной войне. Как «солдатских императоров» в Риме, как Бонапарта, как Брусилова или Троцкого. Важен ореол «спасителя» и чтоб у него хватило амбиции. Как прозаик я касаюсь и этого вопроса — в ситуации 1941 года, когда война еще не стала народной, то есть популярной, осознаваемой всей нацией как дело каждого, и когда еще могла удалась идея «Третьей силы», но — я это осо-

бо подчеркиваю — на *своей* земле и в *своей* воинской форме. Генерал со своей дивизией отступает от самой границы к Москве, они переходят из одного окружения в другое, но дивизия не редет, а, напротив, благодаря его умению и воле обрастает людьми — потерявшими свои части окруженцами, которые хотят примкнуть к какой-то силе. И вскоре он оказывается во главе целой армии, способной на самостоятельные операции, с которой и немцы начинают считаться, предпочитают держаться поодаль. Люди лишены информации, им кажется, что они сейчас и есть — РОССИЯ, все остальное — погребено, предано бездарной властью. И возникает идея — идти на Москву, захватить Кремль, сместить правительство.

— *И вести войну против Гитлера?*

— Это главная цель. Захватить ключевые посты, чтобы организовать оборону.

— *Сомнительно, чтобы им удалось организовать в военное время всю страну.*

— Тогда это не казалось сомнительным, такие настроения были. И потом, если удалось Берии с Маленковым, почему бы не могло удалиться энергичным, толковым командирам во главе с опытным полководцем? Останавливают их не эти сомнения, а то, что прежде они должны взломать слабенькую оборону, что уже налаживалась на подступах к Москве, перебить своих соотечественников, таких же солдат или ополченцев...

— *И помочь Гитлеру в этот момент ворваться в Москву.*

— Не в этом дело. Этого они бы как-нибудь избежали. Это уже тактический вопрос. Главное в том, что идея «Третьей силы» себя уже исчерпала к осени 41-го года. Они поняли, что силы — две. И третьего — не дано.

Любопытно, что Власов, герой зимней Московской битвы, остался с этими настроениями лета 41-го года еще и в 43-м, и в 44-м, когда война уже перевалила некий хребет, грядущая пошла по своим законам — в сторону победы. Помните его знаменитое заявление, что он закончит войну по телефону? То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, еще каким-то друзьям по академии, и они ему сдадут фронты. Тут мой генерал, настроенный если не сочувственно к Власову, то с желанием его понять, испытывает глубокое в нем разочарование. Как же не понимать простых вещей! Ну, можно ошибаться в Жукове, в Рокоссовском, но быть боевым генералом — и не знать, что такое война! Быть русским — и не знать России! Не представлять себе, как настроена вся воюющая масса народа, не видеть, что она сейчас на стороне Сталина, что сменился уже весь интерес нации, и питать запоздалые иллюзии... Назовем ли мы это трагедией или фарсом?

— *Иллюзии Власова — это иллюзии минувшей войны. Беда в том, что кое-кто сохраняет подобные же иллюзии и сегодня.*

— О да, я это наблюдал воочию — у господ энтэзосовцев. Им все мерещится, что если они сделают ставку на какие-то там «конструктивные силы», то их непременно пригласят в министры. Уже, как я слышал, и портфели распределены. Во Франкфурте, напротив «Посева», есть итальянский ресторанчик, там они посиживают, кушают пиццу и решают — отменяют они колхозы или сохраняют. Всякий раз приходят к выводу, что лучше сохранить.

— *По-человечески их можно понять. Десятилетиями питались иллюзиями. Признать их ошибочными — значит признать и свою жизнь в какой-то мере пустой.*

— Как у старых большевиков после XX съезда?

— *Есть и разница. У большевиков жизнь оказалась пустой в нравственном смысле. Но партия-то их обладала реальной силой. У этих же нет ничего реального.*

— В годы войны сила к ним прибыла немалая — до двух миллионов.

— *Насколько я знаю, русских на стороне Германии воевало 400 тысяч. Много было еще нерусских, недовольных решением национальных проблем в СССР.*

— Ну хорошо — полмиллиона. Это пять-шесть армий!

— *Да, это был их «звездный час». Поэтому и отречься от своего военного прошлого им нелегко. Иногда спрашивают: «Почему у НТС не было своего XX съезда? Ну, заблуждались. В 30-е годы не верили в демократию. Но сейчас — почему не отказываются от своего прошлого?» Мне кажется — именно потому, что это был их «звездный час». Трудно от этого отказаться.*

— Двадцатый съезд, при всех разоблачениях, имел задачей подтвердить правильность пути, избранного в 1917 году. Здесь — нужна кардинальная переоценка, буквально со дня основания. Это отказ от самих себя. Они на это не пойдут.

— *Почему же эта организация, отставшая от жизни на несколько десятилетий, да к тому же построенная на антидемократических принципах, пользуется поддержкой каких-то сил на Западе?*

— Многие причины мне еще не ясны, пусть о них скажут другие. Я же воздам должное НТС: ему удалось создать хороший художественный блеф о своем влиянии в России. О близости к конструктивным силам в СССР, чуть не на всех уровнях власти. Может, и есть они, эти

силы, да даже наверно есть, но спросим: на кой им ляд НТС? Во имя чего компрометировать себя перед своими противниками этой связью? Чтоб получать литературу? Ценные указания? Но если трубить о чем-то громко и неустанно — поверят. Оценим и остроумную теорию «молекулярной сети», разветвленного подполья из пятерочек, десяточек, друг о друге не подозревающих, подчиненных только зарубежному центру — во Франкфурте или его живописных окрестностях. Правда, все это знал еще Достоевский, приступая к «Бесам». И правда, нечавские пятерки действительно существовали. А верится, однако. Точнее, не вникаешь в это, покуда тебя самого вдруг задним числом не объявят «московским представителем «Граней»», каковым ни я себя не считал, ни мои друзья. Отметим, кстати, как мало их тревожат судьбы тех оставшихся в России, кто носил мне свои рукописи. Главное, чтоб я числился «отстроенным». Обожают они эту кальку с немецкого: *ausgebaut*. А доведись мне сгннуть в каком-нибудь пермском лагере, быть бы мне, по-смертно, членом НТС. Не так ли они «отстроили» Юрия Галанскова? Наедине с адвокатом, Диной Каминской, он отрицал свою принадлежность к НТС; я вспоминаю, и Вера Лашкова рассказывала мне, что она была третьей в «воронке», когда их везли после суда, и из разговора Галанскова с Добровольским вынесла определенно, что членом НТС Галансков не был. Но поди разберись в этих чичиковских махинациях с мертвыми душами — у них же «тайное членство», «самоприем», ритуал подписания и затем сожжения присяги...

Теперь скажу, что «молекулярная сеть» действительно «отстроена». Только не в России, а на Западе. Повсюду, куда только можно было проникнуть. Где только пахло деньгами. И люди, издавна связанные с НТС, строившие на отношениях с ним карьеру, а может быть, искренне видевшие в нем стойкого борца с тоталитаризмом, — те «друзья Союза», от кого зависели субсидии, — должны же признаться и начальству, и общественному мнению, что

десятками лет вводили их в заблуждение, морочили головы. У многих на это хватит мужества?

— *Необходимо общественное давление.*

— Вы думаете, просто — раскатать этот снежный ком? Слишком мало информации выходит наружу. Потому что они превыше всего блюдут — единство рядов. Это настоящая ленинская партия «нового типа», вдобавок возглавляемая мощным семейным кланом. Значит, она стоит на двух китах: родственные связи и железная дисциплина. Ни тебе внутрипартийных дискуссий, ни фракций, ни левого или правого крыла. Любой критикующий элемент изгоняется. Мгновенно. От нескромных взоров, от малейшего любопытства они себя даже внутри оградил: «каждый знает только то, что ему поручено делать». Царствуют покорность и культ непогрешимости лидера. Сам принцип выборности перевернут: не лидеров избирают, а они себе — приближенных, как если бы министры утверждали состав парламента. Как любой тайный орден, они имеют преимущество мира тоталитарного перед миром демократическим, к тому же и оправданное: какие могут быть дебаты, какая там гласность, ежели конспирация! Здесь делают «Дело», посвятили себя «Служению», несут в Россию «Слово Правды» — все возвышенно, с заглавных букв! Похоже и на то, что их деятельность не бесследна, есть «письма из России», «отклики с мест». Но перечитайте их подряд хоть в № 6 «Посева» — не покажется ли вам, что писаны они одной рукой, к тому же усталой, по одному шаблону: «Я с вами не во всем согласен, но ваши идеи меня заинтересовали, пришлите еще литературы?»

— *В течение почти трех лет вы были главным редактором журнала «Грани».*

— Два с половиной года. Ровно десять номеров.

— Да, десять номеров. На мой взгляд, это был лучший журнал в эмиграции. Это беда для читателей здесь и в Союзе, что вы теперь без журнала, а «Грани» — без вас. Ваш уход — это следствие вашего конфликта с НТС?

— Я не сказал бы, что это был исключительно мой конфликт. Это был наш общий конфликт, то есть «третьей эмиграции», с таким же, в сущности, тоталитарным духом, от какого мы пострадали на родине и с которым тем более не намерены здесь мириться. Боюсь, в НТС еще не поняли, как глубока эта пропасть — между ними и «третьей волной». За неделю до увольнения позвонил мне председатель НТС Романов под псевдонимом «Рыбаков» (у него много псевдонимов, письма от издательства он мне писал под псевдонимом «Жданов») — сообщить, что вот, ходят слухи, будто меня хотят уволить, так как я отнесусь, не будет ли плохо с сердцем. Я спросил, учитывает ли руководство, к чему это приведет, к какому возмущению в эмиграции. Он ответил уверенно: «Никакая эмиграция никогда ни вокруг чего не объединится». Но вот она объединилась! Шестьдесят четыре подписи в мою защиту — и вовсе не единомышленников, случай уникальный. Это — не из любви ко мне, скорее — из неприятия НТС, но мне отрадно сознавать, что и в нашем рассеянии, при всех раздорах и склоках, существует общественное мнение! Представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо», мы все-таки сохранили.

— Недавно в интервью с Романовым было сказано: «Грани», мол, наш журнал, а Владимов его называл «мой журнал». Это показательно: им не нужно, чтоб журналом руководил человек с талантом и независимыми взглядами, не нужна личность, а нужен тот, кто сольется с партией: «Это наш журнал, партийный журнал!»

— Тот, кто брал интервью, А. М. Югов, выразился еще прелестнее: «Вы делаете упор на существительное — «журнал», а он на прилагательное — «мой». Господин

Югов, не подозревающий, что «мой» — вовсе не прилагательное, а другая часть речи (какая — не скажу, пусть раз в жизни заглянет в грамматику), всерьез считает, что для меня это существительное — «журнал» — было несущественно, коль скоро не думал я о партийности и о «товарищах по движению». Еще один его крик души: зачем приглашать известного писателя, он захочет «и редактором стать всемирно известным, как Твардовский». И что тогда случится? Небеса обрушатся на Флуршайдевег, 15? Или, еще ужаснее, он серых откажется печатать?

— *В самом деле, что предосудительного, если журнал несет отпечаток личности редактора? Да, мы говорили: «Новый мир» Твардовского. Чем это плохо?*

— Я думаю, это неперемное условие — чтоб видна была личность редактора. Творчество всегда — лично. Но что касается «Граней», я как раз не чувствовал журнал «моим». Все время приходилось идти наперекор. Больше года при мне комиссарствовала Артемова, я о ней писал в «Необходимом объяснении». Доводилось и от «самого» получить партийную головомойку — под грифом «В порядке частной переписки», поэтому я не суть, а только стиль передаю: «На одном я все же настаиваю — обязательно убрать... Статья с ложной целепостановкой... Это надо было вычеркнуть... Ненужная заумность, можно было устранить... Вредная вещь. Нарочито вредная... Вульгарно, грязный язык... Сексовые слюни... Шрифт прозы должен быть крупнее». Под Новый год, в виде поздравления, положили на стол партийную анонимку «Отзыв о “Гранях”», сляпанную из письма полуграмотного читателя. Много есть способов управлять редактором. Помню замечательный вопрос г-на Югова, когда я не принял его статью: «А почему это у нас нельзя редактору приказать?» Кажется, этот идеал уже достигнут.

— *А деньги, наверно, давали «под Владимова»?*

— Грант, естественно, выделен был «Посеву» или НТС, но с условием, что редактировать «Грани» буду я. Потом НТС это условие сумел обойти. Не знаю — как, это еще выяснится.

— *Что же все-таки произошло? Как объяснить ваш разрыв?*

— Наверно, не вас одного поразила мелочность их первоначальных объяснений. «Владимов сказал... жена сказала...», где-то не выступил, покинул стенд «Посева»... Лепет какой-то. И это для них, суровых бойцов, «пределы терпимого»! Затем в своем бюллетенчике «Встречи» объявили, что я «вел журнал против Союза», — это как будто синоним той же «нелояльности», да ведь сами же от нее отреклись: «С политических позиций не было расхождений». Пишут, что я перессорился с десятками людей, — ложь, свойственная именно главарям клана: если их тронули — значит десятки в обиде. В том же интервью объясняет Романов, что ошиблись во мне, мало у меня связей с молодыми авторами, — из этого видно, во-первых, как вдумчиво они читают то, что издают: в рассказе «Не обращайтесь вниманья, маэстро» описано мое положение, это изоляция и блокада, редкие смельчаки меня посещали. А во-вторых, тут НТС попадает в свою же ловушку: где же была хваленая «молекулярная сеть», почему не доложила, какие связи у предполагаемого редактора? И так же она их информирует насчет «конструктивных сил»? О настроениях в армии или среди рабочих? Но вот и примирительный аккорд: все дело в том, говорит основатель «Граней», что трудно совмещать журнал с собственным творчеством... Когда называют много причин, и таких разных, это верный признак, что хотят скрыть одну — истинную.

— *Думаю, что вы очень не подходили друг другу — эта партия и вы. Вы их постоянно раздражали — и тем, как вели журнал, и тем, что говорили.*

— Вы правы, причина проста — несовместимость. Или, как они выражаются галантерейно, моя «неколлегияльность». Я увидел организацию, насквозь коммерческую, которой интересы России чужды, а близки те принципы, что мы отвергли там, на родине. Но эта организация еще и крайне опасна: она примазывается ко всем нашим начинаниям, будь то правозащитные группы или независимый профсоюз. «В этом развивающемся движении, — возглашает их вождь, — мы ищем свое место, мы даем туда себя!» И дают, и компрометируют, облегчая работу карателям и душителям. Ведь та же «молекулярная сеть» — это не просто, как сказал бы Остап Бендер, «четыреста первый способ честного отъема денег», это тот враг, — пусть воображаемый! — без которого КГБ жить не может. Вы помните, какой подарок преподнес НТС нашему «правосудию» во время процесса Галанскова, Гинзбурга и других, когда прислали этого Брокса-Соколова, наспигованного брошюрками и с каким-то там «шапирографом» для изготовления листовок. Хороши судьи, которые этого десантника использовали для отягчения приговора, но хороши и те, кто его послал на явку — к людям, давно арестованным. И мы когда-нибудь слышали внятное объяснение, зачем это было сделано?

Наконец, я увидел, что «Грани», которые я веду, только прикрытие чудовищного блефа, на самом-то деле не нужен им хороший журнал. Я уже слышал упрек: почему ж молчал до того, как уволили? Но я отвечаю вопросом: «А за что же, вы думаете, уволили?» Вот они пишут в своем «Вынужденном ответе»: повел «зловещую кампанию». Значит — не молчал! Не захотел жить рядом с ложью. Слишком много выяснял — а это «неколлегияльно». Да они должны были от меня избавиться — элементарный инстинкт самосохранения!

— *Но как вы согласились с ними сотрудничать? Вы их плохо знали?*

— Позвольте немного лирики. Вам нетрудно себе представить, что значит там, в Большой зоне, письмо из-

за границы. С диковинными марками, в длинном таком конверте, каких в СССР, по причинам исторического материализма, не делают. Письмо оттуда, куда вы полвека не можете выглянуть, потому как — «невыездной». Или звонок телефонный — сквозь шорох подслушки и после вчерашнего обыска: «Ваша книжка вышла в Италии...» Это ведь такая отдушина! Или приезжает курьер — с этой книжкой, с Тамиздатом. Вы его усаживаете за стол, не знаете, как ублажить, не отпускаете без подарка — в России же не бывает иначе! — он вам подарил маленький праздник: общение с недоступным большим миром.

А здесь по приезде выясняется, что эти курьеры должны были писать отчеты: и сколько вы пили, и как реагировали на похвалы вашей книжке... Вы переписывались с загадочной незнакомкой Анастасией Николаевной, а она, оказывается, «по поручению держала связь». И переписка называется — «досье». Здесь называется, не в КГБ, смотрите «Грани» №141, страница 278. Ну, и в КГБ тоже. И главный начальник этого учреждения... видите, я уже путаюсь, я имею в виду НТС... говорит, не смущаясь, что он всю переписку недавно перечитал, т. е. он читал адресованное не ему. В КГБ, в Лефортове, тоже не смущались: «Мы тут почитали с Иваном Кузьмичом. Любопытно, любопытно. Вы понимаете, с чем играете?» Вы это поймете здесь — что были *ausgebaut*, отстроенный «представитель», — стало быть, ходили под статьей 64 УК, предусматривающей, между прочим, высшую меру. Ну, здесь это не грозит, но тоже дают понять, что кой-какой «компроматерьяльчик» имеется. Не скажу — ужасно, скажу — уныло. И там у меня был судебный процесс с издательством, и здесь предстоит. То есть близнецовое тождество родной «Софьи Власьевны» с ее «визави». Только то отличие, что «Софья Власьевна» все же выказывает способность к омоложению путем хирургической подтяжки морщин, — здесь эта операция запоздала.

Было бы ложью, что мы совсем ничего не видим из Большой зоны. Коробят эти высокие словеса, революционные призывы из безопасного далека, но — пропускаешь мимо уха: ну, не стилисты, и нетерпение их гложет, зато — делают дело. И мы верим нашим товарищам, которые эмигрировали: читаю, к примеру, Коржавина — какие прекрасные люди в «Посеве»! Оно, правда, странно немного — читать похвалы «посевцам» в одноименном журнале, но пишут же не сами, пишет Коржавин, которого я с 1956 года знаю. Да вот и Максимов, и Галич сотрудничают с НТС, выступают на «посевских» конференциях. В другое ухо гудит нам родная пропаганда, что НТС — идейный и злейший враг, от которого нас только и спасают славные «органы» — вот те самые, что вчера перелопатили вашу квартиру... Наконец, мы вообще абстрагируемся от партии, которая что-то там обещает, бездну всяких благ и свобод, реально — мы видим издательство, где мы многие нашли пристанище. Мы разделяем эти понятия — НТС и «Посев». Соединяют их — совпропаганда и КГБ. Но вот, в моем случае они себя сами объединили наглядно. И мы читаем риторический вопрос вождя: наступит ли в СССР такое время, когда «цензура станет суровой? И тогда мы сможем это реализовать»? Тут-то и проглядывает откровенный меркантильный оскал. Они «реализуют» наши беды!

Я в своих выступлениях предпочитал НТС не упоминать, и в номерах «Граней» за моей подписью вы этой комбинации из трех букв не найдете, но своим участием, своим редакторством, наверное, тоже служил приманкой для тех в России, кто еще связывает с этой организацией какие-то надежды. Нам предстоит эти надежды развеять. Не отрицая некоторых заслуг «солидаристов» по части «реализации», мы все же должны им сказать: «Россия — это наша страна, вы там ничего не забыли, и не ищите себе места, не давайте туда себя! Переключитесь на Чили, это вам ближе и понятней. А Россия — это рок, это судьба, участь, но не профессия. Не делайте из нее ремесло и источник дохода»...

Ну, а тем идеалистам, которых немало и в НТС, тоже должно быть ясно: партия нам вообще не нужна, в России к этому слову стойкая аллергия.

— *А тем более партия с таким прошлым в годы войны.*

— Да это уж им как-нибудь простили бы...

— *Вы думаете? Для меня это невозможно...*

— Если бы сами они свое прошлое восприняли как трагическую ошибку. Но они видят — неудачу. Ну, сорвалось, в другой раз будем умнее. Мне рассказывал Романов, как он уезжал из Днепропетровска в немецком танке и сквозь смотровые щели видел повешенных на деревьях. Рассказывает элегично, не чувствуя своего соучастия. А зритель со стороны дружественных танков фон Клейста тоже ведь соучастник...

— *Я думаю, что их военное прошлое навсегда должно оттолкнуть от них людей в России. Идеология власовского движения там не может быть популярна.*

— Это не безусловно так. Но позвольте на ваш тезис ответить романом. Одно могу сказать: пребывание в этом стане было для меня в известной мере и благом. Для писателя, как и для ученого, равноценны и положительный опыт, и отрицательный.

— *Вернемся к проблеме журнала. «Грани» в руках НТС погибли. А между тем независимый литературно-художественный журнал необходим. Вы согласны?*

— В «Гранях» все только начиналось. Их сшибли на взлете. А мог бы быть неплохой журнал, который бы представлял собою и определенную организующую силу, и служил бы даже мерилom, критерием для тех журналов,

что выходят в России. Как, скажем, «Современные записки» двадцатых и тридцатых годов — их и в шестидесятых очень внимательно читали советские редакторы, там было на что равняться. А как важно это сейчас, при тех прорехах, что появились в «железном занавесе». Одно время мы удивлялись, что в стране появляются весьма смелые вещи, — как их пропустила цензура? Но она вынуждена была что-то противопоставить «гнилому Тамиздату».

— *Особенно любопытной была ситуация в Польше накануне лета 80-го. Там существовала тогда масса самиздатских журналов, и подцензурные журналы вынуждены были печатать больше вольностей. Один польский журналист мне рассказывал, как его друг носил свою рукопись в подцензурный журнал. Ему предложили что-то убрать, что-то изменить. Он отказался: «Не берете — не надо». И отнес рукопись в литературное кафе, в этом же здании, отдал редактору самиздатского журнала. Там подцензурная печать была под прессом свободной печати. Хороший это пресс — давление свободы на несвободу. Расширяются пределы официально дозволенного.*

— Это во-первых. Ну, и сам автор меняется. Он смелее, если ему есть куда отступить, есть какой-то плацдарм. Нужно только переслать рукопись по «каналам». Я и сам этак протестовал — правда, в форме вопросительной: «Вы мой роман не издаете, так что же мне, в «Посев» обратиться?» И когда автор начинает вести себя таким образом, начальство несколько пугается. Ему не хочется выпустить из рук «контролируемую литературу». Ну, с какими-то вольностями... Словом, независимый журнал нужен, и очень. Но все несчастье, что эмиграция его не окупит. Какой бы прекрасный журнал я ни делал, я едва ли — подпиской или розничной продажей — соберу деньги на следующий номер.

— *Да, это наша беда. Мы же работаем преимущественно для читателей в Советском Союзе...*

— И журналы ему посылаем бесплатно.

— *И дай бог, чтоб дошли. Сегодня журнального места для публицистов еще хватает. А литературный журнал только один — «Континент». Явно недостаточно для писателей, оказавшихся на Западе, и для писателей на родине — тех, кто хотел бы опубликовать свои неподцензурные вещи.*

— Все упирается в презренный металл. Есть Америка — страна, в которой, как я ее себе представляю, еще сохранился некий идеализм, альтруизм, готовность помочь другим нациям. Эта страна создана эмигрантами, помочь другим эмигрантам — в духе американского народа. Промышленники, скажем, образуют благотворительные фонды не только потому, что надо что-то там списать с налогов, но и просто из человеческого идеализма. Только распоряжаются этими фондами правительственные чиновники, которым нужны «практические результаты». То есть примерно следующее: «Мы тут сколотили партиюшку. И уже успехи есть: одну советскую дивизию распропагандировали в Польше, другую на китайской границе, есть свои люди и в охране Мавзолея». А что может пообещать редактор? Что журнал будет спасать культуру, даст пристанище вольной мысли? И будут читатели в России — только неизвестно, сколько? Нет, это что-то аморфное.

Европа — более меркантильна, практична, бережлива. Европейский миллионер, расчувствовавшись, пожертвует двести марок, в лучшем случае. К тому же он не захочет поссориться с Советским Союзом, а ведь наверняка же в эмигрантском журнале будет что-то антисоветское. Я думаю, и при самых благоприятных обстоятельствах проявит себя принцип: кто дает деньги, тот заказывает музыку.

— *Мы прошли через коммунистический опыт. Это печальный опыт, но это опыт, которого не имеет Запад. Думаю, что возрождение ценностей «буржуазного мира» уже невозможно в России. Там будет что-то новое. О том, что, как*

и зачем должно меняться в стране, нужно и важно говорить. В Советском Союзе еще не скоро позволят открыто спорить о будущем. Сейчас это возможно только на Западе, в эмигрантских изданиях. В познании опыта эмигрантов из коммунистических стран должен быть заинтересован и Запад.

— К сожалению, не все понимают, что защищали бы самих себя, помогая эмигрантским изданиям и через них демократическим силам в СССР. Американцы, которые дважды в нашем веке умирали за свободу другого континента, осознают это лучше, для европейцев же главное — не ссориться с грозным соседом.

— *Один московский диссидент сказал недавно, что он не уверен в том, что западный мир (прежде всего Америка) заинтересован в демократизации Советского Союза. СССР потенциально — очень богатая страна. В случае демократизации это будет самая богатая страна в мире.*

— Она будет вне конкуренции, действительно.

— *Этот москвич полагает, что на Западе есть силы, которых существующий status quo устраивает.*

— Но СССР угрожает миру военной мощью. Демократизация бы его в этом дестабилизировала, «разложила».

— *Верно. Но вполне вероятна такая точка зрения: «Нужно сегодня, пока Советский Союз не вступил на путь реформ, превзойти его радикально в военном отношении. И тогда мы долго еще не будем беспокоиться по поводу возможной советской угрозы». А демократизация нашей страны в этом случае не так уж и важна западным политикам. Вот такое мнение пришло из Союза. От человека, повторяю, диссидентских взглядов.*

— Я хорошо знаком с таким движением, как «Международная Амнистия». Исключить чисто человеческий

фактор — сочувствие угнетенным в чужой стране — невозможно.

— Да, конечно. Я очень люблю людей из «Амнистии». Но надо признать, что большинство членов этой организации — люди левых или леволиберальных взглядов. Я как-то спросил, сколько сторонников партии ХДС-ХСС в немецких группах «Амнистии». Оказалось, почти никого. В основном социалисты, либералы, левые беспартийные христиане и «зеленые». Как раз приверженцы «классической» буржуазной демократии неактивно участвуют в этом движении. Да и в Америке в «Амнистии» работают люди леволиберальных настроений. Кстати, эту организацию бьют с двух сторон. Советы утверждают, что это все «агенты ЦРУ», правые на Западе называют их коммунистами. Но уж эмигрантам «Амнистия» не должна помогать — у нее совсем другая задача.

— Да и грешно было бы нам просить у нее помощи. И тем не менее есть нужда в «посадочной площадке» — для тех писателей в России, которым некуда нести свои рукописи. Говорят, поток их сейчас обмелел, но я думаю, советская литература — перед каким-то броском, новым взлетом, взрывом — и он непременно выплеснется на Запад.

— Вы думаете, на Запад?

— Безусловно. Клапаны не приоткроются больше, чем положено. И литература будет перехлестывать цензурные рамки.

— Вы говорили, что война имеет свои законы, которые часто оказываются сильнее воли тех, кто эту войну начинал. Но подобным же может оказаться и процесс демократизации. Горбачев и другие хотят только приоткрыть клапаны,

чтобы чуть-чуть выпустить пар. Но пар этот, надеюсь, может сорвать крышку. Они не смогут ее удержать.

— Коммунистическая диктатура держится на могучем инстинкте самосохранения, он ей вовремя просигналит: «Пора перекрывать!» Они освобождаются от геронтократического балласта, от тех, кто плохо служит своему классу. Хочется более зубастых, энергичных. Идет смена поколений — но именно затем, чтоб сохранить суть. И после смены мы можем увидеть диктатуру еще более жесткую.

— *Вы читали, наверно, беседу Горбачева с писателями. Он же просит поддержки у общества. Он боится, что его могут сместить, если он не станет популярным.*

— Были уже такие беседы. Была беседа Хрущева с Твардовским. Никита Сергеевич тоже искал поддержки у интеллигенции, которую потом громил. Всякий лидер ищет поддержки, потом ему захочется воспевания. Мне эта беседа показалась спекулятивной. И я бы на нее не пошел. У литературы, извините, своя задача — не лидерам помогать сделаться популярнее, а выражать истину, как ее понимает писатель.

— *Но литература, пожалуй, самое сильное средство воздействия на общество. Особенно у нас на родине. И лидер, естественно, хочет, чтобы она с ним не враждовала.*

— А для этого надо только одно — то, о чем попросил французский художник Гюстав Курбе, когда ему присудили государственную премию. Он ее вернул со словами: «Правительство тогда исполнит свой долг перед художником, когда оставит его в покое». Я за то, чтобы лидеры нас ни к чему не призывали, а позволили бы литературе развиваться по ее собственным законам. А пока происходят

такие беседы и вызывают у писателей интерес, до настоящей «оттепели» еще далеко.

— *То есть, по-вашему, эта система еще работоспособна?*

— Да, поскольку она способна на некоторую перестройку, чтобы избавиться от одряхлевших частей и заменить их новыми. Но вся самостоятельность, которую при этом обещают обществу, это самостоятельность кошки или собаки, которую выводят на поводке. Весь эксперимент — на пять или на десять сантиметров отпустить поводок? А просто отстегнуть его — об этом и речи нет.

— *Возьмем, к примеру, бунт «киношников». Он явно не был запланирован сверху. Он произошел спонтанно. Да, номенклатура, карательный аппарат — это большая сила. Но не единственная. Есть еще и сила общественного интереса.*

— Незапланированные бунты и раньше происходили — тот же «Новый мир» Твардовского. Давали журнал, казалось бы, человеку проверенному, многократному лауреату, советскому патриоту, настоящему коммунисту — все похвальные слова со стороны власти можно было отнести к Твардовскому. А он произвел этот одиннадцатилетний бунт, который мы называем эпохой «Нового мира» — и который закончился поражением.

— *Этот бунт не завершен. Подавили «Новый мир» в 70-м, а и Владимов, и Войнович, и Некрасов — оттуда. И «деревенщики» начинались там. Не будь Твардовского, и Солженицын мог бы не состояться. Эта эпоха не закончилась. Сегодня Залыгин ведет «Новый мир», Бакланов «Знамя» — и все они ориентируются на Твардовского, все хотят быть, как «Новый мир» тогда. То, что было сделано в те годы, не погибло. И «оттепель» не прошла бесследно. После «оттепели», естественно, наступили «заморозки», общественную жизнь придавили, прижали, но завтра она опять возродится. Я верю в это.*

— То, что сделано «Новым миром», правозащитниками, — уже необратимо. Но и номенклатура совершенствуется, она учитывает все уроки.

— *Мне кажется, что она больше не сможет властвовать безраздельно. В ближайшее время, надеюсь, будет заключен какой-то компромисс между властью и обществом. Много больше будет позволено.*

— То есть поводок отпустят на пятнадцать.

— *Вы хотите идеала. Только в идеале человек может быть свободен. Но и здесь, на Западе, есть свой поводок — деньги. Сейчас речь идет лишь о степени несвободы.*

— Поскольку все относительно, сравним эти две «оттепели». Ну, во-первых, несколько миллионов заключенных вышли разом из лагерей, теперь их выпускают по одному, по два. Кроме того, та «оттепель» была сюрпризна, были вещи неожиданные, мы о многом не думали, что это возможно. Здесь же — все наоборот: большие ожидания, и после каждого шага, каждого телодвижения властей — разочарование. Ждали большего.

— *Когда вы уезжали из страны, вы написали в письме Андропову, что верите в свое возвращение на родину. Что должно измениться, чтоб вы смогли вернуться?*

— Возможно, будет найдена какая-то устойчивая модель, при которой командные высоты сохранятся у номенклатуры и все же будет удовлетворительное производство благ для народа, чтобы он не чувствовал себя обделенным, несчастным, лишенным радостей. Такую модель, в конце концов, можно найти. Возьмем Германию или Швецию — здесь много элементов социализма, и тем не менее это страны демократические. Не нужна эта «граница на замке», такая дорогостоящая, не будет массового выезда. А единичные или групповые и так происходят.

Георгий Владимов. Бремя свободы

То есть должна быть возможность свободного выезда и въезда. Должны быть освобождены все политзаключенные и закончена позорная афганская война. Для меня важен и чисто профессиональный вопрос — возможность печататься, где я захочу. И в советских изданиях, и в западных. Я хочу, чтобы власть, наконец, махнула рукой на писателей — черт с вами. Делайте, что хотите, без вас обойдемся!

— *Верите ли вы, что нынешняя «оттепель» даст вам то, о чем вы сейчас говорили?*

— Хотелось бы верить...

Беседу провел Владимир Малинкович

Форум. 1987. № 16

ПИСЬМО АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

Признаться, для меня было неожиданностью, что Андрей Тарковский хочет показать мне на студии «Мосфильм» свою новую картину — «Зеркало». Мы не были знакомы с ним. В 60-е годы я состоял в редколлегии и худсовете Третьего мосфильмовского объединения, которым руководил Михаил Ромм, учитель Тарковского, но его-то самого я, кажется, лишь однажды видел мельком. Но и то сказать, «Мосфильм» — это целый город, где двое могут годами не встретиться.

Насчет экранизации моей повести «Большая руда» он высказался в том смысле, что делать этого не следовало. Так передали мне. Я спросил — почему? Не ручаюсь за точность его ответа, полученного опять же из третьих уст: «А там снимать нечего, там уже все снято». Было и лестно это услышать, и огорчительно, что автор «Иванова детства» моей бы прозой — как исходным материалом для фильма — не заинтересовался. Но, может быть, тем отчасти и объяснялось неожиданное приглашение, что он хотел услышать мнение прозаика, для его кино вроде бы не приспособленного. Так или иначе, позвонили из съемочной группы «Зеркала», назвали — Машей, просили подъехать с женой к такому-то часу, нас встретят в вестибюле. А была весна 1975 года, уже по Москве поползло, что вскоре у меня что-то выйдет на

Западе, какая-то повесть о лагерях, мой статус менялся круто, заказать для меня пропуск было со стороны режиссера, всегда полуоपालного, шагом, сказать помягче, «несвоевременным».

В маленьком просмотровом зале мест на тридцать оказалось нас не более десятка, считая режиссера. Я-то думал — битком будет, яблоку негде упасть. Был, помнится, отец его, поэт Арсений Тарковский, была жена Лариса — большая, красивая, с малоподвижным лицом, чем-то мне напоминавшая Надежду Монахову из горьковских «Варваров», были две антикварные старушки, которые «знали Андрюшу с детства», о чем всем присутствовавшим сразу сделалось известно, были критик Игорь Золотусский с женой и еще кто-то из съемочной группы — около пульта. Впрочем, состав этой группы определился позднее. Больше, чем какой-либо другой фильм, «Зеркало» можно назвать семейным фильмом Тарковских. Звучал за кадром голос отца, читавшего свои стихи, в роли старой матери снялась мать Андрея, Мария Ивановна Вишнякова, первую любовь мальчика играла падчерица Оля, дочь Ларисы. Сыграла и Лариса — в эпизоде труднейшем, в партнерстве с одной из самых больших наших актрис, Маргаритой Тереховой, готовой вполне, как кажется мне, к роли Марины Цветаевой, если б кто сподобился сделать сценарий. Не многие кинозвезды выдержали бы такое партнерство, Лариса «держала кадр» с нею вровень — что тоже говорит о воле и мастерстве режиссера. Наконец, и сам он появлялся в кадре — правда, лица было не видно, а только руки, изможденные руки умирающего, распластанные на постели. Кто бы почувствовал тогда, что он, как было свойственно его дару, прозревает собственную, уже надвигающуюся судьбу!

Обычно в таких студийных зальчиках принято переговариваться, обмениваться замечаниями, шутками, здесь — сразу повисла напряженная тишина. Видевшие «Зеркало» помнят, наверное, испытанный ими шок — с первых же кадров вступления, когда женщина в белом халате, врач-логопед, громадным усилием воли, с каплями пота на лбу, за-

ставляет заговорить, возвращает речь юноше, немому от рождения. Ему-то возвратили, а у нас — отняли. И я сидел, как будто вдавленный в кресло, а фильм рушился и рушился на меня глыбами. Всего-то раз мне довелось видеть его, но помню до сих пор его завораживающий, изматывающий ритм, то мучительно-замедленный, а то обрывающий сердце стремительными переходами. Пожар — из памяти детства — длится так долго, столько дают вам вслушаться, как трещат доски горящего сарая, что жаром пышет в лицо, всем телом ощущаешь опаляющую жестокость огня. И следом — черно-белые кадры фронтовой хроники, по праву и в полной мере авторские — ведь никто до Тарковского их не выбрал, — жестокие по-своему, хотя нет в них ни стрельбы, ни разрывов, ни падающих тел. А есть — штрафники, форсирующие Сиваш, медленно, враскачку бредущие болотистым месивом, вытягивая пудовые ботинки с обмотками. И не сразу отмечает глаз самое страшное — что они, по сути, безоружны, хоть каждый что-то несет, прижавши к груди: кто мину для миномета, кто — снаряд. Так они — всего лишь «подноскики», затем и погнали их через гнилой Сиваш? И ноша каждого из них — это и цена ему, цена невымыслимым его мучениям... Говорят, вода — излюбленная кинометафора Тарковского, выражающая течение жизни. Пожалуйста, вот еще вода, такой же холодный, до костей пробирающий кадр, но кажется, тут уже не до метафор. Трое солдат на плоту переправляют пушку-сорокапятку; валит мокрый снег, зыбь дохлестывает им до колен, а пушке — до колесных ступиц. И вот упавший неподалеку снаряд нагоняет волну, плот накрывается — и пушка валится, валится в черную воду, с плавающим в ней снежным крошевом. И до слез жаль эту пушку, жаль, как живого человека, жаль и солдат, не сберегших свою утопленницу, — что они теперь без нее, к чему были все мучения переправы? Но я, однако, увлекся: говоря словами Тарковского, здесь рассказывать нечего, уже все рассказано, и этот рассказ лишь при конце его, при зажегшемся в зале свете позволяет наконец перевести дыхание.

В коридоре — Тарковского сразу же обступили плотно, говорили наперебой, он отвечал устало, рассеянно и был очень напряжен; меж чьих-то голов я видел, как дергается ус и на впалой щеке вспухают и разглаживаются желваки — в странно четком ритме, как будто совпадая с ударами сердца. А я все не мог пробиться к нему, пожать руку, сказать несколько слов. Но вот вопрос — каких именно слов? Я тогда был храбрее, сейчас — не смог бы их сочинить. Прочтя, скажем, «Анну Каренину» или «Смерть Ивана Ильича» и повстречавши тотчас автора, что б вы ему сказали? «Гениально, граф!»? Или — ничуть того не лучше: «Потрясен, Лев Николаич, нет слов!»? Наверное, сама ситуация уберегла меня от неизбежных банальностей, какими могло бы начаться и на том закончиться наше с Андреем Тарковским знакомство. Заждавшись своей очереди и чувствуя себя несколько чужеродным в этом кругу своих, я ушел потихоньку, не прощаясь.

Я не предполагал, что мой незаметный уход огорчит Тарковского, воспримется так, что фильм не понравился мне. А положение с «Зеркалом» складывалось худо, уже год, как фильм не мог выйти на экраны, начальство все не давало визы печатать копии, все раздумывало, каких потребовать купюр или пересъемок, и время от времени автор вот так, «для избранных», показывал единственный студийный экземпляр, — который, между прочим, любой коллега-режиссер мог заказать для себя да что-то и перенять, в порядке «творческого заимствования»; не так же ли было с «Андреем Рублевым», к выходу уже слегка «состарившимся» в каких-то деталях, в блистательных находках? Что я мог, узнав обо всем этом? Только одно — написать ему, высказать то, что не удалось при встрече. Не знаю, сохранилось ли мое письмо в семье Тарковских, и не берусь его воспроизвести, черновика или копии я не оставил, да, кажется, их и не было. Зато сохранился быстрый его ответ — рукою, явно не привыкшей к машинке, прекрасным почерком живописца или поэта, только не нашего века; таким почерком могло бы быть написано лермонтовское «Как часто, пестрою толпою

окружен...», когда бы не отсутствие твердых знаков и ятей. Чудом этот ответ уцелел при обысках — а могли и спереть, не занеся в протокол. Перед выездом на Запад, в видах при-
страстного таможенного досмотра, я его оставил у надежно-
го человека. Недавно мне привезли это письмо из России.

Вот оно:

«21 апреля 75

Уважаемый Георгий Николаевич!

Я был тронут и обрадован Вашим письмом. И, в особен-
ности, потому, что привык к настороженному (правда,
не всегда агрессивному) восприятию того, что я делаю.

Что же касается «Зеркала», то тут на меня бросились
почти все без исключения коллеги, пытаюсь меня осудить
и даже призывая спасать меня от самого себя и вызволять из
тупика, в который я попал.

Не мне Вам объяснять, что такое эти коллеги. Ну, да бог
с ними!

Мне особенно приятно Ваше письмо тем, что «Зеркало»
я делал, как исповедь — максимально искренно и без позы.
И если Вам наша работа показалась близкой, то в этом не
только заслуга авторов, но и тех, кто серьезно относится
к окружающим.

Чувство достоинства понятие обоюдное, построенное на
взаимном уважении и на уважении самого себя.

К сожалению, кино у нас — расхожая монета, и серьез-
но заниматься им неприлично. Все равно как работать
в пивнушке и не воровать при этом.

Мысли эти невеселые, работа в кино омерзительна. Вы
поймете — Вы сталкивались с этими людьми.

Я с удовольствием ушел бы из него, но я ничего больше
не умею путем делать.

Я не берусь сказать Вам, чем именно тронуло меня Ваше
письмо. Видимо, тем еще, о чем Вы умолчали. Ибо между
строк Вы заставляете находить в Вашем письме многое, что

оказывается общим у нас с Вами: и Бунин, и оценка жестокости, и о мере искренности, и о структуре вещи. Надеюсь, мы сумеем поговорить, ежели даст бог увидиться.

Позвольте поблагодарить Вас за все. Может быть, для Вас этого письма мало (как действия), мне же оно помогает выжить.

А. Тарковский».

Ответ — несомненно, большого человека, искреннего и великодушного, без малейшей рисовки и позы, не боящегося открыться ближнему — в сущности, случайному, с которым еще двух слов не сказал, — как трудно ему жить и работать. Я писал разным людям — к сожалению, не всегда достойным, — за многих вступался (из коих иные мне этого простить не могли и при случае хорошо мстили), но не часто дано мне было узнать, что мои слова, наспех, сумбурно изложенные на бумаге, оказали и прямое действие, кому-то хоть в малой степени помогли справиться с жизнью, облегчили ее тяготы. И этого — достаточно. Не помню, я, кажется, писал, что готов где угодно выступить в защиту фильма «Зеркало», — Тарковский этой жертвы не принимает, ему не нужно чьей-то Голгофы ради него, хватит и того, что сказано, это и есть — действие. Но не забуду, что в мои трудные дни сам он, не колеблясь, за меня вступился.

После наших с ним встреч в Москве и в эмиграции, пусть долгих и обстоятельных, после многих телефонных бесед и элегичных застолий, я все же не берусь сейчас, даже коротко, обрисовать этого сложного, но и очень определенного человека, всегда четко формулировавшего и свою мысль, и свое отношение к жизни и к людям. Тарковский — это целая планета, с замысловатой, но и весьма точной орбитой. Стану придерживаться его письма, тех мест, которые могут быть не поняты или поняты превратно.

Вот, скажем, о Бунине. Я упоминал его рассказ «Журавли», говоря о том, как порой действует в искусстве загадочное, не поддающееся формулированию, к примеру, выкрик

внезапной неизъяснимой тоски в словах мужика, загнавшего лошадей, разбившего бричку и лежащего на земле, раскинув руки, лицом к небу: «Эх, барин, журавли улетели!» Однако не столько Бунин свел нас друг с другом, сколько Толстой, наша к нему любовь и то, что мы оба считали его высшим художественным гением в русской прозе, у которого как раз все просто и объяснимо. Я не слышал от Тарковского, чтобы какую-то вещь Толстого он хотел бы экранизировать. «Прозу и нельзя, — говорил он, — экранизировать адекватно». (Это, к слову, подробно и достаточно убедительно доказывается в книге Льва Аннинского «Толстой и кинематограф».) Но и без того Толстой определенно присутствует во всех его фильмах, начиная с «Иванова детства», — явно из «Детства» Толстого стеклянно-прозрачные сны Ивана, да, может быть, и само название. Практически же — как тема — его занимал уход старца из Ясной Поляны, бегство от тесноты и суеты мира. Возможно, он искал сценарий или сам хотел написать, во всяком случае — собирал, коллекционировал малейшие подробности. Как-то я заметил ему, что вот Толстой всю жизнь боялся железной дороги, ненавидел ее, для Анны Карениной избрал орудием самоубийства, а вышло, что сам умер в нескольких метрах от ближайшего рельса, в домике станционного начальника. Тарковский тотчас зажегся и быстро спросил, может ли он использовать эту мысль. Использовать не успел, но тема ухода все же нашла воплощение в его последней картине «Жертвоприношение», в судьбе Александра, поджигающего свой дом.

В самом ли деле Тарковский «с удовольствием ушел бы» из кино — он, более, чем кто другой, для кино родившийся? Думаю, эта фраза лишь передает глубину его тогдашнего отчаяния, в других обстоятельствах он высказался иначе: «Для меня кино не профессия, это моя жизнь, и каждый фильм для меня — поступок». Как же в таком случае понимать частые его признания, что он не знает, что такое кино? Да так же, наверно, как зачастую не знаем мы, что такое наша жизнь и к чему приведет тот или иной наш поступок. Это

ощущение своей беспомощности, неумения, незнания азов посещает и писателя перед каждой следующей вещью, какой бы она ни была по счету. В любом другом деле, кроме искусства, мастер по крайней мере знает, каким инструментом он воспользуется, — художник еще должен этот инструмент создать — и создает его параллельно с самим произведением: стиль, интонацию, структуру вещи, все те вспомогательные ухищрения, что называются грубо «приемами». Он движется ощупью, часто без плана и не по чертежу; еще Писарев как-то заметил, что хороший писатель, художник действует, как плохой портной: там обрежет, там подошьет. Девятнадцать раз перемонтировалось «Зеркало» — какой уж там план, какой чертеж! Что Андрей Тарковский не знал всех возможностей кино и своих собственных возможностей, это именно свойственно большим художникам; ремесленник-то как раз все, что нужно ему, знает заранее и рассчитал наперед.

А вот омерзительность самого «кинопроизводства» — она и в Москве была, и оставалась на «свободном» Западе. Там — омерзительное давление идеологии, стоголовой цензуры, здесь — омерзительное давление честной отработанной халтуры коммерческого кино, всех этих до смерти ему ненавистных погонь и битья машин, ежеминутной пальбы, полицейских с «кольтами» и наручниками, техничного мордобоя, техничного — и не более того — секса, ну и непременно — денег, плотными пачками в чемоданах. И он страшился всерьез, что, если очередной его фильм — «Ностальгия» — не будет иметь коммерческого успеха, какой же продюсер станет вкладывать деньги в следующий? Деньги, разумеется, нашлись — в Шведском институте кинематографии, — и он поставил «Жертвоприношение», и нашлись бы они на его «Гамлета» и еще на десяток фильмов Тарковского. Но другая опасность подкралась к нему — изнутри и, может быть, стала главной причиной его болезни: гнетущее сознание, что он никому не нужен в России, при всех его международных наградах и премиях, при его мировой известности.

Здесь оговорюсь: это сознание не в эмиграции возникло, оно прочитывается в его московском письме, на чужбине — оно только еще усилилось и обострилось. Тарковский-художник в «Ностальгии» спокойно и мудро поведал о себе, о том, почему невозможно ему жить на родине, какая она есть, и почему невозможно без нее. Тарковский-человек — срывался оттого, что не было ответа на его письма Андропову или Черненко, на его мольбы выпустить к нему за границу его близких. А кто же их, высочайших, настраивает против него, подсовывает им решение? Конечно же, Ермаш, хозяин советского кинематографа, кто уже столько крови испортил ему, Тарковскому. Его громы и молнии против этого Ермаша мне, право, больно было слышать. Боже, да кто он, этот Ермаш? Даже не Бенкендорф! К сожалению, конфликт художника с мафиозной партийной мразью по эту сторону смертного рубежа в большинстве случаев кончается в пользу мрази. Да не затем же рождается художник, чтобы противостоять ее слаженному напору или глухой обороне. За ним остается — последняя победа, только слишком часто — посмертная. Близких к Тарковскому выпустили — однако не раньше, чем выяснилось, что положение его безнадежно...

И еще одно, последнее — о коллегах. Он дважды и трижды возвращается к ним и говорит уверенно, что я этих людей знаю. Да, знаю. И над засыпанной парижской могилой хочется мне назвать поименно их всех, кто не только не защитил своего собрата, но годами занимался глупым и злым делом — спасал художника от его дара, тайной его свободы... Но — не стану этого делать, не нарушу воли покойного, все им простившего, отмахнувшегося: «Ну, да бог с ними!»

И правда, Андрей, бог с ними! Ты возвращаешься в Россию своими великими фильмами — и оказывается, ты не только нужен ей сейчас, но и тогда был нужен, когда сам в это не верил. Вот пишет в ярославскую газету Андрей Кардин, тоже Андрей, тридцати одного года, инженер, создатель весьма ощутимых, материальных ценностей: «Тарков-

Георгий Владимов. Бремя свободы

ский был одним из главных наших помощников в ежедневной борьбе за собственное «Я», за совесть, красоту и Родину... Рассказывайте о нем чаще, рассказывайте о нем больше, пусть его имя будет всегда «на слуху» — это нужно молодым...» И, кажется, приходит к нам сознание, как мы были расточительны и жестоки со своими гениями, с национальным достоянием.

Счастье — запоздало. Но не ты ли мне говорил, убеждая больше себя самого: «Ну что ты, Жорж! Ну кто нам внушил, что мы должны быть счастливыми? Были бы — покой и воля...»

Русская мысль. 1989. 6 января

Радио «Свобода»

Искусство кино. 1991. № 1

К 70-ЛЕТИЮ ДЖЕРОМА Д. СЭЛИНДЖЕРА

Так получилось, что последняя моя критическая статья была о романе Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Он только появился тогда в 11-м номере «Иностранной литературы» за 1960 год, и внимание читателя занимало новое имя, открытое для нас прекрасной переводчицей Ритой Яковлевной Райт-Ковалевой. В ту зиму в «Новом мире» вылеживалась моя первая повесть «Большая руда», и чем-то же нужно было скрасить томительное ожидание — может быть, совсем далеким от Курской аномалии и трагической истории шофера Пронякина. Сколько помню, статью о Сэлинджере мне не заказывали, и на стол Твардовскому легли сразу две — моя и еще одного критика, называть его не буду, скажу лишь, что от его статьи Александр Трифонович пришел в сильнейшее негодование: «Я не понимаю, он кто, этот Сэлинджер? Он писатель или недоучившийся марксист?» В набор послали мою статью — «Три дня из жизни поколения», — но, как известно, в «Новом мире» любили менять названия, избегали обобщать — чтобы, как говорилось, «не дразнить гусей», поэтому назвали «Три дня из жизни Холдена», а больше не поправили запятой. Кстати, и «Большая руда» — название новомирское, дал его

Б. Г. Закс, но я уже свыкся и не меняю. По выходе статьи — в февральском номере 1961 года — я получил от Райт-Ковалевой теплое письмецо, из которого следовало, что это именно та награда, какую она ждала от нашей критики за свой многотрудный перевод. В свою очередь, ее письмо было наградой мне.

Как ни относиться к России, а не отнять у нее звания великой страны читателя. И сколькие западные авторы встречали у этого читателя прием куда радушнее, чем у себя дома! Сдается мне, и Сэлинджер с его романом нашел у нас аудиторию более благодарную, чем в своей Америке. Мне встречались потом убийственные отзывы о нем коллег-американцев — чем-то он сильно их раздражил, потревожил тихие заводи литературного истеблишмента. В России же — дотоле неизвестный Сэлинджер даже потеснил тогдашнего кумира — Хемингуэя.

Не тонкость отделки и не изящество построения делают роман «Над пропастью во ржи» тем, что он есть: одной из самых беспощадных, остро жалящих книг. Она идет к вам путем бесхитростным и кратчайшим, без модного тогда «подтекста», ходами предельной откровенности. Секрет казался так прост, что один молодой тогда писатель, из родоначальников «исповедальной прозы», даже заявил — и это всю литературную Москву облетело, — что, если б ему позволили писать сленгом, он бы такое написал за неделю. Много недель прошло, а что-то не написал пока. Но пойдем и простим его бахвальство: за ним проглядывало сознание, что невозможно у нас напечатать книгу о том, как тяжело молодости жить посреди затопляющей лжи, показухи, сплошной липы, — о чем предоставил высказаться Сэлинджер 16-летнему школьнику Холдену Колфилду.

Холден пишет вам — или рассказывает — из туберкулезного санатория, куда он попал в результате своих злоключений. Он не актерствует, не выставляется напоказ, не сочиняет сюжетов из своего «дурацкого детства», обходится без «всей этой давид-копперфильдовской мути»,

а просто рассказывает о трех днях своей жизни — суматошной, безалаберной и невыносимой для него, меньше всего рассчитывая понравиться вам — и больше всего он нравится вам этим и заставляет ему поверить. Эти три дня выбраны как будто случайно, ничего особенного в них не происходит — ну поперли юного лодыря из аристократической школы Пэнси; ну пальто украли; ну забыл в метро «идиотское снаряжение» фехтовальной команды. Его несчастью не сразу и подберешь имя. Просто он оказался внезапно вышибленным из своей респектабельной обыденщины и остался наедине с собою, словно бы повис над гигантским, бурлящим и пустынным Нью-Йорком, где только «жуткий холод» и «кругом — ни души». И несчастье стало предельным, достигло красной черты на шкале.

Несчастье Холдена родилось вместе с ним, с его невесть как сформировавшейся душой, чистой и бесконечно мягкой, ранимой, отзывчивой даже просто на человеческую улыбку, — несчастье естественного человека, принужденного жить неестественной жизнью, приспособливаясь к морали преуспевающих дельцов, «маклеров-удавов», «хлюстов», «жулья», «смазливых ублюдков», «остроумных болванов», «распутных сволочей», «всяких психов» и «дворянских подонков», от которых нет спасения и на кладбище, потому что страшно представить себе, «как миллион притворщиков явится на мои похороны... а вокруг одни мертвецы и памятники». Это все — из словаря Холдена, это его, так сказать, пафос отрицания. Где же «программа положительная»? Чем жить ему в жутком одиночестве?

«Понимаешь, — говорит он единственному любимому существу, сестренке Фиби, — я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятшек, чтобы они не сорвались в пропасть. Вот и вся

моя работа. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему».

Какой-то взлохмаченный стиль этой книги, пронзительная, щемящая интонация буквально нас ошеломили, и многие из писателей моего поколения прошли школу Сэлинджера. Мне он подал мысль написать весь роман «Три минуты молчания» от первого лица, и может быть, кто из читателей отметил родственность Холдену 25-летнего Сени Шалае, повествующего о своих злоключениях в туманном Мурманске и на борту сельдяного траулера. Меткий глаз Твардовского это углядел. Относясь настороженно к заимствованиям у иностранцев, он все же одобрил мой опыт, хотя воспротивился жанровому определению. «Роман от первого лица — это не в традиции русской литературы, — сказал он при обсуждении. — Назовите мне хоть один». Кто-то из редколлегии назвал ему такой роман — «Подросток» Достоевского. И он кивнул удовлетворенно: «Иностранцы-то и наше перенимали!»

К тому времени — год 1969-й — к Сэлинджеру стали понемногу остывать. В том уголке нашей души, что был отведен чужеземной литературе, поселился Фолкнер. Изредка появлялись рассказы Сэлинджера — «Ловится рыбка бананка», «Выше стропила, плотники!», «И эти губы, и глаза зеленые» — в них он подтверждал свой класс, и порою слышались мотивы «Над пропастью во ржи», это обещало сильное продолжение, но его не было. Десять лет спустя после романа Райт-Ковалева рассказала мне, что Сэлинджер давно ничего не печатает, живет уединенно, недоступен для прессы, жена к нему никого не пускает. Похоже, он продолжал жизнь Холдена — и значит, не в сленге была вся сила, а в том, что такую книгу нужно было своей судьбой выстрадать. Года два назад в газете *International gerald tribune* промелькнуло, что Сэлинджер затевает судебный процесс против публикации его частных писем. Можно было понять, что он по-прежнему ревниво оберегает свою одинокую суверенность, но,

К 70-летию Джерома Д. Сэлинджера

видимо, интерес не пропал к нему, если письма его представляют ценность.

Сегодня Джерому Сэлинджеру 70. В этом возрасте, вероятно, трудно ждать от писателя чего-то ошеломляющего. Но не будем спешить, мы ведь не знаем, что находится у него в столе.

Радио «Свобода». 1989. 1 января

ТРАГЕДИЯ ВЕРНОГО РУСЛАНА

Интервью газете «Московские новости»

— *Георгий Николаевич, наверное, у писателя-эмигранта к публикации на родине отношение особое?*

— Я думаю, это знак, что твоя страна обойтись без тебя не может и не хочет, ты остаешься частицей ее культуры, ее духовной жизни. Когда позвонил мне Григорий Бакланов — сообщить о своем решении, спросить моего согласия, — было отрадно, что меняется отношение к «отщепенцам» и что «Руслан» еще не состарился. Не скажу, что он обижен вниманием на Западе: не единожды он выходил на русском и других языках и продолжает издаваться; проникал он малыми дозами и в Россию, звучал — сквозь глушилки — в эфире, но все это несравнимо с открытым широким выходом к читателю-соотечественнику, кому и адресована была в первую очередь эта повесть.

— *Помню ее ранний вариант — это еще был рассказ. Было странно, что к теме сталинских лагерей обратился молодой писатель, автор «Большой руды», сам как будто не пострадавший...*

— Я-то не нахожу странным, что занялся этой темой. Не много, я думаю, наберется семей в Союзе, которые бы не

ощутили хоть издали дыхание ГУЛАГа. Мою мать в 1952 году арестовали «за разговоры», готовилось и на меня дело, да смерть Сталина его пресекла. Дело это тянулось из 1946 года, когда я, 15-летним суворовцем, прочтя постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», явился на квартиру к Михаилу Зощенко выразить ему сочувствие. (Следователя очень интересовало, почему ж я Ахматову не посетил, — это бы, наверное, облегчило ему «оформление». Но я тогда не читал ее стихов.) В 1956—59 годах я работал в отделе прозы «Нового мира» и читал почти все «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Наслушался и устных преданий от бывших узников — больше всего, конечно, от матери. Словом, созрел вполне. И для меня не было сенсацией появление «Ивана Денисовича», но было сигналом, что ворота лагерной темы открылись.

— *Почему, имея богатый выбор, вы избрали главным героем — собаку?*

— Этого героя я долго искал. Найти героя — это много, это уже половина дела. Он, с его судьбой, выражает философию вещи, все остальные работают на него. Пусть я консерватор, но мне чужда так называемая «полифоническая проза», где автор беспристрастен к своим персонажам и первенства никому не предоставляет. Мне кажется, нет главного героя — нет и центральной идеи.

— *Но может и сама авторская идея стать таким героем, как у Толстого в «Войне и мире»?*

— Я думаю, там она все же персонифицирована. Не в Платоне Каратаеве, как, верно, думалось автору, даже не в Кутузове, а в Наташе Ростовой. Все основные события вертятся вокруг нее, на ее судьбе отражаются; говоря словами Толстого, он любит в ней и «мысль семейную» — о роли и предназначении женщины, и даже «мысль военную». Взять тот эпизод, где «графинечка» Ростова велит выбросить с подвод фамильное добро и предоставить их раненым

офицерам. Это немало, это и есть народная война, которой Наполеон не ждал в России...

Возвращаясь к теме ГУЛАГа — кто мог быть его героем? Я представлял себе такую гипотетическую фигуру, которая бы увидела в этом чудовищном предприятии некий высший смысл и целесообразность, осуществленную утопию. Бывает, ретивый приверженец разоблачает идею сильнее, чем все ниспровергатели. Но такую фигуру мы не найдем среди жертв, они в этом смысле антигерои. Едва ли и среди палачей найдем, эти в достаточной мере были циники, ведали, что творили. Разве что люди верующие могли принять свои страдания благостно — как испытание, ниспосланное свыше. Но тут для автора таилась опасность — соскользнуть к оправданию ада. И вот как-то писатель Н. Мельников, новомирский автор, вернувшись из Темиртау, где прежде был «сталинский курорт», поведал мне среди прочего о конвойных собаках, которых почему-то не расстреляли, как того требовала инструкция, а просто выгнали. Оголодавшие, не бравшие еды ни из чьих рук, они продолжали нести службу: увидев демонстрацию или иную пешую колонну, сопровождали ее и всех выходящих заталкивали в строй. Вот так я нашел своего героя.

— *И как же сложилась судьба рассказа?*

— Рассказ получился в духе язвительной, но чересчур прозрачной сатиры на бериевца в собачьей шкуре. Новомирцы отнесли к рассказу, в общем, доброжелательно, просили только поубрать излишний антропоморфизм, побольше «особачить» героя. Но мне еще предстояла встреча с Александром Трифоновичем Твардовским, который себя с гордостью — и по праву — называл «квалифицированным читателем». К этому читателю я сам обратился со всеми сомнениями. Он взял на прочтение часа полтора и потом сказал: «Что ж, мы это можем тиснуть. Я как главный редактор не возражаю». Вот это «тиснуть» меня убило. «Но вы же вашего пса не разыграли, — сказал А. Т. — Вы же из него делаете полицейское дерьмо, а у пса — своя трагедия!»

— *И если бы не разговор с Твардовским, то, может быть, прошел бы тот рассказ...*

— ...за который мне сейчас, пожалуй, было бы неловко. Но никаких советов он не давал мне. А. Т. вообще не вмешивался никогда в замысел автора, но лишь оценивал. Он говорил на редколлегиях: «Автор о своих героях знает в тысячу раз больше, чем мы все, здесь сидящие». Мне хватило его мнения, чтобы я рукопись забрал, и надолго. Постепенно я пришел к тому, что никаких аллегорий быть не должно, только собака, простодушный, обманутый нами зверь. И сама собой получалась — трагедия.

— *Это, наверное, и самое трудное было — проникнуть в собачий разум, постичь ее «мировоззрение»?*

— Да, потому что внешнюю сторону — собачьи повадки, приемы дрессировки — это я знал. Я в детстве, до войны, занимался в кружке юных собаководов, мы готовили наших питомцев в подарок пограничникам; самый смысленный получал кличку Ингус и направлялся славному Карацупе. Не знаю, куда они там направлялись и какой еще проходили «спецкурс» — может быть, и конвойный. Я был знаком с цирковыми дрессировщиками, укротителями, видел их работу на репетициях. Но сверхзадача была — увидеть ад глазами собаки и посчитать его — раем.

— *Вторая дата, проставленная вами, — год 1965-й. Уже видна вся безнадежность увидеть повесть напечатанной.*

— Да, покуда я ее «особачивал», сняли Хрущева, и ворота лагерной темы закрылись наглухо. Новый вариант я упрятал подальше и постарался забыть о нем. Только в 1974-м, когда мне предложили издать повесть на Западе, я ее достал и еще раз переписал.

— *Этот вариант, уже третий, и появится в «Знамени»?*

— Опять же, с небольшой авторской правкой. Спустя годы всегда найдется что поправить.

— *Анатолий Приставкин пишет в «Неделе», что повесть «Верный Руслан», ее появление на Западе явились причиной нападок на вас. Так ли это?*

— Так могло ему показаться, потому что все беды моих коллег с этого начинались. Но со мной было, скорее, наоборот. Тогда Московскую писательскую организацию возглавил ненадолго С.С. Смирнов, автор «Брестской крепости». Он не требовал от меня покаяний, он добился, чтобы вышел мой роман «Три минуты молчания», который семь лет не издавали, призывал меня «вернуться в советскую литературу». Он был последним из тогдашнего руководства, кому было не наплевать, что уходят писатели в эмиграцию. После его смерти стали уже просто выгаливать. Атмосфера сделалась удушающей. И я вышел из Союза писателей. Нападки начались из-за моего слишком буквального следования уставу союза. Звание литератора обязывало меня защищать людей, несправедливо преследуемых, выступать и против государственных решений, грозящих моей стране последствиями непредсказуемыми. Назову для примера ссылку академика Сахарова и Афганистан. Весь набор гонений, обрушившихся на меня самого, — отключение телефона, угрозные письма, слежка, обыски и прочее — я описал в рассказе «Не обращайтесь вниманья, маэстро». Видно из названия, как я к этому всему относился, пока не забрали пишущую машинку...

— *Я думаю, происходящий сейчас в Советском Союзе процесс перестройки не может вас не волновать. Но как вам видится из вашего далека — достиг ли этот процесс порога необратимости?*

— В известном смысле все исторические процессы необратимы: они оставляют по себе память. Необратимой была и хрущевская «оттепель», очень многие забыть о ней

не смогли и к «застою» не приспособились. В первых интервью на Западе, в 1983-м, я говорил, что демократическое сознание с его стремлением к открытости, гласности, раз возникнув, уже не может умереть, это как отменить закон Архимеда или всемирного тяготения. Говорил и о том, что на смену 70-летним придут руководители из моего поколения, минуя 60-летних. Так оно и вышло. Михаил Горбачев — 1931 года рождения, на 11 дней меня младше, в годы високосные — даже на 12. Но я понимаю, что процесс этот долг, тяжел, мучителен для живущих в Союзе, и мне по поводу всего происходящего не хочется ни зубоскалить, ни впадать в эйфорию. Возможен ли рецидив, новый «застой»? Я не исключаю. Но он был бы еще нетерпимее и оттого — кратким. Другого пути, чем стать открытым обществом, не на словах, а на деле самой демократической страной в мире, история не предлагает.

— *Вы уехали в 1983 году в возрасте 52 лет, без достаточного знания языков, и то была ваша первая поездка на Запад. При таких обстоятельствах адаптация к новой жизни трудна необычайно...*

— Я и не рассчитывал адаптироваться. Кельнский университет пригласил меня на год читать лекции о русской советской прозе. Оформлявшие выезд сказали мне, что возвращение зависит от того, как буду себя вести. Но указ о лишении гражданства был подписан через месяц. Право, я еще ничего и не успел натворить. Читая лекции, говорил, что лет через пять в СССР начнутся перемены... Адаптация и сейчас в мои планы не входит. Знания языков, английского и немецкого, хватает мне и на самое необходимое — магазин, парикмахерская, бензоколонка, — и на то, чтобы сравнить жизнь иную с жизнью в России. Хватило бы меня адаптироваться к тому, что там сейчас происходит. Столько приходится читать! И не только новости, но и «Доктора Живаго», «Пушкинский Дом» «Жизнь и судьбу», «Факультет ненужных вещей». Я их читал в Москве, но знаете, они как-то по-другому читаются на страницах московских журна-

лов. Что же до так называемых «бытовых условий» — не из комфортной сытой Европы, где даже слишком слышен процесс жевания, объяснить моим соотечественникам, что чересчур больших усилий и не требуется, чтобы держаться «на плаву». Мне довольно, что есть где печататься, есть возможность работать спокойно, не перепрыгивая рукопись и архив, как приходилось в Москве.

— *В связи с этим традиционный вопрос: что вы сейчас пишете из прозы? Печатались в эмигрантских журналах и передавались по радио главы из романа «Генерал и его армия». Это и есть тот роман, о котором ходили слухи, что он — о Власове?*

— Вот из-за этой гиперболы, невесть кем пущенной, и приходилось прятаться. Генерал и его армия — это не Власов и не РОА. Мой генерал — вымышленный, хотя и не без опоры на прототипа, он командует армией, захватившей Днепровский плацдарм под Киевом осенью 1943 года. Но воспоминания — его и людей из его окружения — протянуты к другим периодам войны, в том числе и к Московской битве, и там есть генерал Власов — в одном эпизоде, когда он решает продолжить наступление, несмотря на первые неудачи. Маршал Жуков в своих мемуарах высоко оценивает действия 20-й армии в декабре 1941 года — и при этом не называет имени командующего. Но так не пишется история. Кроме того, ситуация в романе предлагает моим читателям задуматься о трагедии тех, кто оказался по другую сторону фронта, повернул оружие против своих. Слишком часто люди, взявшие себе право говорить от имени родины, называли предателями тех, кому сами же причинили зло и кто этого зла не вытерпел. На высшем суде — а такой суд лежит в компетенции литературы — и те и другие должны по крайней мере сидеть на одной скамье подсудимых. В составе же суда, стоит добавить, не только автор, но и читатели.

— *Будут в романе и другие исторические лица?*

Трагедия верного Руслана

— Маршал Жуков, генерал армии Ватутин, генерал-лейтенант Хрушев. Из немцев — Гудериан, Манштейн. Другие фигуры по разным причинам закамуфлированы, но знаками угадываются.

— *Будет и Сталин?*

— Тоже в одном эпизоде, может быть, самом трудном. То есть сравнительно легко набросать портрет невысокого рябоватого человека с трубкой, кавказским акцентом и «тигриными глазами» (у него как раз были не тигриные, взгляд тигра неуловим), труднее понять причины его не только материальной, но и духовной власти над людьми того времени. Мне кажется, при оценке этого человека мы находимся в плену известной формулы: «гений и злодейство несовместны». Формула эта прекрасна — для своего века...

— *Рассчитываете ли вы напечатать этот роман и на родине?*

— Заранее не рассчитываю — в том смысле, что не стараюсь кому-то угодить, к чему-то подладиться. Но надеюсь, как в свое время насчет «Руслана». Как и на то, что рано или поздно вернусь в Россию.

*Беседу провела писательница
Елена Ржевская*

Московские новости. 1989. 22 января

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1. Как Вы оцениваете феномен «литературы зарубежья»: замкнутая ли это система, часть ли советской литературы или она принадлежит культуре страны, в которой живет писатель?

Термин «советская литература» я всегда понимал лишь как знак принадлежности к литературам народов, населяющих СССР. Идеологического содержания, как ни пытался, я в этот термин не мог вложить, то есть не понимал, чем принципиально отличалась бы такая литература — в лучших своих образцах — от русского наследия XIX века или от западной классики. Впрочем, спор на эту тему увлек бы нас чересчур далеко. Если же говорить о русской литературе, она, конечно же, принадлежит и культуре той страны, где волею судеб оказался писатель, поскольку она входит в состав мировой литературы и поскольку издатели отбирают для перевода те или иные произведения, сообразуясь с интересами и вкусами своего читателя. Не знаю, правомерно ли говорить о «замкнутой системе» применительно к литературе русского зарубежья, если она, физически отъединенная от родного ствола, продолжает плодоносить, питаясь накопленными соками. Так отрубленная ветвь тополя или ивы цветет побегами — и, бывает, весьма буйными, — не

укореняюсь и даже не соприкасаясь с землею. Разумеется, это цветение не беспредельно, и оно зависит от возраста и размеров обрубка. Я прожил в России 52 года, и, надеюсь, какое-то время мне будет о чем сказать. Предметом же интереса и темой писания остается жизнь в России, какой я ее знал и представляю себе сейчас. Сидя за письменным столом в германском Нидернхаузене (крохотный городишко близ Висбадена, ведущий, однако, свою историю чуть не с XII века), я вижу перед собою своего, российского читателя и адресуюсь к нему, хотя, признаться, материально завишу от западного.

Одним из главнейших богатств переселенца — и одновременно сильнейшим препятствием к его переселению в иноплеменную культуру — является язык, оказывающийся чем-то гораздо бóльшим, нежели просто средством выражения мысли. Оставим в покое музыку, красоту языка — этого предостаточно и у других народов. Но при чтении словарей нельзя не заметить, как в сущности мало слов имеют полный и точный эквивалент в чужом языке, не говоря уже об идиомах или устойчивых сочетаниях («взять поезд», «ответить письмо» и т. п.), а иные так и вовсе не имеют эквивалента. Протасов в «Живом труп» у Толстого говорит: «Это больше, чем свобода, это — воля!» — но как растолковать англичанину, чем одна *freedom* (или пусть *liberty*) больше другой *freedom*? С другой стороны, чарующие зеленые глаза героини мало впечатлят жителя Борнео, у которого в лексиконе 37 определений зеленого цвета. Язык оказывается самым существом мышления писателя, стержнем его индивидуальности, то есть наиболее ценного в искусстве, наконец — твердью под ногами. Вот почему проигрывает в переводе любая русская книга — и тем больше проигрывает, чем лучше она, чем гуще в ней атмосфера, воздух жизни, — и почему так редки и безнадежны попытки влиться в «туземную» литературу. Примеры такого рода (Иосиф Бродский, пишущий некоторые свои стихи и статьи по-английски) единичны и составляют скорее исключение.

Типично же «эмигрантская литература» пока, на мой взгляд, не имеет примеров, достойных рассмотрения в ка-

честве феномена. Даже у авторов, состоявшихся только в эмиграции (Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов, Юрий Милославский, Дмитрий Савицкий, Саша Соколов) и частенько пересыпающих свои тексты англицизмами и галлицизмами, преобладают все-таки российские мотивы. При этом я не исключаю прекрасный роман из жизни эмиграции, но его автором мог бы быть и писатель, имеющий прописку в Москве и билет ССП в кармане, — может быть, он имел бы даже преимущество свежего взгляда со стороны.

Таким образом, я не нахожу принципиальной разницы между произведениями, создаваемыми в метрополии и за пределами ее. Разнятся лишь прижизненные судьбы авторов и судьбы их книг. Но подозреваю, школьнику XXI века будет трудно усвоить это различие и вспомнить о нем, отвечая на экзамене.

2. Что из написанного Вами — в Советском Союзе или в эмиграции — наиболее Вам дорого?

Всякому автору дороже последнее его произведение, но, поскольку роман «Генерал и его армия» еще не закончен, скажу о другом романе — «Три минуты молчания». Он дорог мне, как родителю, — изболевшееся, исстрадавшееся дитя. Я выстрадал этот роман сначала боками и всей шкурой, плавая матросом рыболовного траулера по трем морям Атлантики — Баренцеву, Норвежскому, Северному, затем — когда всю меру правды, какую там постиг, пытался втиснуть в романную форму. Наконец, это был последний роман, напечатанный в «Новом мире» Александром Твардовским, — я храню страницы с его пометками и запись его выступления на редколлегии, и мне дорого, что он нашел мой роман «вещью достойной», которую нельзя не напечатать, хоть и предвидел все последствия этого шага для журнала. Последствия не замедлили — от Москвы до самых до окраин раскатывались залпы критических батарей, ведших огонь на уничтожение, и вот как ложились снаряды: «В кривом зеркале», «Ложным курсом»,

«Сквозь темные очки», «Мели и рифы мысли», «Разве они такие, мурманские рыбаки?», «Такая книга не нужна!», «Кого спасаете, Владимов?». Ни одного сколько-нибудь дельного замечания я не нашел, чтобы использовать при подготовке книжного издания, зато увидел стремление вытолкнуть автора из советской литературы — и даже теперь, спустя 20 лет, не забывается это. Между тем в 1969 году «застой» уже наблюдался визуально и подступала проблема эмиграции, но ни из одной статьи не извлек я ответа на свой прозрачно поставленный вопрос: так что же делать нам — спасаться ли каждому, кто может, на своем плотике или всем оставаться на палубе, спасти все судно — и только так сохранить себя? Впрочем, возможно, и сама постановка этого вопроса вызывала накал страстей. Так или иначе, но «Три минуты молчания» — в сущности, героико-романтическая вещь о «трудовых буднях» советских моряков, об их мужестве и благородстве в часы смертельной опасности — не издавалась книгой семь лет. Но существовал потрепанный новомирский комплект, и библиотекари обращали мое внимание на обрез журнала, где пролежала интенсивно темная полоса — мои страницы, захватанные пальцами многотысячного читателя. Вот и такая, «дактилоскопическая», оценка дорога мне, и я горжусь ею, как премией.

3. Что, на Ваш взгляд, было самым ярким событием в мировой литературе последних лет?

Коль скоро спрашивается об одном событии, я, поколебавшись насчет «Реквиема» Анны Ахматовой, все же — как прозаик — предпочту назвать публикацию в Советском Союзе романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Жизнь этого романа сложилась мучительно, даже трагически, а судьба оказалась завидной и окрыляющей. Уничтоженный не то что до последней копии, но до последней копирки, он восстал из пепла — чем так наглядно подтвердилась красивая, но небесспорная гипотеза Михаила Булгакова

о неподверженности горению бумаг, достойных называться «рукопись». Еще интереснее другое: по прикидке начальства такой роман мог быть напечатанным в России лет через 200—250 — ан вышло на порядок ниже, в 10 раз скорее. И не то отрадно, что и начальству свойственно ошибаться, но что история наша пошла энергичнее, что восстанавливается прерванная связь времен, вправляются вывихнутые суставы века. В самом деле, напечатай мы «Жизнь и судьбу» в 1960—1961 годах, уже б не такой сенсацией выглядел «Один день Ивана Денисовича» — я говорю о сенсации политической, в литературном отношении «Иван Денисович» все равно остался бы явлением замечательным. Наконец, еще один урок нам: произведения литературы не сотрясают землю и не обрушивают небо — что, между прочим, и утверждалось всеми здравомыслящими и «инакомыслящими», — но проделывают другую работу, гораздо более ценную и в которой мы сейчас так нуждаемся: пробуждение мысли, раскаяния, а отсюда и возрождение, возврат к утерянным ценностям. При всех моих претензиях к роману Гроссмана, он акую работу проделывает с большей мощностью, нежели тысячи вышедших за это время книг — с благополучной жизнью и никчемной судьбой.

4. Следите ли Вы за литературной жизнью в СССР? Какие из недавних публикаций привлекли Ваше внимание?

За литературной жизнью в СССР слежу внимательно, насколько это посильно живущему вдали от т. н. «культурных центров» эмиграции — Парижа, Лондона, Мюнхена; выписываю «Новый мир», «Знамя» и «Литгазету» — хотя сия последняя меня дважды хорошо огрела (статьями неизвестного мне Б. Иванова). Впрочем, второму огреву я даже обрадовался, поскольку при первом назван был «битой картой», к которой естественно было бы уже не возвращаться. Помогает следить эмигрантский телефон — при удручающей дороговизне международной связи мы переговариваемся из страны в страну, с континента на континент чаще и дольше, чем переговаривались в Москве, к тому же еще

перебрасываемся бандеролями, так что ни одна сколько-нибудь заметная новинка не бывает упущена. По ним судим мы если не о глубине объявленной перестройки, то о широте наступающей гласности.

«Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Пушкинский Дом» Андрея Битова, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского — для нас, ясное дело, не новинки, я их читал, еще живя в Москве, но «Зубр» Даниила Гранина — это новое и смелое слово, особенно дорогое сердцу изгнанника. Крутая судьба Н.В. Тимофеева-Ресовского доказывает, что родина — понятие не только территориальное, родина и там, где человек работает ради ее будущего, как бы к этому ни относились не в меру ретивые, сверхпринципиальные соотечественники.

Я рад успеху моего сверстника Анатолия Приставкина, который своей повестью «Ночевала тучка золотая...» перешагнул, можно сказать, в другую весовую категорию, рад и за моего старшего друга Владимира Дудинцева, своими «Белыми одеждами», после долгого молчания, повторившего на новой ступени свой же нравственный подвиг предыдущей «оттепели». Все это вещи, написанные энергично и ярко, отмеченные гражданским темпераментом и новизной мышления. Думаю, тех же достоинств и повести Бориса Васильева «Жила-была Клавочка» и Анатолия Генатулина «Непогодь». К сожалению, критика в СССР прошла рассеянно и мимо «Клавочки», и «Непогоди», тогда как они заслуживают внимательнейшего рассмотрения как замечательные трагедийные воплощения темы «застоя».

«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, может быть, и сенсация для советского читателя, но не для эмигранта, располагающего куда более обширной информацией. Вообще, на мой взгляд, писатель тогда может сильнее себя выявить, когда пишет о вещах, всем известных, — именно потому так трудно высказать нечто новое о том, скажем по Чехову, «как Иван Иванович полюбил Марью Ивановну». Роман Рыбакова — наводящий на грустные размышления пример того, что книга в СССР может быть обязана своей популярно-

стью лишь затрудненному доступу ко всем арсеналам мировой культуры.

Не пройти мимо «Смиренного кладбища» Сергея Каледина, которое, как мне кажется, вызвало даже некий шок и в России, и в зарубежье. Спокойно относясь к некоторым излишествам натуралистического свойства, я, однако ж, не могу не сказать, что вещь эта — и хорошо написанная, и поднимающая неизведанный пласт жизни — все же слишком расходится с духом и традицией русской литературы, всегда предоставлявшей герою выбор. Без нравственного выбора нет героя. Нет их и в повести Каледина, есть персонажи «физиологического очерка», низринутые в обстоятельства крошечного «дна» и бессильные хоть чуть над ним приподняться, заслуживающие, разумеется, нашего глубокого сожаления, но от которых нам нечего взять в свое сердце и разум.

Повести Валентина Распутина «Пожар», Виктора Астафьева «Печальный детектив», роман Василия Белова «Все впереди» мне представляются несколько ниже предыдущих книг этих же авторов, но не хочу злоупотребить приглашением высказать оценки, выскажу главное свое беспокойство — об отсутствии нового значительного имени, большого оригинального прозаика, начинающего не старше тридцати, как начинало мое «четвертое поколение», ныне рассеянное по всему свету. Может быть, все та же прерванная связь времен не дает поднять головы следующим за нами, а ведь писатели не являются в одиночку, они приходят целыми поколениями и перенимают эстафету, а уже затем выдвигают своих лидеров. Все же я верю, надеюсь, что вот-вот он явится, наш новый Толстой, и скорее всего — из солдат, отведавших Афганистана.

СРЕДНЯЯ ИКОНА

Уважаемый «Континент»!

Помнится, года полтора назад Кронид Любарский мрачно посетовал, что «бесцензурная русская проза третьей эмиграции не произвела ничего, кроме жалкого подобия литературы». Как можно понять, сердце независимого редактора «Страны и мира» щемяще стосковалось об утраченном благотворном воздействии цензорского досмотра, — но, конечно, не только о нем. Жалкость нашего прозябания, глухо намекают нам, порождена оторванностью от родных корней, истоков, почвы; если что и оживит угасающее зарубежье — приток свежей крови из метрополии. Может, оно и так, но ведь эмигрантские журналы никогда и не отворачивались от изгнавшего нас отечества, всегда — и в первую очередь — открыты они для российского Самиздата. И можно только приветствовать, когда в наши заросшие ряской журнальные заводы заплывают оттуда крупные лещи, залетают красавцы селезни. Вот и № 59-й «Континента» украсился вдруг 26-ю рассказами Владимира Солоухина, россыпью «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», — такого подарка нам ли не оценить, не принять руки, протянутой «поверх барьеров»! Тем более что дебютант «Континента» — не какой-нибудь отщепенец или неудач-

ник, ему открыты двери всех столичных редакций — кроме тех, разумеется, куда он сам отвращается войти. В литературной табели о рангах он у верхнего предела, а кто в этом сомневается, тому он сам гордо напомним: «Я тоже если не генерал, то почти генерал». Кому и по какому поводу он это говорит, речь впереди, а покауда опустим ложно-скромное «почти». Генерал! Без сомнения, генерал!

И поначалу даже кажется излишним, когда нам то и дело дают почувствовать, в каких сферах обретается и вращается это литературное светило: с крупными деятелями печати, «кадрами ЦК ВЛКСМ», он пьет пиво и ест воблу в Домжуре, инструкторы ЦК КПСС посвящают его в свои мужские похождения, случалось ему побеспокоить звонками заместителя предсовмина РСФСР Качемасова и министра Фурцеву, а из квартиры Ивана Стаднюка поздравить с Крещением пенсионера Молотова; в длительных зарубежных турне общался он с советскими послами и лидерами соцстран, по градам и весям США его сопровождает переводчик госдепартамента, с иноземными достопримечательностями знакомит ответственный сотрудник советского консульства. Когда однажды в нашем посольстве не узнали Солоухина и охранник потребовал документы, это было такое «чепе», что написался отдельный рассказик («Наконец-то родное...»).

Вся ли уже визитная карточка или что-то мы упустили? Да ведь Владимир Алексеевич упустить не даст! Извольте познакомиться, кто у него на свадьбе в 1953-м были гостями: со стороны невесты муж ее сестры — теперь, стало быть, свояк Солоухину, — Евгений Александрович Неручев, «чуть ли не начальник орловской тюрьмы», со стороны жениха — тот самый «кадр ЦК ВЛКСМ», с которым пиво и воблу... Вся анекдотическая соль рассказика («Обознался») состоит в том, что оба эти гуся вместе учились пять лет в высшей школе КГБ, и по каким-то идиотическим правилам этого заведения им нельзя в обществе выказывать знакомство друг с другом; тюремных дел свояк это правило нарушает, «кадр» ему где-то в туалете делает внушение... Негусто для

сюжета, но ведь это как светская хроника, в ней не то важно, кто и что сказал, а — титулы приглашенных. Нам бы, конечно, страсть как хотелось узнать, чему же там, черт дери, учат целых пять лет в этой «высшей школе КГБ», — обращению с импортной подслушкой? организации «наружного наблюдения» топтунами, под видом влюбленной парочки или распития на троих? или как расколоть диссидента, не прибегая к «недозволенным средствам»? — и в кои-то веки выпало автору узнать эту жгучую тайну из первых рук, но, к сожалению, этим с нами не спешат поделиться. Впрочем, создается представление о свадьбе, а еще больше — о женихе. Чуден мир русского писателя на переломе XX века, диковинно его окружение, благоуханны и питательны родные корни, истоки, почва...

Задумаешься: а к чему бы это автору, как в песне Галича поется, «окликать стражников по имени»? Из одного тщеславия? Но, право, после министра Фурцевой, с которой был «в общем знаком», или посла в Венгрии Андропова, с которым «общались мы, общались», тюремщик в чине подполковника уже как-то не смотрится. К тому же ко всей этой номенклатурной фауне автор относится без почтительного благоговения, скорее благодушно-насмешливо. С удовольствием подмечает их человеческие слабости, мелкие грехи; под его пером предстают люди понятные и безобидные, ничуть не страшные. Люди как люди. Похоже, весь сокровенный смысл этого «окликанья» — если есть хоть какой-то смысл, — втянуть и нас в общение с ними, исподволь к ним приручить, дать пообвыкнуться в их кругу.

Здесь оговорюсь: проникнуть в закрытую, чуждую нам среду и вытянуть на свет божий эти хари и маски, нарисовать точные, беспощадные их портреты — задача, достойная писателя. Да только портреты — неполны, и неполны заведомо. Для автора Андропов — властный, но и тактичный дипломат, разве что слишком подмявший ничтожного Матиаса Ракоши, но была же у него и главная заслуга — аргументированный доклад, призвавший обойтись с венгерским народным восстанием, «гремя огнем, сверкая блеском

стали». Добродушный пенсионер Молотов — это тот, кто своим «металлическим скрипучим голосом» объявил, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», но еще и участник сговора с Гитлером и Риббентропом, но еще и ненавидимый миллионами эков Вячик Карзубый, наподписавший на пару с батькой Усатым сотни групповых приговоров к ВМН*.

И сподобил же автора бог указать точную дату, когда поздравляли Вячика с Крещением: 19 января 1980 года. Трех недель не прошло, как свалилась на южного соседа наша братская помощь, и война еще не стала рутинной, гундосый Леонид Ильич еще не разобрался, где у Кармаля имя, а где фамилия, и обращался к нему: «Дорогой товарищ Бабрак!» Только что отзвучал в эфире протест Сахарова, вся же остальная страна примолкла в «единодушном одобрении». В гостях у военного писателя Стаднюка, наверное, говорили и об этой войне, и верилось, поди, двум патриотам, что она тоже закончится победой отечественного оружия, иначе — с какого вдруг пьяну в такие дни стали названивать Молотову? Тут знакомый скрипучий голос был ко времени и к застолью. «Дело... враг... победа...» — только и вспомнилось Солоухину, когда держал трубку. Увы, на сей раз дело было несправое, «враг» и до сих пор не разбит, победа осталась за темными оборваннымибосыми душманами.

И не скажешь, что это не рана душевная для Солоухина. В рассказе «Фантастический разговор» беседует он со старым знакомцем Андроповым, теперь уж генсеком и главой государства, испрашивающим у него совета, как добиться любви народа. Почему именно у Солоухина? А вот: «Считается, что вы стараетесь быть допустимо правдивым». Так скромно себя похваливши из высочайших уст, Солоухин выкладывает выношенное: послать подальше Фиделя, эфиопов и прочих нахлебников, сократить расходы на кос-

* Высшая мера наказания.

мос, пресечь колониальное разграбление наших недр и богатства духовного, сделать рубль конвертируемым, вернуть названия старинным городам, освободить народ от унижительной пропагандистской жвачки и т. п. Ну а первым делом — «прекратить эту нелепую и дикую возню в Афганистане... Пусть афганцы сами решают свою судьбу». Программа обстоятельна и стройна, а генсек снисходителен и задумчив. Он не стучит кулаком по столу, но тихо соглашается: «Ну что же, может быть, я так и буду действовать».

«Надо ли говорить, — заключает автор, — что от неожиданности я на этой его фразе проснулся». Говорить не надо, мы уже в середине рассказа догадались, что нас разыгрывают. Но не то интересно, где Солоухин заснул, интересно — когда он проснулся. Этот рассказ достигает читателя посредством вольной независимой прессы, когда уже последний наш солдат, взяв шинель и каску, унес ноги с Афганщины, и сами афганцы решают свою судьбу, а безоглядно смелые наши публицисты решают уже другое — что нам делать со своими «афганцами», с теми юношами, которым и погордиться нельзя своей боевой доблестью, и не найти себе места в жизни. Другие песни поет эпоха, и среди них едва различишь самую нехитрую, без труда отстукиваемую одним пальцем на фортепьянах, которая приходит на ум, когда читаешь таких смельчаков: «Чижик-пыжик, где ты был?»

Но позвольте, но была же и другая Россия, которая не только водку пила на Фонтанке или пиво в Домжуре, но и не смирялась со своей бесправной участью, протестовала открыто, жертвовала своей свободой ради свободы ближних и дальних. Был же и по поводу афганской «возни» знаменитый 119-й документ Московской группы «Хельсинки», подписанный поначалу восемь безумцами — в их числе одним литератором*, — затем еще тремя, еще четырьмя. Разумеется, и эту Россию Солоухин не обходит вниманием, двадцать лет спустя посвящает ей полустраничный рассказик «Демонстрация по-московски» — это о тех, кто

* Вашим слугой покорным.

вышел на Красную площадь в августе 1968-го. Этой демонстрации Солоухин не видел, описывает явно с чужих слов, и главный его интерес составляют не сами демонстранты — внук Литвинова и жена Даниэля, — а реакция публики:

«— Иван, глянь-ка, руки прочь от Чехословакии. Знать, напал кто-то на нее. Кто же?

— Немцы, наверное, кому же нападать?

— А может, американцы?

Пока ротозеи судили и гадали: кто же напал на Чехословакию, подъехал «воронок», и обоих демонстрантов забрали.

Отметим, как живо схвачены мастерским пером эти ротозеи, среди которых, конечно, не обошлось без Ивана, а главное, как они удачно рифмуются с мужичками из «Мертвых душ», критически оценивающими колесо чичиковской брички: доедет оно до Москвы или не доедет. Но на самом деле ротозеи могли видеть исход не столь мирный — «подъехали — забрали», а как при этом еще и метелили кулаками и ботинками, как выбивали зубы, а допрежь того они видели, что демонстрантов было не двое, малость побольше. Честь нации, запятнанную нападением на другую страну, может спасти и один человек; к нашей гордости, она была спасена семижды, и одна из этой семерки, состоящая в редколлегии «Континента» Наталья Горбаневская, могла бы и обидеться — если не за себя, так за других, хотя бы за покойного Вадима Делоне.

Впрочем, не станем сильно корить Солоухина, что не вник в детали чужой борьбы, довольно он был поглощен и собственной. Оно и правда, жизнь в советском отечестве так устроена, что на самых разных уровнях и в самых что ни на есть мелочах требуются изрядные усилия и мужество, чтоб отстоять свое достоинство и суверенность. Взять хоть «Историю с перстнем» — разве не хватала Солоухина за палец товарищ Афанасьева, курирующая московских писателей со стороны МК КПСС, не требовала отчета, зачем он носит кольцо с профилем «Николашки»? Разве не собиралось по этому поводу закрытое писательское собрание? Не клеймил монархиста комсомольскими виршами седовла-

сый Степан Щипачев? Не внушал с глазу на глаз парторг Аркадий Васильев: «...ты одновременно носишь два профиля: на пальце — профиль Николая II, а на партбилете — Владимира Ильича. Так что выбери уж, пожалуйста, один из них...»? Проникнемся мучениями выбора, но признаем и парторгову правоту. Когда у Высоцкого «на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка анфас», это соседство не столь антагонистское.

Но главный бой пришлось выдержать, главные силы души тратились, когда предложили сотрудничество с «органами». У Солоухина сложилось впечатление — «из многих разговоров с людьми из среды московской интеллигенции», — что это «в некие времена предлагалось если не всем, то почти всем, за редкими исключениями». Это, конечно, не так, и в некие времена, и теперь сколько угодно людей мечтают о такой чести, да им ее почему-то не оказывают. Чтоб понять — почему, и нужно, по-видимому, окончить высшую школу КГБ. Солоухину эту честь оказали (в чем я еще не вижу урона) — и вот перед ним извечная коллизия: писатель и тайная служба. Извечный, почти патологический интерес — увы, зачастую взаимный. Откуда это к нам тянется — от Бенкендорфа? Или еще из древности, из Греции, или Рима, или от египетских папирусов? Вот и выпала редчайшая возможность задать вопрос напрямую, и не кому-нибудь — генералу: «А почему, собственно, так хочется вам знать, о чем говорят писатели на своих собраниях — если не из простого читательского интереса? Ваше дело — шпионов ловить и диверсантов, вот и займитесь своим прямым делом, а мы — своим. Когда же наконец перестанет Бенкендорф заниматься делами Пушкина?» Вместо этого Солоухин «качает права», напоминает — пусть не без достоинства — о своем ранге: «...мы с вами должны говорить почти на равных (?), мы с вами люди одного уровня (!). А что вы мне предлагаете теперь? Быть рядовым безымянным агентишкой. Мальчишкой на побегушках! Почему вы должны быть генералом, а я у вас на побегушках, на мелком осведомительстве? Я тоже если не генерал, то почти генерал».

Такой ответ, возможно, оценил бы и похвалил Фаддей Венедиктович Булгарин, но уже не Клим Иванович Самгин, «пустая душа»; он по крайней мере задался вопросом: «Почему — я?» Все великое достоинство русской литературы, такими трудами и жертвами завоеванное, рушится в солоухинской гордой тираде. Ему кажется, что он говорит жандарму: «Я не ваш, и я не холоп!», но на самом деле он только набивает себе цену. «И прекрасно! — мог бы сказать жандарм. — Ну а если не рядовым, не безымянным, а, напротив, именитым и в звании полковника, да пусть и генерала? Если не агентшккой, а — агентом, агентischem влияния? Если не на побегушках, а, скажем, в международных турне — вправлять мозги Западу, перевороты в сознании совершать, наш образ жизни пропагандировать, революционную нашу перестройку?» Как тогда, Владимир Алексеевич? Можно и по рукам? «После этого разговора, — сообщает он, — меня ни разу не потревожили». И правильно, чего ж тревожить по мелкоте, а по-крупному — все конвенансы соблюдены, цена назначена и торг по существу состоялся, препятствий к сатанинскому сговору — не нашлось...

Если продолжить разговор о достоинстве русской литературы — и не одной русской, — если охота нам постичь «ментальность» такого явления, как Владимир Солоухин, обратимся к его, так сказать, «бэкграунду»* — может быть, внесет дополнительный штрих рассказ «Старичок с интеллигентным лицом», может быть, что-то нам разъяснит. Признаюсь, тема его слишком чувствительна для грубых прикосновений, а я, наверное, и не вправе касаться по возрасту. Но все же окунемся в воздух лета 1942 года, стоим перед комиссией, решающей судьбы 18-летних новобранцев — кого в какую часть направить, в какие войска, на какой фронт. Немцы уже под Сталинградом и на Кавказе, пали Ростов и Новочеркасск, приказ 227 за шаг назад предписывает расстрел на месте. И можно понять как дивную удачу, когда цитата из Блока — «Я не первый воин,

* Истоки, происхождение, биографические данные.

не последний», — невзначай произнесенная голым Солоухиным, вдруг заставляет одного из членов комиссии, старичка с седенькой бородкой и в золоченом пенсне, вскинуть голову и всмотреться в стоящего перед ним юношу и решить его судьбу иначе, занести в другую графу, где лишь одно место еще вакантно. Да, в тот блаженный миг это можно было почувствовать как избавление от казни. Но 47 лет прошло, и, может быть, как-то иначе оценит свой выигрыш постаревший новобранец? Было известно, что войну Солоухин отслужил в Кремле, в «красивых охранниках», и всегда казалось — он о той службе говорить избегает, тяготится ею. Но вот оказывается, он ее и сейчас воспринимает как сказку, а того старичка в пенсне — добрым волшебником из этой сказки:

«Надо знать, что значил в те дни Московский Кремль для всех советских людей, что олицетворял, какой был овеян дымкой, легендой, славой, чтобы понять применительно ко мне, деревенскому парню, новобранцу, обреченному на почти стопроцентную скорую гибель, это выражение «как в сказке». Да, как в сказке, я шел по брусчатке Московского Кремля в его замкнутом, отделенном от всего мира пространстве, в его недостижимости от всех тогдашних военных лишений, бед и невзгод, включая тяжелые ранения, плен и смерть...»

Да, это не ахматовское «Я была с моим народом — там, где мой народ, к несчастью, был», не ностальгия Виктора Некрасова по Мамаеву «бугру», Василя Быкова — по бело-русским прострелянным лесам, не тоска слезная поэтов-фронтовиков по окопному братству. Что замечательно у Солоухина — полная откровенность чувств; радость его чиста и не стыдлива, она не нуждается в оправдании, что и в Кремле, если на то пошло, «мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу»*, ведь родного генералиссимуса нужно же было кому-то охранять. Любопытно, однако: с такой позиции — как посмотреть на добровольца, избрав-

* Из песни на слова Солоухина.

шего иной удел? Глядя по-стрелецки промеж зубцов кремлевской стены, можно и посмеяться над придурковатым Хемингуэем, трижды по собственной воле отправляющимся воевать на чужой континент, выходящим на углой моторной яхточке в океан чуть не острой таранить немецкие субмарины. «Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните звание свое!» Да, соглашаешься, что едва ли три процента сохранилось тех мужчин образца 1924—1925 годов, но отчего-то, кусая себе пальцы, жгуче завидовали им следующие поколения, которым не выпало этой страшной статистики. Может быть, оттого, что уцелевшие вернулись с кровавых полей с таким громадным опытом, которого ничем не заменишь и переоценить невозможно, он сделался едва ли не главной составляющей их таланта, духовным стержнем всей остальной их жизни. Так не сыграла ли с Солоухиным фортуна пусть веселую и забавную, но не такую уж добрую шутку? Впрочем, дело хозяйское. Но если вы не знали до сих пор, что такое русский патриотизм, — узнайте, господа. Это и по сей день переживаемое радостное волнение, что миновала меня чаша сия, что не я, а другие, как воины царя Леонида при Фермопилах, «в землю эту легли, честно исполнив долг...».

Недавно по радио «Свобода» критик-энтээсовец М. Назаров объявил нам, что своими последними произведениями, опубликованными в эмигрантской печати, Солоухин «мужественно покаялся в своем прежнем коллаборантстве с властями». В первую очередь, надо думать, имелось в виду его живейшее участие в том позорном судилище над Борисом Пастернаком в октябре 1958-го. Судить по «Старичку с интеллигентным лицом», автор не из тех, кому бы хотелось хоть что-то из своего прошлого переиграть, он слишком ценит себя и любит. Впрямую — нисколько он не покаялся, мужественно воздержался, ну разве что однажды признался нехотя иностранцам, что вылез тогда на трибуну «по глупости», — но и это неверно, поступок был вовсе не глупый, а своевременный и обещавший хорошие дивиденды. Покаяния же косвенные, «своими произведениями», можно

к чему угодно привязать, к тому, что яблоки в детстве воровал из чужого сада.

Надо признать, защищается Солоухин изобретательно: не причисляя себя к почитателям Пастернака, он обвиняет тех из них, кто промолчал, не вступился за «своего»; коснись беда, например, Астафьева, Алексеева или Распутина, он бы, Солоухин, «из последних сил, ползком, зажимая в зубах столовый ножик, пополз бы на то собрание...». Как-то так получается (и слава богу!), что беда не касается Алексеева с Распутиным, из-за чего янычарские подвиги Солоухина остаются в области обещаний, в угрожающем резерве; впрочем, пришлось мне наблюдать в недавнюю «эпоху застоя», как он и его друзья ни ползком не поползли, ни ножиком не погрозили за своего (Л. Бородин). Не требует признаний, что Пастернак ему был чужой, — но в таком случае отпадала и нужда участвовать в травле. Можно понять, когда страх выталкивал на трибуну почитателей, единоверцев подсудимого; в том и состоял режиссерский замысел, чтобы «своя своих побивахом», но от противника или от нейтрального никто этого не требовал, их молчания никто бы и не заметил. А вот этого-то и не хотелось — чтоб не заметили!

Сказывают, покаяние — дело интимное, зачастую на людях упорствует человек, оправдывая свой малопрстойный поступок, а в душе — осуждает. Но кажется мне, эти рассказы, или очерки, или эссе, как их ни назови, хоть арабесками, в отношении Владимира Алексеевича Солоухина не дают оснований для такого подозрения, в них много игривого самолюбования, самодовольства, но так мало нравственной боли. И ни в одном из этих опусов, охватывающих десятилетия жизни автора, его обвинение, укор или сожаление не обращаются к себе, любимому. А иной раз мелочь какая-нибудь проливает свет и на интимное, сокровенное в области духа. Довольно пустой рассказик «Бархатный пиджачок», содержащий лишь ту информацию, что автор собрал богатую коллекцию русских икон, имеет, однако ж, примечательную концовку: «Надо ли уточнять, что на одну сред-

Георгий Владимов. Бремя свободы

нюю икону в Париже можно купить несколько тысяч бархатных пиджачков». Тут даже не в том дело, что наш православнейший коллекционер знает меновую стоимость своего духовного богатства, а в том, что мы до сих пор знали икону крестильную, венчальную, семейную, чудотворную, а теперь вот узнали от Солоухина, что бывает икона *средняя...*

Письмо мое разрослось в рецензию, к чему я отнюдь не стремился, а только хотел объяснить, почему не могу поздравить журнал с чересчур значительным приобретением.

Ваш

Георгий Владимов.
Нидернхаузен, Зап. Германия

Континент. 1989. № 60
Радио «Свобода»

МОСКВА, 1993, ИЛИ КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ

Эту странную, наделавшую много шума киноповесть Александра Кабакова под названием «Невозвращенец», появившуюся в 6-м номере журнала «Искусство кино», редактор Константин Щербаков отнес к жанру антиутопий, жестких и трезвых предупреждений нам — сегоднешним. О чем же? «О том, что может произойти, если нам не удастся справиться с существующими в нашем обществе деструктивными, антиперестроечными процессами... об опасности, не считаться с которой мы не имеем права, которую должны исторгнуть, изжить».

Опасность и в самом деле нешуточная. По сюжету, некие деятели из легко угадываемого ведомства, которым надлежит все знать заранее и предостерегать руководство, командируют героя-рассказчика в будущее, притом в не столь отдаленное, в год 1993-й, и вот какие новости он приносит оттуда: «Безоружный имел не много шансов дожить до утра на московских улицах». Это всего лишь четыре года тому вперед — в то время хотя бы я все же надеюсь побывать в Москве, а пистолет провезти едва ли удастся, поэтому естественно мое любопытство: какие же силы будут грозить моему существованию?

Во-первых, какие-то «угловцы». Их истребительные отряды устраивают облавы около винных магазинов, так вот непонятно — что они истребляют: спиртное или потребителей его? И почему — «угловцы»? Будь это Ленинград, я бы подумал, что это шпана, обитающая в районе Пяти Углов, но тут Москва — наверное, вожак у них — пахан по фамилии Углов? Затем — «бензиншики». Вряд ли это те, кто торгует левым бензином «за любую половину государственной цены», у автора они — «одурелые» и по возрасту 12-летние, так что всего скорее обольют и подожгут. Еще есть — пикеты с нарукавными повязками «свиты Сатаны» и в кошачьих масках. Кто такие и что пикетируют — неясно. Еще — «неуемные автоматчики». Что поливают они и кого из неуемых своих автоматов? А «отвоевавшие в Трансильвании десантники» — им что, воевать уже опротивело или все тянется рука к оружию? И снова — истребительные отряды, на сей раз истребляющие, по-видимому, все, что ни попадется глазу.

Если мало вам этого, дорогой читатель, тогда восточного облика люди, с черными бородами до глаз, возьмут вас в заложники и устроят кровавую баню с отрезанием голов — чем бы, вы думали? Саперными лопатками. Приоритет генерал-полковника Родионова опровергается датой, которой нет оснований не верить: май — июнь 1988-го. Антиутопия Александра Кабакова предвосхитила 9 апреля нынешнего года в Тбилиси, отнесемся же к ней с должным вниманием. Упомяну еще боевиков из «Сталинского союза российской молодежи», подрывающих взрывчаткой памятник Пушкину, — непонятно, с какой стати, ничем не мешал никогда сталинистам бронзовый Александр Сергеевич, разве что собирал вокруг себя диссидентов, а затем «неформалов», так ведь они и на пустыре соберутся. Ну и наконец — вооруженные кольями витязи в черных поддевках, устраивающие свои облавы — погромного свойства. Подтверждением арийской чистоты служит у них необрезанность и знание наизусть «Слова о полку Игореве». Второе — несколько странно: те, кто спрашивает пароль, должны же его сами знать,

но знатоки «Слова» — люди весьма образованные, интеллигентные. А впрочем, после «Русофобии» Игоря Шафаревича нас в этом смысле не удивишь.

Все эти силы, враждебные человеку, смертельно опасные, вольно рыскающие по обезлюдившей, полутемной, полуразрушенной Москве, игнорируя патрульные танки и бронетранспортеры, — а может быть, и под эгидой их, — эти силы находятся между собою непонятно в каких взаимоотношениях: то ли враждуют друг с другом, то ли поддерживают и дополняют, а ведь знать это бедному обывателю — жизненно важно, чтоб хоть как-то между ними лавировать. Право, 70 лет назад ему это было все же яснее — чего от красных ждать, чего от белых, чего от петлюровцев или махновцев. Время было пестрое, но какая-то логика в действиях разного рода стихий все же ощущалась; ну хоть было известно, что «налево застава, махновцы — направо», а не наоборот; может, поэтому-то «и десять гранат — не пустяк». Об этой логике в Москве 1993 года можно лишь мечтать. И тут одно из двух: либо сам автор не представляет себе отчетливо природу тех сил, которые он взялся описывать, либо он старается как можно сильнее напугать читателя вакханалией смертоубийства, чаще всего — безмотивного, от всеобщего озверения и ненависти.

Вот из машины, старенького «мерседеса», перевернутого взрывом гранаты, вытаскивают двоих, мужчину и женщину, аккуратно расстреливают из тяжелого пулемета — и не лень же таскать его повсюду, когда «калашниковы» есть! За что расстреливают? «Афган», — объясняет рассказчик своей спутнице. То есть эти восемь убийц в беретах — несчастные наши «афганцы», из «ограниченного контингента». У них же самих объяснение простое: «Стой, сука! Ворюга! Торгаш!» Понять можно только так: натерпелись парни, душа горит, фобия у них к частной собственности. Но любопытно — а как же относится к ней рассказчик?

Есть в этом вселенском энтропийном ужасе своего рода оазис, некая отдушина — в виде питейного и закусоч-

ного заведения, принадлежащего моложавому еврею Вальке, «по последней моде одетому во все сшитое у лучших крестовских портных». Объяснить «крестовских» не берусь, но, наверное, достаточно, что они «лучшие». Вальку рассказчик называет «артельщиком», а его кооперативное кафе — «шикарным ночным кабаком». Здесь можно посидеть в уюте, без риска быть ограбленным или разрубленным шашкой времен гражданской войны, здесь обслуживают — лакеи, а развлекают — музыканты и певица рок-шантана «Веселый Валентин». А что за публика? «Поэт, за последние годы не написавший ни одной короткой строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами Выравнивания с жалованьем в талонах... Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитье после краха профессии в страшном девяносто втором, когда от эпидемии ЭЙДСа они все чуть не вымерли... Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик — он пировал в компании двух атлетов — личной охраны из каратистов в отставке...» Не кафе, а вместилище греха, а почему не врываются сюда со своими тяжелыми пулеметами поборники уравниловки, или — по-тогдашнему — «Выравнивания», читатель легко догадается. Откупился от них веселый Валентин. Коррупция кругом, рука руку моет. Нет на них на всех — железной руки.

Это, собственно, и высказывает случайная спутница рассказчика, жительница Днепропетровска с малороссийским выговором, описываемая как «комбинация паночки и модели из хорошего журнала», но чаще называемая «захватчицей». Все-то вожделение бедной «захватчицы» — купить себе в Москве сапоги, а для этого раздобыть талонов, ради них она и сама многократно рискует жизнью и может при случае на своего спутника автомат навести, прямо в лоб. Именно ей и принадлежат в киноповести ключевые слова:

«Ото из-за таких гнид началось все! Жили как люди, все было нормально, мужик по шесть тыщ «горбатых» за хороший день зарабатывал, а вам все было плохо! Леонид

Ильич вам плохой был, а у нас при нем в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была!.. Сталин вам был плохой, Брежнев вам был плохой, вам Горбачев угодил!..»

И слышится нам унылая правота сторонников Нины Андреевой: «При Сталине войну выиграли, порядок был и цены снижали, при Брежневе — хотя бы стабильность и военное превосходство, а чего вы добились со своей оголтелой гласностью? Никто никого и ничего не уважает, пустые прилавки, мясо по талонам, мыла нет, стирального порошка...»

Приемлет ли эту правоту сам автор? Не скажу, что совсем не приемлет, хотя в его политических симпатиях и антипатиях разобраться мудрено, да он и не склонен к ясным ответам. Но вот иногда, по небрежности ли пера или из личной неприязни к происходящему в стране, дело доходит до политических обвинений на грани абсурда: когда людям, скажем, объявляют, что они подлежат уничтожению «по специальному поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий» и что утверждено это «на собрании неформальных борцов за Выравнивание».

Может показаться: разгул демократии, ее излишества, разброд и шатания — и есть та опасность, которую «должны мы исторгнуть, изжить». Короче, тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». А можно ли было, спрошу я, нарисовать картину страшнее, чем у Александра Кабакова? Я думаю — да, и, как ни странно, это была бы картина, обратная энтропии, картина не разрушения а созидания, консолидации, наведения и укрепления порядка. Все началось бы с чеканной фразы какого-нибудь деятеля, не обязательно перепоясанного крест-накрест пулеметными лентами, но с металлом во взгляде и в голосе: «Караул устал». Затем приступили бы к делу славные ребята — горячие сердца, холодные головы, чистые руки, — и мы бы услышали об усилении и усилении классово-вой борьбы, а напоследок — фразу венчающую, реквием этак миллионам шестидесяти: «Жить стало лучше, това-

рищи, жить стало веселее». Понадеемся, что такая антиутопия не повторится в нашей истории даже как фарс.

Киноповесть «Невозвращенец», предназначенная скорее для чтения, нежели для фильма по ней, не принадлежит, на мой взгляд, к значительным художественным явлениям, однако ж затрагивает она проблему, всех волнующую. Чем и когда закончится перестройка в России, к чему приведет нынешняя ситуация? То и дело мы слышим, что история дала нам последний шанс, что вот этот год — уже последний, — правда, мрачным этим прогнозам уже сроку больше, чем год. И правда то, что, к счастью, порою — к горькому счастью, многое из предсказанного антиутопией Кабакова уже не сбылось и навряд ли сбудется.

Саперную лопатку он предугадал, хотя совсем в других руках она оказалась, но главного он не предвидел — поведения убиваемых ею. Спасаясь от ее рассекающих ударов, люди, естественно, побежали, но не как животные на бойне, почуявшие кровь, — есть много свидетельств, как утаскивали с собою, пытались спасти женщин и детей — вовсе не родственников, а чужих, посторонних... А как достойно, рыцарски себя повели тбилисские милиционеры, безоружные, голыми руками защищавшие своих сограждан от озверелых спецназовцев, фалангистов генерала Родионова. Впрочем, зачем же брать лишь ситуации экстремальные, возьмем неожиданную сплоченность наших шахтеров, показавших вполне на уровне давно сложившейся польской «Солидарности», что есть и в Союзе республик рабочий класс, а не одни спившиеся люмпены. Вспомним спокойно-дипломатичные, но и неотступные шаги народных фронтов Прибалтики. Вспомним 26 марта, день выборов, хоть отчасти похожих на выборы, когда миллионы и миллионы вдруг увидели, к своему удивлению, что они умнее и сильнее, чем сами себе казались. Нет, наш народ заслуживает оценки много лучшей, чем она содержится в киноповести «Невозвращенец». У меня впечатление, что Александр Кабаков свой социальный прогноз сделал чересчур умозрительно, как бы провел и проанализировал лабораторный эксперимент: что-то из

Москва, 1993, или Какими вы не будете

колбы испарилось, что-то осело на стенках, что-то в осадок выпало, и он поспешил записать результат. А жизнь живая не помещается в колбе и оказывается сложнее, полнее и неожиданнее самых решительных предсказаний.

Русская мысль. 1989. 8 сентября

ПИСЬМО ЛЬВУ АННИНСКОМУ О «ВЕРНОМ РУСЛАНЕ»

Опубликовано Л. Аннинским со следующим предисловием:

«С согласия Георгия Владимова я решаюсь опубликовать его письмо ко мне, полученное в отклик на мою статью о повести «Верный Руслан», — статья опубликована в №8 «Литературного обозрения» за 1989 год.

Я думаю, что читатель имеет право на это письмо, — не только потому, что написано оно замечательным писателем (Владимов, правда, предпочитает более тонкое определение: «хороший писатель»), и вовсе незачем ждать, когда все это со временем опубликуют в каком-нибудь томе литературной переписки, — но, главным образом, потому, что посвящено это письмо глубинным и неразрешенным вопросам нашего бытия: откуда в нас зло? кто в нашем зле виноват? что нам с этим злом делать? — и т. д. по традиционному катехизису русской классики.

Чтобы читатель не затруднялся в частности, — прокомментирую некоторые из них заранее. «Отписывал мне 16 мая 75-го» — еще до отъезда Г. Владимова за рубеж я в письме к нему развивал свои идеи касательно «Руслана». «Не на одни эпитафьи, но и на подзаголовки» — эпитафья к «Руслану» — из Горького: «Что вы сделали, господа!» Подзаголовок: «История караульной собаки». Полуболотов — герой повести Михаила Кураева «Ночной дозор». Митишатъев — герой романа Андрея Битова «Пушкинский Дом». Матрена — героиня рассказа Александра

Письмо Льву Аннинскому о «Верном Руслане»

Солженицына «Матренин двор». Живой — герой одноименной повести Бориса Можая. Остальные персонажи ясны из контекста.

Критики, писавшие о «Руслане»: Абрам Терц (Андрей Синявский) — в «Континенте», А. Латынина — в «Литературной газете», Нат. Иванова — в «Огоньке», Александр Архангельский — в «Новом мире». Наташа — литературный критик Наталья Кузнецова, печатающаяся в зарубежных изданиях.

Прочие частности: о курсантской «проговорке» повествователя, о «малосущественности» горьковской ссылки на «господ», испортивших «зверя», и даже об украинцах, которых я от Владимира «защитил», — более или менее следуют из главного несогласия, которое Г. Владимов безошибочно ощущает сквозь нашу старинную взаимную приязнь. Я бы сформулировал это так. Есть двойственность в строении и в замысле повести. Это история собаки, написанная по законам реализма, и это размышление о лагерном охраннике, написанное по законам аналогии. Примирить эти два плана, при всем законном читательском желании, невозможно. Если их примирить, исчезнет и сама бездонная, тревожащая загадка повести. Загадка, уходящая в самую реальность: как это так получилось, что светлая мечта, зародившаяся в лучших умах человечества и воплощенная в России людьми, несомненно, героического склада, — обернулась такой практикой, о которой мы теперь не можем вспомнить без стыда и ужаса? В сущности над этим бьется Г. Владимов в своей повести. С мыслью об этой загадке я и предлагаю читателю вникнуть в его интереснейшее письмо.

Л. Аннинский»

Дорогой Лева,

спасибо за журнал — и, конечно, за статью.

Понимаю, сколь было сложно после Абрама Терца, хотелось же и подальше него шагнуть. Но ты, собственно, и был дальше — еще когда отписывал мне 16-го мая 75-го. Ему для подкрепления публицистического пафоса все-таки понадобился «честный чекист», «строитель коммунизма», положительный советский герой в «итоговой вариации».

ции», четверолапый Павка Корчагин, у тебя же было — без аллегорий — «ощущение неотменимой трагичности живого существа, обреченного своей судьбе». Из чего, между прочим, я заключаю, что ты, в отличие от некоторых, не на одни эпитафии обращаешь внимание, но и на подзаголовки. Ведь писано было городу и миру: «история собаки», — не видють! Латынина даже посетовала, что недостаточно жесткий с героя спрос, не как с Полуболотова, — а того не заметила, что Полуболотов-то жив-здоров, а псу в первой же сцене вынесен смертный приговор, и все далее происходящее — только отсрочка исполнения. Повесть и писалась с тем ощущением, которое ты поймал и обозначил, — что Руслан свою смерть таскает с собой неразлучно, как если б ему под шкуру зашили ампулу с ядом, с антабусом, неминуемо должным когда-нибудь, при каком-то случае, его убить. Химический же состав токсина — хоть ты почему-то упорно с этим не соглашаешься — именно то, чему мы его научили и в чем он оказался первым учеником.

Дорого автору и другое твое восприятие, что я не держу читателя лагерными ужасами, но вся суть — «в постоянном вывороте жизненной ткани с «добра» на «зло» и обратно»; и весь ужас — «что из элементов добра магическим образом составляется зло», что «выстроился тот тоталитарный лагерь... еще и на честности и правде! Еще и на положительном Руслане...». Кажется, еще чуток, и мы поймем удивительный — и печальный — парадокс русской литературы: все норовят авторы представить нам героя «положительно прекрасного», а сволочная действительность не дает ни в какую, и поэтому Гоголь свое дитя в печке спалил, Достоевский — никого лучше эпилептика не нашел, а твой покорный слуга взял и собаку восславил, которую к тому же «следовало отстрелить». Прошу не понять так, что я себя каким-то боком встраиваю в ряд с великими, это Абрам Терц делает, а я — просто для наглядности, для примера.

«Верный Руслан», возможно, и не великая книга, но — хорошая. Может быть, даже очень хорошая. (Почему-то не

принято у нас говорить «хороший писатель», а ведь какой прелестный и точный комплимент!) И читать ее, судя по твоей статье, будут еще долго. Если столько мыслей и темперамента она возжигает у критика, еще не вечер для нее. И не абсолютно исключено, что и Л. Аннинский к ней еще вернется, как некогда к «Большой руде».

Есть, однако, вещи, с которыми трудно мне согласиться. У тебя получился занимательный, былинной красоты зачин, будто сперва слух пошел, что надвигается из восточной глубинки грандиозный и актуальнейший сюжет, и выходили на него разные добры молодцы — покуда не взялся Владимов. Было все немножко не так, скорее — наоборот. Сперва Владимов написал, и новомирские машинистки распечатали, отрезав верх страницы с именем автора, и оттого и пошел слух о «новом шедевре» Солженицына (кинорежиссер Марлен Хуциев, знакомясь с ним, ляпнул даже об его «лучшей вещи — про собаку», на что бывалый зэк никак не отреагировал, смолчал), а позднее рассказ этот сделался бродячей легендой, которую использовали всяк по-своему 12 авторов, в том числе Яшин. Но, кажется, он не стихи написал, а тоже рассказ, и это было объявлено журналом «Москва», и пришлось Б. Заксу туда звонить и разъяснять. Щепетильный Яшин свое тотчас забрал и, по-видимому, уничтожил. А я, таким образом, был 13-м, кто приступил — по второму заходу — к собственному сюжету. И ежели больше других преуспел, так потому, что не всем на пользу чужое. Пушкин, как нам известно, дарил Гоголю сюжеты — «Ревизора» и «Мертвых душ», но он не дурак был дарить пушкинское, дарил — гоголевское.

Что о «рыданиях, выдаваемых за кашель», не зэк рассказывает, а суворовец — может статься, ты и прав, но в силу твоей язвительной привычки искать не там, где автор говорит, а где он проговаривается или оговаривается. С поезда прыгивает все-таки зэк (и тот же Солженицын в одном частном письме признал, что написано о лагере «изнутри, а не снаружи»), но ты прошел

мимо вокзальной сцены, как и многого еще, что не слишком удобно ложилось в концепцию. Вот Наталья Иванова — та не прошла, движется как-то в фарватере с автором, пока что всех параллельнее. Достоинство это или изъясн критика, я уж не разбираюсь, так как давно отпал от этого жанра. Но если мне и хотелось публицистического разговора в критике, так именно такого, как в № 21 «Огонька» — о свободе, и на что мы ее тратим, и кто нам на сей счет смеет указывать. Если б меня еще при этом не переслаивали так насильственно с моим Митишатьевым — Войновичем! Как они друг с другом соотносятся, Руслан с Чонкиным, уму непостижимо, ведь они живут в разных измерениях, каждый по своим правилам игры. Я говорю о тех правилах, которые обыкновенно объявляются автором на первых же страницах, а то и в первых абзацах: скажем, садится посреди деревни самолет, и собираются мужики вокруг, и какой-то мальчик вдруг палкой лупит по плоскости, то бишь крылу. Ни в одной российской деревне никакой мальчик ни при каких обстоятельствах не ударит палкой по самолету (да в те годы, начало 40-х!) — стало быть, это не простая деревня, а какая-то необыкновенная, деревня Войновича, где все возможно, «что и не снилось нашим мудрецам». Но если мы эти правила игры приняли, эту палку проглотили, то проглотим и Чонкина, которого в природе не было. Не было никакого «русского Швейка» — так его аттестует западная реклама; нечто из области чувашского Фадеева и ханты-мансийского Ильфа-Петрова, сомнительное и несуразное, ибо что оно такое — Швейк? Солдат маленькой страны, втянутой в большую чужую войну. Но наша Отечественная ни для кого чужой не была, даже для дезертиров, уклонявшихся от нее все-таки с чувством греха и вины. Да, впрочем, русский характер всякую войну примет, как свою, кто бы ее и ради чего ни затеял, потому как — надоть! Надоть его (немца, чехословака, афганца и др.) мордой об землю, больно много воображать начал!..

Кстати, дорогой Лева, насчет «поворотного 1966 года» — оно, конечно, «Привычное дело» вещь замечательная, волшебная, но с той поправкой, что и Ивана-то Африкановича этого прекрасного — тоже не было! Существовал он — как воплощение принципа, что если даже и не было, так следовало придумать. Да если б был он — не было бы трагедии Василия Ивановича Белова, не писал бы он «Все впереди», а снова и снова прибег бы к своей бесконечной Тимонихе. Но вся эта «деревенщина» — исключая, может быть, Матрину, шукшинских «чудиков» и можаевского Живого, — существовала лишь в головах изобретателей, в чертежах и эскизах, натурные же образцы — не работали, и в конце концов это выявил, сам того не хотя, Распутин со своими святыми старухами. Мы с тобой знаем, что пуше всего они мечтают перебраться в квартиры с газом и унитазом, но, согласно Распутину, они так свою «почву» любят, что даже полы моют перед затоплением Матеры. Это и не самим придумано, а заимствовано частью из «Поэмы о море» Довженко, а частью из «Гибели эскадры» Корнейчука, где боцман приказывает драить палубу перед затоплением родного линкора. Я немножко плавал и немножко знаю военных морячков, они бы этого боцмана взяли за шкирку и выкинули за борт. Правда, тогда бы не было великой драматургии.

«А Руслан — был», — как утверждает (надеюсь, справедливо) в № 7-м «Нового мира» Александр Архангельский. Кто таков, не знаю. Говорят, молодой, лет тридцати. И по молодости — отважный (т. е. не битый еще), отдал мне предпочтение перед Булгаковым. Как, впрочем, и ты. Выслушал это дело Максимов и сказал: «Что ж, это правильно. Все-таки «Собачье сердце», при всем блеске, при всех достоинствах — фельетон...» Не решусь ни оспорить, ни согласиться насчет жанра, но, честно признаться, вещь эта коробит меня. За что, собственно, оскорбили пса, представили его сердце вместилищем наших пороков, гнусностей и мерзостей? Сказывают, Михаил Афанасьич котов уважал, но в собаках он явно не разбирался: они таковы, какими мы их иметь желаем.

Тут я подползаю к «подсунутому долгу» и как господа испортили зверя. Почему же это «малосущественно» и чем мешает моим объяснениям «теплая кровь, сочащаяся из «тяжелой добычи»? Это же не так надо понимать, что было травоядное милое существо, а мы его пристрасшили к пище мясной. Нет, был зверь, но — заключивший договор с Человеком. И там было — любить хозяина, защищать его, даже ценою своей жизни, но не было — «пасти двуногих овец», это вставлено задним числом, жульнически. И все же он взялся выполнять и этот пункт, вот в чем он обманулся, в чем его трагедия, а наша — вина. Можно было бы написать эпизод, где бы на охраняемую колонну напали посторонние (с целью, скажем, освободить ее, такое тоже случалось) — и он бы своих эзков тоже защищал ценою своей жизни, да, собственно, и делает это — в «собачьем бунте». Тогда бы, может быть, яснее стала суть чудовищной подмены.

Кстати, на гнилом Западе не менее остроумно приспособили пса служить «добру» — искать наркотики в автомобилях. Он все отлично унюхивает, даже в бензинном отсеке, но потом хозяину-пограничнику приходится долго вырывать у него из клыков пакет с героином. И вдруг догадываешься с оторопью, что ведь пес этот — наркоман (точнее — «наркодог»), таким его нарочно сделали господа. И значит, во спасение наше дни его сочтены и полны мучения, адского наркотического голода. А ты говоришь — малосущественно.

Письмо у меня затягивается и растекается в стороны, «мысию по древу»*, а главное все не формулируется. Может быть, оно в том состоит, что мы никого не имеем права втягивать в свои грязные, полоумные, кровавые игры. Хоть от этого воздержимся — и на том Суде немного заслужим прощения.

* Кстати, в «Слове о полку Игореве» так и сказано. Многие исправляют на «мыслию по древу», образ несуразный, никак не сочетающийся с «шызым орлым под облакы». Между тем, «мысия» по-древнеславянски — белка.

Письмо Льву Аннинскому о «Верном Руслане»

Хотел еще про украинцев огрызнуться, да вспомнил, что ты не едешь на машине, а то бы знал, что самые беспощадные орудовцы — с хохлацким выговором. Так что тут моя маленькая месть. А голод на Украине я сам пережил в возрасте полутора лет, я же из Харькова.

Надеюсь, у тебя все хорошо, ты полон замыслов и не слишком измучен перестройкой. Наташа, как и я, кланяется тебе и всем твоим и желает всяческого благополучия.

Обнимаю тебя,
твой *Г. Владимов*.
30 октября 1989 г.

Литературное обозрение. 1990. № 3

ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

На смерть А.Д. Сахарова

У меня в руках — не слишком толстая синяя книжица — «Сахаровский сборник», составленный друзьями Андрея Дмитриевича к его 60-летию. Свой последний круглый юбилей он справлял в горьковской ссылке, и мы принесли в подарок ему — кто статью, кто прозу или стихи, кто просто изъявление любви, сострадания и утешения. Есть и собственные статьи юбиляра, а на обложке — его портрет: лицо чуть тронуто улыбкой, лоб высок и светел, все выражение — не совсем обычного для него гордого спокойствия. Лицо президента, которого не удостоилась иметь Россия.

Этих фотографий мы раздали тогда больше пяти тысяч, люди брали опасливо, разглядывали с удивлением: «Так вот он какой...» — и непременно оставляли себе. Недаром этого лица боялись, оно могло свести на нет кампанию «всенародного осуждения». Помню, в конце 70-х готовился очередной том Большой энциклопедии на букву «С», где не миновать было поместить статью о Сахарове. Но это еще полбеды, статью можно и причесать, а вся беда, что академику, хоть и опальному, но полагалась по чину фотография. Согласовывали этот вопрос с цензором, и вот что он ответил: «Исключений делать не будем, портрет дадим, поскольку издание идет за границу, переводится в Англии,

за него платят валютой. Но — надо подобрать самое неудачное фото». Перебрали — и неудачных как-то не нашли, всякое фото Сахарова по-своему интересно. «Ну, тогда, — сказал цензор, — сделайте соответствующую ретушь». Однако и ретушер, мастер своего дела, справлявшийся с таким, к примеру, заданием: «У академика Лысенко убрать фанатизм», — здесь отступился, сказавши: «Поразительное лицо! Чем его больше ретушируешь, тем оно лучше. Прямо — портрет Дориана Грея!» Собрался экстренный совет издательства, на нем остряки внесли и такое предложение: «Перепутаем портреты — вместо Сахарова дадим, скажем, академика Пилюгина, в следующем томе извинимся мелким шрифтом, а портрета все-таки не дадим». В то маразматическое время это обсуждалось всерьез, но цензура все же не одобрила. Какой выход нашли энциклопедисты, наш советский человек, я чувствую, уже догадался. В той части тиража, что идет за границу, фото Сахарова дать, а которая советскому подписчику — совершенно верно, там еще текста добавить. Как раз уместится фраза: «В последние годы С. отошел от научной деятельности».

Я привел лишь один из тысячи уколов, какими вынуждали его замолчать. Запрещали не только упоминание его имени, запретили учебник физики для техникумов, составленный отцом и только доработанный сыном. Смирись, гордый человек! Разве мало тебе изматывающей слежки, угроз твоим родным и друзьям — и угроз сбывающихся, мало негласных обысков, перлюстрации и пропажи писем и дневников, мало, что врываются с оружием то арабские террористы из «Черного сентября», то пьяный капитан МВД с пистолетом Макарова, мало бессудной и бессрочной ссылки с милицейским постом у дверей, персональной глушилкой для твоего транзистора, съемки скрытой камерой и вечной подслушки, психотропных инъекций и насильственного кормления через зонд? Все он принимал со стоическим терпением — как должное, как неизбежное, но никогда не равнодушно. Я видел его раздосадованным и во гневе, видел отчужденным, погруженным в себя, и с чего-то вдруг

необычайно оживленным, распеваящим частушку, видел презрительно-спокойным у стен суда, когда дружинники, призванные никого не пускать на наши открытые процессы, хором ему скандировали по команде: «Нам стыдно за академика Сахарова!» Я только не видел его растерянным от очередного подарка судьбы. Кажется, лишь однажды он сильно удивился — когда в служебной машине, которая дважды в неделю его подвозила в физический институт, замки в дверцах залили эпоксидной смолой. «Чего они добивались? Чтоб я опоздал в свой институт на семинар?» Искренне он не понимал этого вклада славных чекистов в отечественную науку. Что и говорить, эти проказники нам соскучиться не давали, трудились ребята с огоньком, во всякую свою затею вкладывая много души, веселой выдумки. Испытав, что такое сахарный сироп, залитый в бензобак, я преклоняюсь перед их неистовой энергией. Вот чего не понять мне — как при стольких уколах, ударах, подножках, при всех волнениях и мучениях, как удалось ему дожить до его 68? И чего, наверно, не понять будет следующим за нами поколениям, и никто не сможет объяснить — как огромная могучая страна позволила все это проделать над своим великим сыном, у которого только и было заботы — ее благо, ее процветание. Может быть, главная наша потеря — что мы потеряли себя.

Ничем другим, как общим безумием времени, нельзя объяснить, почему коллеги-академики не только его не поддерживали, — хотя им за это не грозили ни тюрьма, ни голод, — но дружно стыдили его и клеймили; почему выступали против, взбадривая «народный гнев», и такие люди, мнением которых, несомненно, он дорожил — Чингиз Айтматов, Василь Быков, Дмитрий Шостакович. Я не затем привожу эти имена, чтобы свести поздние счета, тем более что один упомянутый сам уж давно в могиле, я лишь хочу показать, какие против него брошены были мощные резервы, лучшие силы нации, и какую же надо было проявить ответную силу души, чтобы не отступить, не сдаться, нести и дальше взваленную на себя ношу.

Его окружала горстка друзей и единомышленников, дышавшая разреженным воздухом высокогорья, воздухом плацдарма, от которого стена страха отделяла сегодняшних трупоедов, сочинителей героических автобиографий, нестеснительно рассказывающих, как и они помогали Сахарову в его правозащитной деятельности. Но у меня сейчас стойкое впечатление, что не так он и нуждался в помощи этой горстки, не столько он от нее, сколько она от него черпала уверенность и силы, и не будь ее, он все равно проделал бы свою гигантскую работу, которая сегодня кажется неподъемной.

В дни похорон телекамеры показывали нам лик народа — урюмый и скорбный и заметно растерянный. Можно было прочесть на этих лицах: «Как же мы раньше не знали, какая мы сила? И как позволили вот этого человека замучить?» Похоже на то, что целая страна виновна перед этим одним. Но если б это было так, нам, пожалуй, не на что было бы надеяться. Из числа виновных следует исключить тех, кто по крайней мере безмолвствовал, когда призывали клеймить, и сейчас укоряет себя за свое безмолвие. Тех, кого все же не задумали, кто не дал себя отравить сильнодействующим ядом печатной лжи, кто продолжал хоть втайне сочувствовать неукротимому академику и видел в нем воплощенную мечту о народном заступнике, российском Робине Гуде. Приходилось мне слышать в те годы, как бросает в сердцах совсем уже отчаявшийся: «Нет на вас академика Сахарова... Сахаров знал бы — не допустил... Одно мне осталось — к Сахарову пойти...» И шли сами, и посылали ходяков к порогу его квартиры, что, между прочим, было немалым подвигом для них, а ему — поддержкой. Слышал я и легенды о нем — они ведь не только о нем говорили, но и о тех, кто их сочинял или пересказывал.

И когда сейчас — не в Москве, где его хоронили, а в Ленинграде или Новосибирске — собралась на траурный митинг 50-тысячная толпа, это многое говорит об этой толпе, свидетельствует в ее пользу. «Из-под каких развалин говорю, из-под какого я кричу обвала!» — так писала Ахматова

о себе, так можно сказать обо всем народе, который сегодня высказал свое истинное отношение к Андрею Сахарову и заставил высказаться свое правительство.

Нам приходилось слышать и читать о конформизме Сахарова в его последние годы, о том, что в горьковской ссылке с ним что-то сделали, с его обликом и душой. Что ж, бывает, твоя позиция совпадает с позицией руководящих, и только несамостоятельный мыслитель может стыдиться этого. Но вот какая судьба у него — последний телекадр, изображающий его живым, запечатлел непримиримую схватку между ним и генсеком — тем самым Горбачевым, который, по мнению многих, становится уже тормозом для собственных смелых начинаний. Не думаю, чтобы он вытаскивал Сахарова из его ссылки с расчетом его приспособить, он просто не мог иначе, кто бы тогда поверил в его перестройку? А выйдя — впрочем, еще и не выйдя, — первое, что сделал непокорный арестант, нагрузил своего освободителя длиннейшим списком, кого следует освободить с ним заодно. Он остался бойцом, вызывающим у одних зависть к победителю, у других — раздражение столь многогранным деятелем, которого бы им хотелось укротить, указать ему его место. На недавнем пленуме Союза писателей российских новый редактор журнала «Москва» Владимир Крупин вот как доблестно осадил зарвавшегося академика: «Конечно, он в оружии массового уничтожения понимает больше, чем я. Но думаю, что я понимаю больше, чем Сахаров, в литературе». Оценим и хлесткость удара, и понимание трагедии физика, давшего в руки государству сверхоружие, а затем добивавшегося его запрета. Признаем также, сколь продвинулись мы за 20 лет в своей профессиональной самостоятельности: бывало, знатные сталевары учили Твардовского, как ему вести «Новый мир», теперь — образованнейший читатель Сахаров не вправе высказаться в защиту редактора Ананьева. Но кажется мне, слово «литература» в данном случае эвфемизм, заменяющий слово «политика», а слова «не суйся в нашу политику» Сахаров уже слышал, слышал от Брежнева, а еще раньше — от Никиты Хрущева:

«Ваша задача — бомбу сделать, а нам, политикам, не мешайте ее применить, если понадобится».

Никому из своих противников Сахаров теперь не помеха, но думаю, очень скоро они спохватятся и остро почувствуют его отсутствие. Поймут они, какой груз государственности ташил он один, заменяя собою целый синклит. Ведь он не только возмущался и протестовал, но, как истинный ученый, всякий раз предлагал конструктивные решения. Не в том его заслуга, что он афганскую войну назвал преступной, это несложно было сформулировать, но он предлагал и поэтапный план ее наименее болезненного окончания — в письмах главам государств, постоянных членов Совета Безопасности. Приняли бы мы вовремя его план, сколько тысяч вернулись бы домой живыми и невредимыми.

Что же касается оружия массового уничтожения, есть и такое парадоксальное мнение, с которым, верно, не согласится Крупин со товарищи, что оно сослужило человечеству неплохую службу, от него сильно поубавилось имперских амбиций и пришлось задуматься, как вообще-то дальше воевать, если так тесна Земля наша, что, размахнувшись, себе же попадешь по голове. Раньше и лучше многих это осознал Андрей Сахаров — и выступил против СОИ, космической защиты от ракет, коль скоро она, не будучи стопроцентно надежной, порождает иллюзию, что воевать все-таки можно. Согласимся мы с ним или нет, но признаем, что и его мысли о многопартийности или конфедерации автономных государств в границах Союза, равно и экономические идеи, разрабатывались не для украшения парламентского красноречия, а чтобы нам избежать распада и катастрофы похуже Восемнадцатого года.

Андрей Сахаров ушел не как Твардовский, исчерпавший все возможности диалога с властью, нет, он пал на полдороге, в разгаре битвы, когда еще не ясно, кто кого. Заменить его — невозможно, некем, не видно такой фигуры, которая могла бы в ближайшие годы занять его место. Разве что соединенный, коллективный разум сможет это сделать, но ве-

Георгий Владимов. Бремя свободы

рится в него, честно говоря, с трудом. Слишком талантливые мы фракционеры и разъединители связей, слишком редки среди нас — собиратели, каким и был этот мирный воитель, обо всем земном шаре думавший праведник, человек на все времена.

Надежда после его ухода едва лишь брезжит. Но я посчитал бы себя плохим другом и единомышленником Андрею Дмитриевичу Сахарову, если б не постарался эту зыбкую надежду тем не менее высказать.

23 декабря 1989 г., к 9-му дню

Радио «Свобода»
Русская мысль. 1990. 5 января

КАКОЙ ЗЕФИР СТРУИТ ЭФИР

Недавно по радио «Свобода» в трех пространных передачах программы «Поверх барьеров» московская поэтесса Татьяна Щербина поведала нам о своих былых отношениях с КГБ. Ее очерк или эссе так и называется «Мое поколение и КГБ» — этим подчеркивается массовость вовлечения очередной генерации в тайную службу, в то засасывающее болото, откуда не каждый выбирается несломленным или незамаренным, — так что перед слушателем вполне вырисовывается облик новейшей Настасьи Филипповны: «...из такого ада чистая вышли...»

Не утомлю читателя примерами дурновкусия, восторга от собственной добродетели (за 1000 рублей не отдалась!), засорения эфира матерщиной, в женских устах крайне неприятной и подозрительной, — речь моя не об этом. Слушатель искушенный — скажем, участники Демократического движения, к которым и я имел честь принадлежать, — этот слушатель едва ли поймет, какой интерес был у гэбистов к такой экстравагантной, но в целом скромной особе. Ни «Хроника текущих событий», ни мемуары правозащитников, насколько мне известно, диссидентское или полудиссидентское имя «Татьяна Щербина» в историю не подхватили. Да, собственно, за воительницу она себя и не выдает, скорее за случайную жертву всеоб-

щей «охоты на ведьм». Но тогда еще более странны те сведения, что она сообщает о себе, о своих друзьях и знакомых, ну и о «них», сотрудниках госбезопасности.

«Они» будто бы говорили ей: «А вы ничего не боитесь!» — и следует подтвердительная декларация о Щербинином бесстрашии. Мне, право, завидно: такого комплимента ни я, ни мои друзья не удостоились от наших преследователей — наверно, знали они, как нам на самом-то деле страшно, да ведь и сегодня противостоять им — не в шашки играть... И простите мою дотошность, но хотелось бы знать обстоятельства места и времени; общение советского человека с КГБ всегда как-то регламентировано и как-то же называется: то ли это допрос у следователя, то ли обыск — у тебя или у соратника твоего, то ли доверительная беседа на явочной квартире или в гостиничном номере (так красочно описанная у Войновича). Хотелось бы и подлежащее уточнить: «они мне говорили» — такой оборот в среде правозащитников не проходит, «они» имя и фамилию имеют, звание, должность — и обязанность представиться собеседнику. Так вот, где, когда, кто говорил Татьяне Щербине, что она ничего не боится? И — по какому поводу? Может быть, она листовки расклеивала — против диктатуры КПСС? Или демонстрировала — за свободу Сахарову? Судить по рассказу, всего только прошла по улице с Константином Азадовским.

Далее, они ее спрашивали, почему проваливаются их сексоты, по каким признакам их различают. Этот вопрос, сказал бы я, знак доверия высочайшего. Не знаю диссидента, кому бы его задавали. Знаю, что всякий разговор о тайной агентуре, о стукачах гэбисты пресекают, у них нет «осведомителей», у них — штатные «помощники», так нам разъяснил недавно шеф Крючков. С чего вдруг такая откровенность с поэтессой из андерграунда, можно сказать — с богемой? Ну подумайте, можно ли задать такой вопрос, не назвав, кто именно провалился, — и, значит, провалить окончательно бедного NN, насчет которого

были пока что одни подозрения? И какого же ответа ждали от Щербины, каким опытом она могла поделиться? Она сама кого-нибудь выявила, разоблачила? Или она кажется всевидящей, проницательной? О нет, она себя такой не рисует, она — наивная, она «дурочка с мороза», она сама настрадалась от своего легковерия.

Вот так, с мороза, она попала в салон «мадам Икс», который оказался то ли явочной квартирой, то ли прослушиваемым и просматриваемым притоном, куда и слетаются, как мухи на липучку, легковерные, приманенные хлебосольным гостеприимством и интересной во многих отношениях хозяйкой. Такие салоны есть и в Москве, и в Питере, и рассказу о них ничуть бы не повредило, а лишь поспособствовало украшению, если б Татьяна Щербина нам назвала эту «мадам Икс», сообщила бы, «где эта улица, где этот дом» и что же там в действительности происходило, помимо того, что пили виски, закусывали икрой и друг дружку подозревали.

Признаться, плохо понимаю, какая и кому польза от того, что мы бросаем в эфир псевдонимы — и иногда давно раскрытые. Ведь, скажем, легко узнаваем этот Барашкин, литератор, который на следствии «потек», а выйдя из тюрьмы, печатно клеймил Василия Аксенова (также и Юза Алешковского) и прочих, кто его склонил «на путь предательства», т. е. публикаций за границей. С фамилией, производной от мелкого рогатого скота, был такой — Евгений Козловский, автор повести «Красная площадь», опубликованной в «Континенте», и каялся он в «Московской правде», и его уже назвал в недавнем интервью Аксенов, и я называю — в февральском номере «Юности», в беседе с Анной Пугач. К чему теперь конспирировать с «мадам Икс», Барашкиным или иным каким персонажем, которого автор называет загадочно: «ну, предположим, “Питон”»?

Особенно поразило меня, что Татьяне Щербине было известно заранее, чего ни Аксенов не знал, ни я, ни другие жертвы этого Козловского, которым он приносил на

отзвывая свои рукописи и у кого под этим предлогом проводили потом обыски. Оказывается, некий Саша, «агент из Союза писателей», ей сообщил, что Барашкина скоро посадят, — и никого она не предупредила, хотя бы, к примеру, Виктора Ерофеева, с которым была знакома и кто мог бы дальше оповестить «метропольцев», меня, Владимира Кормера, да, наконец, и самого Барашкина-Козловского! Я не знаю, был ли он засланным провокатором, как Щербина подозревала, или же он просто слабый человек, сломавшийся на следствии, убоявшийся лагерного срока, но, может быть, предупреди его кто о готовящемся аресте, он бы как-то иначе себя повел, отшатнулся бы от среды людей, где ему было не место, где он по своей слабохарактерности мог только навредить. Да и не одними же прагматическими соображениями должны мы руководствоваться, когда какой-нибудь новый Клеточников нас о чем-то предупреждает. Представим себе, кто-то шепнул нам, что точится топор на о. Александра Меня, и мы умолчали об этом — ведь это считалось бы соучастием в убийстве. Так не могу ли я считать Татьяну Щербину соучастницей моего изгона в эмиграцию? — ведь при том обыске, из-за Козловского, и добыли у меня гэбисты доказательства моей «антисоветской деятельности», после чего могли на выбор мне предложить — Запад или Восток — и представить к лишению гражданства.

Наверно, имело бы смысл предложить Татьяне Щербине ответить в тех же «Барьерах» на вопросы, которые я здесь изложил, но это, разумеется, не в моей компетенции, мое дело — лишь высказать суждение. Еще ни одна передача радио «Свобода» так не возмущала меня, не казалась столь кошунственной — по отношению ко многим людям, в их числе — жестоко пострадавшим, а то и погибшим. В беседе с Кириллом Хенкиным по случаю его 75-летия высказалась Татьяна Щербина в том смысле, что все мы, утаивая истину, не называя имен — из опасения судебного преследования или по излишней щепетильности, — «участвуем в этой машине», в игре, навязанной нам

Какой зефир струит эфир

КГБ. Думаю, что она права, что и станция «Свобода» в этой игре участвует, предоставляя микрофон гостье из Москвы для ее завлекательного щебета — если то, что она говорит, действительно только щебет.

Русская мысль. 1991. 28 июня
Столица. 1991. № 51—52

ТРИ ОШИБКИ ЗАГОВОРЩИКОВ

Насколько я могу судить из своего далека: по меньшей мере, три ошибки заговорщиков позволяют считать их затею заведомо проигранной. Они делали ставку на непопулярность Горбачева и думали, что народ либо одобрит его свержение, либо останется к этому равнодушен. Они не поняли, что президент на вершине своего могущества и президент, подвергшийся незаконному аресту, — это два разных президента. Первого можно ругать и проклинать, второй вызывает к себе сочувствие и ощущение, что каждый из нас оскорблен лично.

Вторая ошибка — Ельцин. Они не позаботились его изолировать, поскольку надеялись на конфронтацию между ним и Горбачевым, на их соперничество, на то, наконец, что Ельцин не забыл и не простил той давней обиды, когда Михаил Горбачев отстранил его от власти. Борис Ельцин показал себя человеком чести и настоящим большим политиком, а не дешевым игроком. Он проявил и благородство к свергнутому сопернику (чувство и несвойственное, и, пожалуй, неизвестное путчистам), и необычайную решительность. Поэтому сейчас он главная фигура происходящего — ему принадлежит все внимание и восхищение мира.

Третья и самая большая ошибка путчистов — народ, для которого шесть лет перестройки и гласности не прошли

Три ошибки заговорщиков

даром. Оказалось, никакое насилие не способно было создать нового человека, как это удастся за такой короткий срок с помощью свободы. Этот новый человек не остался равнодушным и не поддался страху. Он не укрылся дома, на кухне — он вышел на улицы и площади, он упирается безоружными ладонями в танковую броню, и танки этого не выдерживают и отступают.

Заговорщики проиграли свою игру. Но именно потому, что они плохие игроки, не нужно обольщаться, что их затея кончится быстро. Хороший шахматист не дожидается, когда ему объявят мат. Плохой — играет свою безнадежную партию до последнего.

Я видел удручающий кадр — как тащат из люка молоденького танкиста. Это ни к чему доброму не может привести — лишь к разжиганию взаимной ненависти, чреватой обоюдными жертвами. В этот роковой час не забудем, что мы единый народ, единая нация, и значит, есть у нас надежда договориться, достучаться до сердца этого обманутого солдата, у которого так мало времени для размышлений и так велика ответственность. Убедите его, подскажите ему правильное решение, но пусть он его примет сам. Поверим ему — он покажет себя гражданином, для которого не напрасными оказались эти шесть лет свободного дыхания.

21 августа 1991 г.

По телефону

Московские новости
(специальный выпуск).

1991. 24 августа

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...

Из цикла «Вечера на хуторе близ Лубянки»

Как всегда, без лишней спешки, на почтовых с колокольцами, доставили мне из Москвы номерок «Литературной газеты» от 16 октября, и в нем — вот реприманд неожиданный! — новую порцию откликов все на ту же, июльскую, дореволюционную, статью Аллы Латыниной «Когда поднялся железный занавес...»*.

Грешным делом, не думалось, что «Литгазета» останется так верна своему обещанию, ведь столько событий произошло — и каких! Отлязгали гусеницы путча, и уже полузабыты жертвы его; еще сколько-то пере-переименовано городов — и среди них «колыбельный» Ленинград; еще сколько-то идолов сворочено с пьедесталов — и среди них особенно настрявший Железный Феликс; и выдраны самые зубы Дракона (а впрочем, и новые должны отрасти, если из привычного КГБ простым амебным делением образовалось три неизвестных); уже наконец и сама Латынина, не перенеся оглушительного успеха своей статьи, поспешила отречься (в ответе Войновичу) от того, что и принесло успех: «С чего Вы взяли, что я призываю Вас жить в Москве? Мне решительно все равно, где живет русский писатель: в Париже, Мюнхене или на Луне» (Зна-

* ЛГ. 1991. № 29; дискуссию вокруг статьи см.: ЛГ. № 33, 37, 41, 44.

ем, как Вам «решительно все равно», так и поверили!); а дискуссия-то все продолжается — «о роли и месте писателей русского зарубежья в сегодняшнем нашем литературном и общественном процессе» — и только вырисовываются в туманной дымке новые повороты темы...

Распечатать пакет новых откликов предоставлено Владимиру Максимову. Как до него Юрий Милославский, щелчка по носу, предназначенного всей «третьей волне» эмиграции, он определенно не заметил. Милославский, помнится, уверял, что «статьи, подобной нынешней, латынинской, дожидался давно» и что она — «только начало осознания и самовразумления» (?!). Максимов солидно ему поддакнул и, к сожалению своему, признался, что «вынужден согласиться как с пафосом, так и с доводами этой статьи». Пафос и доводы эти сводятся к вопросу: «Почему мы должны вас слушать, если вы не возвращаетесь?» — как же понимать вынужденное согласие? Что добровольно умолкнет столь ценный для всех нас живительный голос? Или что его обладатель решил-таки вернуться на свой Бескудниковский бульвар? Мимоходом и комплиментами обменялись: Милославский попросил не путать эмигрантскую элиту, «в которой творчески существовали и существуют Иосиф Бродский и Владимир Максимов», с прочим болотом, которое он называет не очень внятно «комсомольско-молодежной и космически-оптимистической пустотой». Максимов, знающий толк в «обоймах», тандем с нобелевским лауреатом оценил и, в свой черед, объявил Милославского «одним из самых талантливых прозаиков эмиграции». Как сказал поэт: «Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет!..»

Отклик Наталии Ильиной, эмигрантки еще «первой волны», возвратившейся в Союз в конце 40-х годов, называется «Из-под одного сапога» — так обозначено общее наше, обеих дискутирующих сторон, происхождение. «Тем, кому этот сапог одинаково ненавистен, — вот пафос этой статьи, — кидаться друг на друга не следует». Что ж, коли нет для примирения иной основы, примем хоть эту. Примем и следующее важное свидетельство: «Уже прихо-

дилось читать в нашей прессе статьи, где перечеркивается все, что делали писатели, никуда из СССР не уезжавшие. Намекается, а то и говорится прямо, что те, кто на площадь не выходил, в тюрьме не сидел, в самиздате не участвовал, а легально публиковал свои произведения, — пособники режима». Ценно тут, что источником этого вздора называется *наша пресса*, т. е. советская, хотя, честно признаться, не безгрешны были и эмигрантские издания. Тем не менее, когда из пределов покинутого отечества доносились проклятия «отщепенцам», «предателям», «агентам ЦРУ», обзываемые в целом не торопились в отместку «сбросить с корабля современности Юрия Трифонова, Василя Быкова, Федора Абрамова, Бориса Можаева, Владимира Тендрякова», не отрекались от «Нового мира» Твардовского. Если и находились исключения, коллеги-эмигранты им не аплодировали и, как правило, ставили их на место.

Однако ж истинно гвоздевым материалом пакета следует признать его третью составляющую — статью Светланы Беляевой-Конеген под названием обманчиво-скромным и кокетливо-отстраненным: «Совершенно абстрактные рассуждения о «врагах отечества» и «честных советских гражданах». Содержащаяся в ней концепция представляется мне радикальным вкладом в исследования «благородной болезни» всякого сопротивления, нашего Демократического движения в частности, равно и феномена эмиграции, не без рекомендаций, как к этому феномену относиться. Короче, здесь что-то новенькое, достойное подробного рассмотрения.

Читатели «Двенадцати стульев» помнят, наверно, предмет зависти Элочки-Людоедки, интеллектуально продвинутую Фиму Собак, которая даже знала слово «гомосексуализм». Светлана Беляева-Конеген несравнимо богаче: помимо излюбленных ею «социума» и «андерграунда» у нее в запасе «институциональные воплощения», «креативные начала», «реляционные структуры», «институализированные системы», «фундирование зла» и бог еще знает сколько всяких там «идентификаций» и «само-

идентификаций». Как у кого, а у меня при словах «социокультурный менталитет» тотчас разбалчивается голова и начинает казаться, что неприличные обороты Юза Алешковского предпочтительней. Если же не пугаться и разгрести ложкой эти ингредиенты социологического свекольника, обнаружится дно неглубокое и не очень чистое. Разгрести я попробую с помощью попутного комментария, только попрошу читателя о терпении. Перевести упомянутую концепцию на язык родных осин можно, да жалко — утратятся некоторые прелести ученого стиля, причудливые одеяния раскованной мысли.

Итак: советская власть не может жить без врага — «сопротивленца», «диссидента», «нарушителя социалистической законности» — и она «этого преступника сознательно, искусственно создает, выращивает, нежно лелеет и холит». В сущности, это главная и даже единственная цель всех исправительных заведений — тюрем, лагерей, колоний — «порождение и воспроизведение преступника». Примем оговорку автора: понятия «враг», «преступник», «преступление» она употребляет «абсолютно отвлеченно, не наполняя их каким бы то ни было «отрицательным» или «положительным» морально-этическим содержанием». Это понятно: если бы наполняла, ей бы пришлось либо в стан гонимых себя поместить, либо — совсем уж открыто — гонителей. Спросим только: а на кой он ей, Софье-то Власьевне, «преступник», зачем так уж надрываться его выращивать? — если тем более «склонность к радикальной оппозиционности в крови у нашей интеллигенции» (что так и перло в глаза при награждениях Брежнева. — Г. В.)? Ну, наверно, для того нужен, чтобы на нем показывать силу карающей длани — и тем нагонять страху на обывателя, да и ему самому было бы на ком срывать досаду на свою треклятую жизнь. Так подумает читатель — и ошибется. Отвечать следует: «преступник» и его «преступная деятельность» нужны для «подходящего «созидательному» началу противовеса».

А противовес — зачем? Тут объяснения автора воспаряют в бескислородные высоты метафизики (о которых

народ выражается порою грубо: «Без поллитры не разберешься», «Черт ногу сломит» и т. п., а саму метафизику обзывает эвфемизмом тоже на букву «мэ» и с окончанием «-логия»). Оказывается, в обществах демократических, где Церковь занимает подобающее ей положение, воплощает общественную духовность, там абсолютному злу нет опоры, или, как пишет г-жа Беляева-Конеген, оно, «скажем, в образе Дьявола, никак не фундировано. И у члена такого общества нет в результате счастливой возможности ощутить себя в той или иной форме носителем подобного рода миссии». То есть втайне мечтают люди нет-нет да выступить «в образе Дьявола», а Церковь, а вера — не позволяют? Как же с атеистами, с агностиками, с теми, кто по тем или иным соображениям в церковь не ходит, — это они-то и совершают реальные преступления, составляют, говоря языком статистики, основную «группу риска»? Боюсь, статистика нас тут не поддержит... Но окунемся в общество наше, «мифологическое», как его называет г-жа Беляева-Конеген, — насчет зла у нас полный ажур, оно «изначально метафизически фундируется», граждане сверх головы рады «добровольно принять на себя функцию носителя этого зла» (Ну, злоумышленники по природе! — Г. В.) и живут припеваючи «с ощущением метафизической и культурно-социологической оправданности этой функции, этой своей миссии, этой своей роли врага...». Еще одно скрипучее усилие мысли — и уложим в свои извилины едва ли не главный постулат: «мифологическое общество фактически изначально конституирует присутствие внутри себя как некоего мифологического протагониста, так и его антипода, врага. Причем оба этих мощных начала присутствуют в сознании буквально каждого члена такого общества».

У этой развилки остановимся, призадумаемся: почему же одних граждан «мощное начало» склоняет к конформизму, влечет предпочесть любовь к начальству и вообще сделать «социалистический выбор», — за что им перепадает кое-какие блага, вроде ускорения в карьере, доступа в закрытые распределители, увлекательных заграничных

странствий, — другие же неблагоразумно лишают себя «высочайшего наслаждения духовного совокупления с массами честных, законопослушных граждан» и избирают «более склизкий» путь сопротивления, диссидентства, изобилующий неудобствами и неприятностями, вплоть до ранней кончины (а не правда ли, как этим «более склизким» эпитетом г-жа Беляева-Конеген пополнила словарный фонд публицистов с Лубянки! — Г. В.)? Ответа на этот вопрос мы не дождемся; под тем предлогом, что тут «чистая наука», из рассмотрения исключаются такие мерихлюндии, как честь, совесть, боль за отечество, стыд за сограждан, и напротив, бесстыдство, алчность, жажда власти, обогащения за счет ближнего и прочая, прочая, — и только академически бесстрастно констатируется, что избравшие второй путь «попадают в другую мясорубку (а первый-то — с икрой, с балычком, с Парижем — разве тоже «мясорубка»? — Г. В.) — в не менее жестко институализированную систему «сопротивления режиму», со столь же жесткой этикетностью поведения и столь же малой их индивидуальной подвижностью, индивидуальной «свободой». Не совсем ясно тут, о какой «жесткой этикетности» речь (если не о правилах конспирации, да и те не выдерживались, увы) и почему закавычены «свобода» и «сопротивление режиму». Хочет ли сказать г-жа Беляева-Конеген, что сопротивление только изображалось? Но тогда она никакой культуролог, ибо, скажем, поднять над собою «возмутительный» транспарант — это и сопротивление, и одновременно изображение его. Хочет ли она сказать, что правозащитники принуждали друг друга к акциям протеста или ущемляли в своей среде индивидуальную свободу — ну, например, свободу скрыть от товарищей вызов в КГБ или о чем была там беседа или допрос? Но тогда пусть ответит: а кто ущемляет нашу свободу прихватить в гостях серебряные ложечки?

Итак, этот-то взваленный на себя добровольно «пудовый груз вины», этот вожденный статус «врага» попытались отнять у эмиграции, *когда поднялся «железный занавес»*, и она, «понятно, ухватилась за него обеими руками»,

из-за чего оказалась «наиболее консервативной частью русского общества». Передовая г-жа Беляева-Конеген ее не шибко за это корит (все же задубелые консерваторы предоставляют гостям из Совдепии и микрофоны, и свою печать), она находит «естественным и простительным», когда «в столь сомнительной ситуации», т. е. вдали «от эпицентра сегодняшних событий» бедные троглодиты апеллируют «к прежним заслугам правозащитной деятельности». Из всего предыдущего изложения никак не предполагалось слово «заслуги»; в терминах социокультурной кулинарии, с приправами от Зигмунда Фрейда, это называлось компенсацией чувства «вины» и оправданием себя «во вражеском качестве». И вообще, я надеюсь, у читателя не осталось сомнений, откуда взялось на Руси великой и в прилегающих республиках Демократическое движение — оно было искусственно выращено Софьей Власьевной для ее надобностей, ею нежно взлелеяно и выхолено, так что все эти диссиденты, вы меня извините, фигуры дутые и насквозь придуманные. Вот только одно неизвестно: «долго ли еще прилично будет размахивать этим ветеранским удостоверением?» Это и составляет главный вопрос всей статьи, и не последним его следовало ставить, а даже вынести в заглавие.

Ради него и взялась Светлана Беляева-Конеген объяснить подписчикам «Литгазеты» то, в чем она, скажем помягче, малость некомпетентна, от чего она еще более далека, нежели эмиграция от «эпицентра». И не скажешь, что она совсем не права; просто она со своими открытиями опоздала на целую историческую эпоху.

Она, естественно, начитана и наслышана, что система тоталитарная без врага жить не может, да только не учла одной необходимой поправки: своего врага эта система *предпочитает выбирать сама*. Продвинутый автор «Литгазеты» кое-что знает, конечно, о временах, когда фабриковались дела шпионов, диверсантов и вредителей, когда высасывались из пальца террористические центры, заговоры и партии, с планами покушений на любимых народом вождей, — вроде «заговора Таганцева» с Николаем

Гумилевым в составе или «Партии возрождения России» с о. Павлом Флоренским во главе, — когда острова ГУЛАГа перенаселялись людьми действительно невиновными, вполне лояльными, славившими Сталина и родную власть вплоть до расстрельной стенки, — эти времена миновали еще до рождения г-жи Беляевой-Конеген. Последним таким фабрикатом было, наверное, «дело врачей», а может быть, и «английского шпиона» Берии, но после XX съезда, после хрущевских разоблачений власть уже не нуждалась выращивать врагов искусственно, они уже выросли сами, враги настоящие, без кавычек, враги сталинского тоталитарного режима и его метастазов, враги несвободы. И с ними-то власть уже и не знала, как ей быть. Ведь казалось бы, если мало было «врагов внешних», вроде ЦРУ, и хотелось еще внутренних иметь, кто лучше подошел бы для такой роли, чем ядерный физик Сахаров и генерал Григоренко! Какой сюжет в руки шел — с передачей сверхсекретов Пентагону, с разоружением Родины «перед лицом агрессивного блока НАТО»! Ан почему-то всеми силами от этого сюжета отпихивались, другой сочинили — что мятежный академик целиком находится под воздействием жены, угнали в бессудную и бессрочную ссылку, где он не мог общаться с иностранцами — и значит, поставлять компромат о глобальном заговоре, чистое алиби! Генерала же — лишили звания и поместили в психушку (где никак не мог оказаться Тухачевский, иначе бы разрушилась «вся правда» об измене в верхушке РККА). Такое намеренное и очевидное снижение ранга противника ни на каком сленге не означает «нежно лелеять и холить». Сколько усилий прилагали эти противники, чтобы добиться статуса политзаключенного, то есть сами себя предлагали в идейные враги, — и сколько было ответных ухищрений упечь мерзавца по любой не политической статье: за хулиганство, за попытку изнасилования, за нарушение общественного порядка, за операции с валютой. Высшим же достижением считалось — добиться раскаяния, отказа от завиральных убеждений. Скажи только, что бес попутал, и вали на

все четыре стороны! Похоже это на «выращивание врага»?

О «преступной деятельности» диссидентов, о «нарушениях социалистической законности» пишет г-жа Беляева-Конеген с той же «точностью до наоборот». Преступницей и нарушительницей оказалась сама власть, в чем диссиденты ее и уличали, ввергая во гнев и иступление. Какой был главный мотив плакатиков, реявших над молчаливыми демонстрациями? «Уважайте собственную конституцию!» А чем, в сущности, была ненавистная, непереносимая «Хроника текущих событий»? Простым перечнем нарушений, совершаемых в тюрьмах, в лагерях, в ссылке, на «химии», на воле. А в чем состояла простая и гениальная идея Юрия Орлова, основателя «Хельсинкской группы», доведшая власть до предержащую уже до остервенения, до горячих слез? «Вы взяли на себя обязательства по правам человека — ну а мы беремся вам в этом помогать». Ну, можно ли было предвидеть это *воинствующее законопослушание* — и как было руке не срываться, не наказывать вечных обвиняемых, вдруг заимевших неслыханную наглость — обвинять!

Но что же мы все про кнут, ведь были и пряники. В том же 41-м номере «Литгазеты» Павел Басинский в заметках о творчестве Анатолия Приставкина приводит честное его признание: «Не был бунтарем». И что же, Союз писателей укорил будущего лидера «Апреля» в недостатке гражданской активности? Удостоил премии в 1978 году. Почему не в предыдущие, ведь он в Стеньки Разины и Емельки Пугачевы не рвался никогда? А дело, я думаю, в том, что 1978-й был «годом процессов» — Юрия Орлова, Александра Гинзбурга, Анатолия Щаранского, — кой-какие писатели и поварчивали в полтона, а некоторые и взбунтовывались, поэтому тихо сидевшие котировались особенно высоко.

Ну и совсем безнадежных в смысле исправления выталкивали за рубеж отчизны — с расчетом, что там их голоса либо умолкнут, либо звучать будут в треть силы. Расчет не оправдался: если и убавилось голосовой мощи у изгнанников, то намного усилилось в отчизне внимание

к ним, больше, чем того хотели изгонители, а с ними заодно — что поделаешь, но это так! — Алла Латынина и примкнувшая к ней Беляева-Конеген. По крайней мере, их статьи слишком гармонируют с тем дьявольским расчетом. Ради чего берутся они развенчать, занизить перед читающей публикой облик диссидента, правозащитника, еще — по их же неприязни судя — достаточно высокий? Я не вижу со стороны обеих дам личной причины так уж быть недовольными горсткой полубезумцев, чьи массовые сборища (к примеру, в 60-летний юбилей Сахарова) все набивались в одну двухкомнатную квартиру. 70—80 человек на всю Москву — ну пусть бы и размахивали своими «ветеранскими удостоверениями», нешто все пути перекрыли новобранцам (кстати, размахивающим своими «андерграундными» куда резвее)? Да, видно, не в числе суть: чувство не самое доброе вызвал бы и один, вставший во весь рост, тогда как уже все нашли, что гораздо удобнее на коленях или в полупоклоне. Наверное, лучше меня объяснит это чувство вчерашний диссидент, а ныне президент, Вацлав Гавел:

«Это нам хорошо известно по истории: тот, кто сопротивлялся, не чувствует такой потребности сводить счеты, как тот, кто молчал. Потому что тот, кто молчал, мстит за свое унижение и задним числом улучшает свою позицию перед самим собою и Господом Богом».

И это, пожалуй, еще снисходительное объяснение удручающего парадокса: казалось тогда, соотечественники будут горды, что не все мы в глухую постыдную пору были студенистой, местами киселеобразной массой, разминаемой пухлыми пальцами бровеносного маршала с его 18-ю килограммами орденов, но попадались и твердые вкрапления, даже и колючие, находились смельчаки, хоть и малым числом, а спасшие достоинство нации, не позволившие счесть ее всю покорным быдлом, — но вот миновала та пора, пришла другая, и открылся унылый «пейзаж после битвы», с крепкоклювыми птицами, сидящими на ветвях в нетерпеливом ожидании, когда же поверженные перестанут шевелиться. А они все шевелятся, все разма-

хивают какими-то регалиями, снова и снова переживают свой «склизкий путь» по брусчатке Красной площади к Лобному месту, где на одну минуту они развернут свои жалкенькие плакатики, а в следующую минуту будут схвачены, избиты, брошены в «воронок». Вспоминают они погибших несломленными — Анатолия Марченко, Василя Стуса, Юрия Галанскова, Олексу Тихого, Валерия Марченко, Юрия Литвина, Юри Кукка. Думалось ли, что когда-нибудь нам будет предложено поскорее забыть об их прахе? А еще и не до такого доживем — когда те трое, что на Садовом кольце Москвы своими телами, своими жизнями задерживали бронемашины, рвавшие к Белому дому, — Усов, Кричевский, Комарь, — стараниями нетерпеливых культурологов сделаются персонажами черного юмора.

Такого эффекта Алла Латынина, ясное дело, не доби- валась, все происходит само собою, являются последова- тели, подхватывают саднящую тему, ненароком приобна- жают нехитрую подоплеку зачина. Так науськанный «малолетка» выдает подспудные намерения «пахана», сохраняющего вид непричастности. Разумеется, Латыни- на не допишется до бестактностей, до склизких удостове- рений, она это же самое выскажет тоньше, изящнее, по-королевски отвесит Войновичу «низкий поклон за социальную активность» и с легкой иронией выговорит ему насчет истории «Идиота»:

«Но г-н Катков, публикуя роман, не вразумлял публи- ку, что, дескать, роман особенно хорош тем, что Достоев- ский двадцать лет назад стоял на семеновском плацу в одежде смертника. И Достоевский не настаивал».

Все же от критика с литературоведческим уклоном не ждешь элементарного школьного неприготовления урока. И учили-то нас, что нельзя рассматривать творчество пи- сателя в отрыве от его биографии, и Достоевский-то как раз настаивал — в том же «Идиоте» устами князя Мышки- на рассказывая о чувствах смертника перед эшафотом. А Каткову и не было нужды вразумлять публику, она и без того все знала об авторе. Тогда, видите ли, была немнож-

ко другая публика. Такая, что и сорок с лишним лет спустя продолжала чтить и боготворила жен декабристов за их подвиг, искупивший поражение мужей и высоко поставивший в российском обществе понятия чести, гражданского достоинства, мирного, но и убийственного, неповиновения казарменной тирании. Если б то было не так, не вдохновился бы Н.А. Некрасов в 1871 году на поэму «Русские женщины».

А напоследок я скажу... Надеюсь, простит мне Белла Ахмадулина, что помещаю эти ее слова рядом с неаппетитным императивом, выдвинутым Аллой Латыниной нам в назидание: «...я хочу, чтобы наши соотечественники наконец сообразили: котлеты отдельно, а мухи отдельно». Боюсь, соотечественники этого не сообразят, это в России идеал недостижимый — ни в столовых общепита, ни метафорически, в сердцах россиян. Для них все-таки много значит, что стоит за книгой и чего она стоила автору. Что был бы глубокочтимый Латыниной Солженицын без «мух», то есть без восьми лет его неволи?

Признаться, неловко мне углубляться в полемику с Латыниной, имея перед нею весомое преимущество: я-то знаю, а она не знала, пища статью в июле, что и как произойдет в августе. Возможно, от иных своих утверждений она бы сейчас отказалась. Она так едко высмеяла Владимира Буковского за его призыв к всеобщей забастовке, а между тем это было первое, о чем вспомнила Елена Боннэр в утро 19 августа и к чему призвал Ельцин. Тому же Буковскому на его шутку о танке, застрявшем в тюменских болотах, она попеняла как будто резонно: «А если танк застрял под окном твоего дома?» Случилось именно так — или почти так, — и она могла убедиться, что танки в мирное время вводятся в города вовсе не для разрушения домов, а с целью даже противоположной: чтобы обывателю в доме уютнее сиделось и не тянуло бы его на площади и проспекты. Если этот соблазн победить, то все обойдется, — разве что завтра введут цензуру и воцарится вместо гласности госбезопасность. Не знаю, убедилась ли Латынина и в том, что есть все-таки сермяжный

смысл выйти из дома. Страшен танк движущийся — и для меня, признаюсь, устрашающими были те кадры, где бесконечная их колонна втягивалась в Москву по шоссе, двигаясь неспешно по осевой и даже не мешая всякому иному движению, точно и впрямь «знали истину танки». Но, остановясь, утихнув, грозная махина делается частью городского пейзажа, и через какой-нибудь час ее экипаж, в силу простых человеческих надобностей, вынуждается к общению с теми, кого он прислан умирять. И тут для взаимопонимания и умиротворения больше сделают мальчишки и женщины (неоценим вклад хорошеньких девушек!), чем батальон ополченцев с автоматами Калашникова и арматурными прутками. Так что житейский опыт Буковского породил не совсем пустую шутку, — они таки застряли! — хотя и тут Латынина, все видевшая своими глазами, вправе съязвить, что это «смешная картинка, особенно если рассматривать ее на телеэкране».

Я о другом хочу — и меньше всего о том, возвращаться эмигрантам или не возвращаться. Я нахожу некорректным, что на общественное обсуждение выносится вопрос, должный решаться каждым в одиночку, без участия заинтересованных посторонних.

От одного из своих утверждений Алла Латынина, верно, не откажется и сейчас, тем более что оно уже подхвачено другими, сделалось летучим, да и звучит красиво: «История России будет свершаться в России».

Что тут возразишь? Можно бы напомнить, что долгие годы, числом аж в две отечественные войны, она свершалась в Афганистане, как некогда под Мукденom и в Цусимском проливе, но это возражение слабое, ибо театр военных действий, тем более зона оккупации — территория спорная и в какой-то мере тоже Россия.

Есть возражения посущественней. На первый взгляд — на прослух — вроде бы это применимо и к любой другой стране: «История Англии будет свершаться в Англии». Ан нет, англичанин так не скажет, что-то крепко засело в его сознании еще со времен, когда над владениями его родины ни на час не заходило солнце, да и вообще для евро-

пейца все абстрактнее делается пограничная стража. Это наша исконная черта — подобные заклинания, да с глубоким придыханием, будто у нас все не так, будто история Мадагаскара свершается на Цейлоне, а Франция шагу не ступит, не озабочаясь узнать мнение Замбии. Еще раз начинаю торжественно: «История России...» — и чувствую заранее, что никак не поставится точка, все лезет запятая, а следом какое-нибудь «но».

«...свершается в России», но — очень не лишними оказываются американец Буш, спешно покидающий свое ранчо и еще в полете на свой КП созывающий советников — обсудить вопрос о перевороте в Москве, и англичанин Мэйджор, и немец Коль, согласно заявляющие, что знать не хотят никакого ГКЧП. Не оттого ли, сверх похмелья, тряслись руки у Янаева, не потому ли поспешил с заявлениями, что скоро увидим Михаила Сергеевича?

«...свершается в России», но — что именно свершается, жители этой страны и оба президента узнают от лондонской Би-би-си и мюнхенской Liberty.

«...свершается в России», но — не без хлеба, выращенного фермерами в Айове, не без мяса буренок Аргентины, не без масла от Европейского сообщества и миллиардов долларов, выпрошенных... да у кого только не выпрошенных! Кошунственно, бестактно об этом напоминать? Но, может быть, если бы тем, у Лобного места, дали не минуточку постоять, а час, да вчитались бы в их плакатики, то не было бы нынче многочасовых голодных очередей, не пришлось бы по миру идти с шапкой и не отшатывались бы от нас, не посторанивались другие народы и государства?

Так вот — напоследок. А будет ли свершаться в России история? Сможет ли свершаться, если каждый десяток лет мы от нее отрекаемся, если каждое следующее поколение будет считать первейшим своим делом развенчать и забыть не самых худших людей из предыдущего, кое-что сделавших и немало отдавших, чтобы иметь нам сегодня неоцененное благо — свободное дыхание, чтоб мы хоть обсудить могли, где и что у нас болит? Сказано одним из героев Толстого: «От человечества требуется немногое —

ценить своих гениев». С гениями туго у нас, но герои-то, слава те, господи, не перевелись. Нельзя ни от кого потребовать героизма, но научиться его уважать — можно? С досадою отталкивая, тесня ветеранов, мы себя обрекаем быть в свой черед вытесненными каким-нибудь новым беспмятным «социумом» из «андерграунда». Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе уготовляем вечное поражение, а всю Россию отдаем позорной участи — надолго остаться навозом на пашне истории. И всходы с этой пашни достанутся не россиянам — кому-то другому.

Если только будут всходы...

Русская мысль. 1991. 6 декабря

«ПРАВДА БЕЗОБРАЗНА. МЫ ВСТРЕЧАЕМ ЕЕ С МОЛИТВОЙ И МУЖЕСТВОМ»

Предновогодние ощущения

Волею моих гонителей я оказался в лучшем положении, чем большинство моих соотечественников, не подвергшихся изгнанию. Парадокс дополняется тем, что я нахожусь в стане побежденных, кто в далеком 1945-м был нами и союзниками разгромлен и принужден к безоговорочной капитуляции, а сегодня вправе судить нас, победителей: отчего же так бездарно мы воспользовались своей победой в сравнении с тем, как они — своим поражением? Но никто не судит, не злорадствует; похоже, все происходящее в бывшем Союзе рассматривается как свалившееся несчастье, в котором старшее поколение видит отчасти и свою вину. Правда, этот немецкий комплекс не очень увязывается с тем, что мы спустя 20 лет после войны жили лучше, чем спустя 45, но покаяние и не ищет логики, оно жаждет искупления добром.

Красивейшая дорога на Висбаден вьется среди садов; на обочине, как водится по всей Германии, торгуют с лотка овощами и фруктами владельцы окрестных хуторов. Это раза в полтора дешевле, чем в магазинах, и к ним выстраиваются автомобильные очереди. Часто торгуют муж и жена, сильно пожилые, управляют они тремя руками — свою левую он в 1943 году оставил в Новороссийске. Кивая на подколотый рукав, он с печальной усмешкой так подыто-

жил свою войну: «Никому не советую». Иной бы, наверно, имени Новороссийска слышать не мог. Но оказывается, у него нет проблем, куда адресовать продовольственные посылки — разумеется, туда, в Новороссийск, ведь этому городу он, тогда 19-летний, причинил ущерб.

Вспыхнувшую год назад кампанию «Сердце для России» не нужно поджигать вновь, она ни на день не затухала. Побежденные не забыли, сколько в свое время помогали им и сколько усилий они сами приложили, вытаскивая из ямы свой истерзанный, всеми проклинаемый *Vaterland*, и кажется им, что такие же усилия прилагают сейчас и русские, которым просто не везет. Постигни они всю пропасть нашего уныния и апатии, может быть, у них опустились бы руки. А впрочем, это ведь немцы, у них все не как у нас.

Считается, что пожертвования выгодны, они снижают сумму налога. Для кого-нибудь это так, но преимущественно энтузиасты пожертвований — женщины лет 70, как раз из тех, кто не дождался с фронта своих мужей, братьев или отцов, или же их мужчины умерли преждевременно от ран и контузий; эти фрау Маркс или фрау Кальтенбруннер (никаких аллюзий, просто весьма распространенные в Германии фамилии) жертвуют из своих сбережений и ничего не выгадывают, кроме морального удовлетворения и, может быть, чувства, что в своей старости они кому-то нужны.

Возникающая при этом связь в достаточной степени духовна. Недаром же она нуждается хоть в подобии личного контакта. На почте, заслышав русскую речь, подходят, спрашивают адреса наших друзей или родственников. Не хочется посылать на деревню дедушке, узнать бы по крайней мере, что его зовут Константин Макарыч. Но имеем ли мы право благодетельствовать кому-то не за свои деньги? В сущности мерзкий гешефт — стоять раздатчиком при чужой кормушке, и тяжело представить себе отчаяние тех, кто не обзавелся приятелем за границей, который бы дал адресок. Сообщаем координаты церквей, детских больниц, почерпнутые из «Русской мысли», общества «Милосердие». Охотнее всего записывают все же адреса церковные, европейский опыт говорит, что так надежнее.

«Правда безобразна. Мы встречаем ее с молитвой и мужеством»

Сильно огорчают и расхолаживают жертвователей слухи, что где-то на полдороге к голодным ртам эти продукты перехватываются чьими-то заgreбушими руками и потом ими торгуют по бешеным ценам. Может быть, спрашивают у нас, требуется содействие Интерпола или «голубых касок» ООН или русские сами организуют охранную службу? Не хочется огорчать их еще сильнее — что слухи эти не беспочвенны, такой перехват у нас дело привычное, едва ли не природное, по крайней мере он был главной причиной смертей в сталинских лагерях, а охранников нужно ведь тоже кормить — и притом усиленно. Вся беда, что в нынешней России все проблема, все нужно начинать сразу и с нуля, от шпилей высотных зданий до асфальта, да глубже еще, до стремительно дряхлеющего метро.

Понятно и детям, что вся эта «гуманитарная помощь» — капля в море, 300-миллионный народ она не накормит. Не устроят нас, не остановят сползание к пропасти и государственные миллиардные вливания, а лишь сотрудничество с Западом на равных, приток частного капитала, море капитала, которое слилось бы с морем нашей ответной инициативы. Вопрос в том, как этот могучий капитал привлечь. Слава богу, он индифферентен к идеологии и не знает национальных и религиозных границ, он течет туда, где есть малейший дефицит. Он не страшится и не избегает риска — но в какой-то мере оправданного. Как черт от ладана, он бежит от нестабильности.

Удручающее впечатление нестабильности возникает у каждого, кто смотрит на карту Союза и знает, что на безбрежных этих просторах, больше не виданных нигде, люди призрачно владеют жалкими клочками земли, нарезанными с таким дьявольским математическим расчетом, чтобы никак они себя не почувствовали вольными хозяевами. А ведь сейчас живут, может быть, последние люди в нашем отечестве, которые еще тянутся к земле, знают, как с нею обращаться, и хотели бы только быть уверены, что завтра, послезавтра ее не отнимут. Мы все твердим афоризмы, как важно для народа кормить свою армию, чтобы не пришлось — чужую, тогда как, напротив, армия могла бы нас

всех накормить. Мы ломаем головы, куда пристроить избыток отставных офицеров, а между тем из армейцев, как давно известно, выходят прекрасные фермеры, вот из этих, толстобочих, пышущих энергией майоров и подполковников, только дайте им землю навечно и сколько возьмется они поднять, не исключая и наемного труда. Перестанем бояться слова «батрак», поляки его не испугались. При всей ностальгии по бывшему Союзу, которая многих из нас грызет — признаться, и меня, родившегося в Харькове, теперь для Москвы иноземца, — уже как будто проклевывается сермяжный смысл этого распада. Есть надежда, что поутихнут национальные распри и станет возможным раздельный старт. Вот провела земельную реформу Армения, а могла бы она на это замахнуться, если бы при замахе пришлось поворачивать громоздкое туловище «Союза нерушимого республик свободных»?

Ощущение нестабильности, воистину пугающее, возникает и при виде нашего доморощенного бизнеса. Я думаю, народный инстинкт не ошибается, питая к нему застарелую классовую ненависть, которую не перешибить увещеваниями, что пора бы нам воспылать приязню к людям богатым и благополучным, поскольку они нас всех мечтают сделать такими же. Они к этому нисколько не стремятся и, даже наоборот, находят несказанную прелесть в неравенстве (что, кстати, очень заметно и в среде эмигрантов), и мне трудно понять тот восторг и умиление, с какими наши газеты пишут о вновь возникающих биржах, агентствах, клубах миллионеров. Узнаем, к примеру, для назидания ленивым и неповоротливым, что один смекалистый малый свой первый миллион сколотил, будучи 20 лет от роду. Странно, что нет 10-летних, ведь комбинаторские способности проявляются уже в детстве. А впрочем, близко и к этому, внесло свою лепту умиления и восторга одно почтенное издание для отрочества и юношества, поместив статью под названием: «Миллионер — всем ребятам пример». Кажется, инфляция обесценила почетное звание, а то ведь любопытство сжигало: с чего это они — миллионеры? Все эти биржевики, брокеры, маклеры, дилеры, агенты, коммивояжеры совокупным уси-

лием — произвели хоть один гвоздь? Сколотили хоть табуретку? Ясно же, что процветает у нас бизнес не производственный, вторичный, снимающий пенки с молока, уже кем-то надоевшего от чужой коровы. Знаем из курса политэкономии, что прибавляет товару ценности перемещение его в пространстве, но знаем и из статистики криминальной, что всякое перемещение — преудобнейшая сфера для темных махинаций. Такой промежуточный комбинационный бизнес — может быть, более элегантный — цветет и на Западе, он вполне допускается, но волнует и притягивает к себе внимание только налоговых инспекторов, а в целом почтения не вызывает. Промышленник — да, банкир — да, это фигуры уважаемые в обществе, но не те жучки, не те непрошенные посредники, которые используют любую неувязку в законе, любую несостыкованность со здравым смыслом, любое разъединение человеческих связей.

Недавно по германскому телевидению показывали документальный фильм из жизни охотников на тигров. Это не про мистера Уилсона из прозы Хемингуэя*, это про трех иссохших 40-летних стариков-бенгальцев в набедренных повязках. Раз семьдесят в году они выслеживают владыку джунглей на его любимой тропе, ставят замысловатые силки, в которых он последовательно запутывается и оказывается распятым пригнутыми верхушками деревьев. Тогда его аккуратно пристреливают, не повреждая шкуры. Мало радости смотреть на всю процедуру, как из прекрасного живого рыкающего зверя, хлещущего себя хвостом во гневе, получается глупое на вид чучело со стеклянными глазами и капроновыми усищами. Не менее печальны убогие хижины охотников и особенно их дети: они голы, грязны, покрыты струпьями; отцы едва могут их прокормить, но учить в школе не могут. Сколько же платят тигродобытчикам за их труды? Главному следопыту, он же стрелок и чучеловед, 60 долларов. Двум его ассистентам — по 30. Итого 120 долларов. Чучело тигра в Нью-Йорке продается за 8 тысяч. Это столько прибавила ценности товару его транспортировка?

* Из рассказа «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»

Нет, это столько прилипло к жадным рукам, может быть, и не притронувшимся к полосатой шкуре. И неужто вот этот бизнес по-бенгальски — наш преимущественный удел? «Россия, — сказал Пушкин, — вошла в Европу, как спущенный корабль: при стуке топора и при громе пушек». Войдет ли она сегодня лишь при шуршании пересчитываемых зелененьких купюр?

Есть, наконец, нестабильность возрастной преемственности, смены поколений. Всегда была и всегда будет проблема отцов и детей, но, кажется, никогда еще они не были отгорожены друг от друга стеною такой ненависти, такого презрения. Инициатива, как водится, исходит от младших, старшим не по силам эту стену пробить. Отчасти даже смешно, когда шестидесятникам, то есть тем, кто себя проявил впервые в начале 60-х годов и кому сейчас и по возрасту 60 или около, когда им бросается обвинение, что они проиграли все, что могли. Между тем именно и только они держат сегодня на плечах атлантово небо ответственности за страну — это и в политике, и в хозяйстве, и в искусстве, коли оно еще не сплошь переродилось в коммерцию. Новые же поколения явно не способны в ближайшем будущем это бремя перенять, да, кажется, и не хотят перенимать, уклоняются под любыми предлогами, и вся-то ненависть, скорее всего, происходит от боязни, что им это бремя навяжут нести. Не выдвигаются когорты новых лидеров, исключая одиночек — и если, конечно, не считать 20-летних миллионеров... Одно время казалось, целая генерация лидеров явится из «афганцев», но между ними и обществом пролегла пропасть отчуждения, которую разве что несколькими генералам удалось перешагнуть, в сущности — тем же шестидесятникам. Мы и в этом больны, и только быстротекущие изменения дают надежду на исцеление.

Хочется верить, что в новом, 1992 году нам если не решить, то хоть приступить удастся к тем проблемам, которых я здесь позволил себе коснуться. Станем ли мы наконец нормальной страной, как о том мечтают и столько говорят публицисты? Я так не думаю, нормальная страна — это Дания, и зачем нам ею быть? Но я надеюсь, благодаря тому,

«Правда безобразна. Мы встречаем ее с молитвой и мужеством»

что уже произошло и происходит в России, она наконец перестанет быть полигоном для исторических экспериментов. Не будем отчаиваться, но и заблуждаться не будем: в лучшем случае, если что-то удастся с реформами, если развяжется всеобщая частная инициатива и воспрянет энергия общества, все равно ожидают моих соотечественников тяжелейшая зима и весна, не самое благодатное лето, и только к осени, с новым урожаем, наступит облегчение.

Пишущий эти строки сознает, что его рассуждения — сплошное дилетантство, от которого специалисты камня на камне не оставят. Однако ведь и они, специалисты, не больно преуспели пока со своими проектами, столь противоречащими друг другу, что кажется, экономике у нас в разных институтах обучают по-разному. И никому в конце концов не возбраняется высказать свои, пусть ничего не значащие, предновогодние ощущения.

«Правда безобразна. Мы встречаем ее с молитвой и мужеством», — сказал один государственный деятель США* в труднейший для этой страны час. Как видим, и у других стран, весьма преуспевающих, бывают такие часы. Нынче он бьет над горестной нашей землей, и пусть крики ненависти и боли заглушит слитная молитва и не покинет нас мужество в наступающем високосном, может быть, и последнем таком тяжелом. Других годов, не високосных, слишком долго не было на Руси.

Нидернхаузен, Германия

Московские новости. 1992. 5 января

* Дж. Эдгар Гувер.

«ЕЩЁ НЕ ПОКРОЮТСЯ ЦВЕТОМ ДЕРЕВЬЯ...»

Не знаю, многим ли читателям бросилась в глаза маленькая заметка в «Московской правде» за 23 июня, под заголовком «А «Память» снова против...»? Заголовок — уже и не привлекающий внимание; право, давно не тянет узнать, против чего нынче «Память», равно как и за что она. Между тем событие, описанное в заметке, не совсем заурядное.

Речь шла о Покровском соборе Марфо-Мариинской обители, что на Большой Ордынке, решением Московской мэрии возвращенном Русской православной церкви. «В прошедшее воскресенье, — пишет корреспондент Д. Семенов, — должен был состояться крестный ход, освящение храма. Рано утром у ворот обители собрались прихожане, священнослужители. Но войти в храм им не удалось: их не пустили крепкие парни в черных рубашках...»

Помилуйте, прошедшее воскресенье приходилось на 21 июня, еще продолжалось великое противостояние в Останкине, близ телецентра. Где должна была находиться «Память»? В гуще боев, на линии огня, жидомасонов рубить в капусту. С чего это ее отряд оказывается в Замоскворечье? Может быть, открытие «второго фронта»? Но какая удивительная перемена флага: «Память» — против верующих! Это уже не просто сенсация; это, если угодно, заявка на самый

короткий анекдот. Ах, недаром сказано умным человеком: «Мир не так прост, как нам кажется. На самом деле он еще проще». На самом деле на этот же Покровский собор в центре Москвы претендовала еще одна православная церковь — зарубежная. Ее прошение было отклонено, визы мэра Лужкова русские иностранцы не получили — и можно понять их огорчение. Марфо-Мариинская обитель, основанная великой княгиней Елизаветой Федоровной, сестрой императрицы, особо отмечена и в русской литературе, Бунин ее избрал местом действия для рассказа «Чистый понедельник». Так вот, чтоб эту жемчужину заполучить, зарубежные наши братья во Христе, гости Москвы, и прибегли к услугам легионеров «Памяти». Я оставляю без рассмотрения, оказывались ли эти услуги на общественных началах или же были достойно оплачены (что не составило бы изнурительного расхода при нынешнем соотношении рубля и доллара), но сама оккупация храма, после того как 70 лет он был для верующих на большом амбарном замке, оккупация уже не по воле чекистов и комсомольцев, но по заказу священнослужителей — вот суть новейшего анекдота, и — прескверного.

Есть разные суждения насчет необходимости иметь в России вторую церковь, тоже православную или еще православнее. Человек внецерковный, что называется — светский, я не отважусь разбирать их расхождения, только позволю себе два робких замечания.

Зарубежная церковь обвиняет церковь отечественную в сотрудничестве с властью, с ее тайными службами, в оправдании гонителей православия; это в достаточной мере так, и это — омерзительно. Однако ж, вина коллективная начинается с вины отдельных людей; о них, наверное, и следует говорить прежде, чем обо всей церкви. И при этом не должны же быть забыты и те ее бесчисленные мученики, те слуги Божии, кто предпочли умереть в подвалах и расстрельных дворах ЧК или ГПУ, на воркутинской пересылке, во льдах Колымы, но от веры не отреклись и свой пастырский долг исполнили. И до последних лет мы таких неустрашимых и непреклонных имели — хотя бы вспомнить

о. Глеба Якунина или вот недавно убиенного о. Александра Меня. Зарубежная церковь такой судьбы и такого выбора не знала — и что же, все обвинители без греха? В их составе, наверное, не найдется агентов по принуждению, но никак не исключим агентов платных и даже бескорыстно-идейных. КГБ не такое ведомство, чтобы обойти своим благосклонным вниманием хоть одну зарубежную епархию, хотя бы один приход.

Со своей стороны, и Московская патриархия имеет претензии к зарубежникам — по поводу, например, предпринятой ими канонизации расстрелянной царской семьи, причисления ее к лику святых мучеников. Да, многим из нас трудно согласиться, что не приняты во внимание вины и прегрешения самой императорской четы и ее окружения, приведшие к падению России, облегчившие захват власти Ленину и большевикам. Меня еще и тем коробит эта канонизация, что отказано в мученическом венце четверем спутникам семьи, не покинувшим ее и принявшим смерть вместе с нею: доктору Боткину и слугам — Анне Демидовой, Труппу и Харитонову. А ведь они могли купить себе жизнь даже без особенного урона для совести, отрекшись не от государя, нет, от «гражданина Романова», как он тогда именовался, сам отрекшийся от престола. Но — не купили. Мне скажут, этот расстрел в Ипатьевском доме в Екатеринбурге имел значение символическое, как начальная жертва среди бесконечных других, выпавших народу России после октябрьского переворота. Но чем же повредило бы этому символу — и разве, напротив, не укрепило бы его, — если бы рядом с царем и его семьей и предстали святыми мучениками так называемые «простые люди», представители этого самого народа? Да, не много в этой выборочной канонизации — я бы сказал, элитарной, — истинного демократизма и человеколюбия.

Однако все подобные рассуждения лишаются смысла, когда обвинитель берется доказывать свое силою не аргументов, а бицепсов, когда находится такой, с позволения сказать, пастырь, который не пускает верующих на порог храма, оттесняет их куда-то на задний двор, за ворота оби-

тели, опираясь на штурмовой отряд. Понадеемся, что этот пастырь, покуда неведомый, хотя бы не из германской епархии. Было бы особенно удручающим, если бы в этом малодостойном инциденте каким-то боком поучаствовала Германия, которая сама так мучительно изжила заболевание «коричневой чумою».

Обратим же взоры на отечественных исполнителей «заказа», на штурмовиков в черных рубашках, что так оперативно явились по вызову — «рано утром», так сплоченно и бестрепетно выступили против неорганизованной толпы земляков и так легко опрокинули — в центре столицы — сопротивление милиции. Чьи они слуги? Кто пошил им эти добротные ладные гимнастерки, опоясал ремнем с португесей? Чем они кормятся — посреди всеобщей бескормицы? В чьих тренировочных залах они наращивают свои бицепсы и крутые плечи? И какие невидимки дергают за ниточки, руководя их причудливыми телодвижениями? Когда-нибудь — и может быть, очень скоро — обо всем этом будет сказано во всеуслышание. Корреспонденту «Московской правды» Д. Семенову это, по-видимому, настолько хорошо известно, что даже и вопроса не вызывает. Его другое волнует — и тут перо прямо-таки вздрагивает в его руке.

«Самое непонятное, — пишет он, — позиция «Памяти»: ведь, судя по их лозунгам, они за все «исконно русское». Или они считают, что настоящая Россия сейчас на Западе?»

Вот именно, что судили до сих пор *по их лозунгам*, а теперь будем — по делам их. Главарию (или фюреру?) «Памяти» Васильеву сейчас бы пальцы себе кусать — хуже не могла себя разоблачить «Память», чем преподнеся верующим этот испорченный праздник, по существу осквернив храм, в который они 70 лет ждали вернуться — и не смогли. И если теперь г-н Васильев и его присные станут утверждать, что они за русский народ, за бедный, обманутый, оболганный, обокраденный, ограбленный и прочая, прочая, тут я их перебую и скажу, как Станиславский:

— Не верю!

Где же для них, однако, сейчас *настоящая Россия*?

Все чаще слышу о русском фашизме — прежде, казалось, невозможном в России, — и вертится на языке дурацкий эстрадный куплет:

— *А как у вас дела насчет картошки?*

— *Насчет картошки?*

— *Насчет картошки.*

— *Она уже становится на ножки...*

Похоже, однако, что это уже пройденный этап. Наш родной отечественный гитлеризм не то что на ножки стал, но уже и палку взял, и зашагал — стройными колоннами, центуриями, во всем красивом: черная гимнастерка, рубашка белая с галстуком, сапоги, и на рукаве — свастика: цвета красного, слегка стилизованная, но вполне различимая. Да, постарался дизайнер. И уже, поди, приветствие отработано: щелканье каблукками, с выбросом руки вперед и вверх. Все путем. «Хайль Стерлигов!» — или кто там у них поглавнее? И съезды свои они устраивают не на задворках, а в Колонном зале Дворянского собрания, в первом присутственном доме государства Российского.

После останкинских бурных дней — с палаточным лежбищем, пикетами, «коридором позора» для работников телевидения, когда так наглядно обозначилось новое для России явление, обескураженная Елена Бокшицкая (известный кинокритик) по радио «Свобода» обратилась к своим коллегам с горьковским знаменитым вопросом: «С кем вы, мастера культуры?» Вопрос ее — скорее риторический, не могла же она сомневаться, что ее коллеги — не с теми, кто поднимал плакат «Убей жида!» — но почему же они молчат, почему не вырвут, не растопчут эти плакаты, не укротят несколько десятков разгулявшейся шпаны? Коллеги от ответа уклонились — и наверное, разумно препоручили разгонять шпану профессионалам из ОМОНа, обошлось без лишней крови и возможных смертей. Да ведь не в плакате «Убей жида!» вся опасность, он представляет собою крайность, притом нижайшего пошиба, от которой идейный фа-

шист открестится, назовет провокацией. Елена Бокшицкая, сдается мне, ошибочно полагает, что самый облик фашизма так непригляден, само слово «фашист» уже так скомпрометировано, что произнеси его только — и «наши» застесняются, убоятся, разойдутся по домам. В том-то и дело, что не застесняются и не убоятся.

Да, для многих фашизм существует под псевдонимом — «порядок», «твердая рука», — но не для всех. А послушаем-ка самого заливистого из наших соловьев, Александра Проханова (из его интервью журналу «Страна и мир», сдвоенный номер за март—апрель с. г.): «Важно, чтобы государство сохранилось. Причем, какие силы приведут к созданию этого государства, по существу действительно уже безразлично. Пускай даже фашизм будет, потому что, если можно построить великое русское государство ценой фашизма, я бы и на это пошел. Фашизм можно будет преодолеть со временем — лишь бы было построено государство».

Что тут добавить? Браво, Проханов! Сказать по-нынешнему — хайль! Трудно ли понять, какое «великое государство» имеется в виду? Все тот же «союз нерушимый», да вот развалившийся в одночасье. Непонятно только, зачем же его, фашизм, преодолевать со временем, чем он плох, если вот сгодился бы собрать империю — по камешку, по кирпичику?

Словом, не старайтесь вызвать к фашизму рвотный рефлекс. Для сплотившихся в центурии он упоительно притягателен. Велик соблазн для молодого мужчины (да когда глядит на него молодая женщина!) — строй, подчинение дисциплине, единство сердцебиения. Посреди развала, хаоса, энтропии мы с тобой — порядок, воля, власть. И с нашим атаманом не приходится тужить. А еще больший соблазн — быстрое, и кардинальное притом, решение всех вопросов. Чем развязывать долго и нудно запутанные узлы — разрубим их македонским ударом меча. Ни у кого помощи не прося — и ни от кого не завися, — сами себя за волосы выдернем из кризисов, стрессов, апатий и уныний, из вечной исторической обиды. Как Германия после Веймара.

Семьдесят два часа берет Владимир Вольфович Жириновский на все про все. И будет вам Российская империя —

с Польшей, с Финляндией, даже Аляска вернется. Ну, поостыв, назначает четыре месяца, ну — семь. Все равно — секунда в масштабе истории. И всего-то просит человек один миллиард долларов — и он у власти. И ведь похоже на правду: сойдя к нам неведомо с каких небес, наобещав с три короба, в том числе радикальное подешевение водки, семь миллионов голосов огреб. Да столько вся Германия потеряла на фронтах за четыре года нашей с нею войны!

Явно не избежать нам сравнения с Германией и с тем человеком, кто кредит доверия к нему оплатил 60 миллионами жизней, своей собственной тоже. Скажем прямо, нашим анпиловым, макашовым и баркашовым далеко до него. Он не страшал, как Невзоров, он, что называется, вдохновлял и влек за собою, он не опускался, подобно Жириновскому, обещать подешевение шнапса, но насчет сроков выражался еще туманнее, хоть и поэтично: «Еще не покроются цветом деревья...» И залы едва не рушились от оваций. Разве что выходя, спохватывались немцы: «Постойте, это когда же они покроются? В апреле? А сейчас у нас февраль... Что же, всего через два месяца все обрзается?» Да кто же не прощал ему такие мелочи! Нельзя же понимать так буквально... Ну, не в эту весну, так в следующую. Все-таки была у него харизма, некая магия, что ли, которую пыталась если не разгадать, то запечатлеть на киноплёнке упрямая Лени Рифеншталь — и столько ее потратила на него, сколько ни одному актеру не досталось за всю историю кино. Почти каждую неделю можно его видеть по телевидению — и все новые поколения немцев сияются понять, чем же он взял когда-то не самую дремучую и отсталую страну, с чего так восторженно ревут при его появлении глотки юнцов, а девы, толпясь под трибуной, тянут руки к нему и плачут, вот уже за полвека все плачут от невозможной любви. Не понять ли этого нам, умилявшимся лучистой улыбке Ильича, так радевшего об архиширочайшем применении расстрела?

Говорят нынче, всматриваясь в Жириновского: вот и над Гитлером тоже смеялись, а что потом вышло? Я бы не сказал, что так уж смеялись. Не сильнее, чем над любым дру-

гим политическим деятелем на Западе. Когда рисуют карикатуры и сочиняют анекдоты — это не называется «смеются», это — популярность. Смеются — это когда не слушают, а его слушали, и очень внимательно.

Не одними обещаниями он кормил свой народ, но в самом деле дал ему чувство преодоления исторической обиды, покончил с хаосом, с инфляцией. Даже одним строительством автобанов, всю страну пересекающих, он бы остался в памяти. Сотням тысяч людей он дал работу, на Западе эти слова — «дать работу» — дорого стоят. Автобаны эти имели, конечно же, стратегическое назначение, но ведь и гражданское тоже. Недавно отмечал 50-летний юбилей концерн «Фольксваген» — и что же, кинохроника показала честно: без него, без Адольфа, не обошлось, это он с доктором Геббельсом на заводском полигоне благословляет «народную тележку», награждает конструкторов. Трудненько не признать заслуг даже и величайшего преступника, если и поныне исправно служат дороги, проложенные по его инициативе, и катят по ним миллионы «фольксвагенов», которым он дал первый старт, и еще действует трудовое законодательство, разработанное по его идеям, защищающее работника от произвола предпринимателей, вполне социалистическое, между прочим. Ну и, наконец, всего за шесть лет создана армия, перед которой затрепетала Европа...

И как было бы славно обойтись без другой чаши весов, на которой 60 миллионов, печи Освенцима и Дахау, «окончательное решение» еврейского вопроса. Но на каком-то этапе история делается вроде бы невнятной, как-то неожиданно обнаруживают себя немцы втянутыми в войну. Поначалу не очень большую, скорее — прогулку. Всего-то и нужно для нашего процветания — покорить одну малую державу. Да, ну и еще одну, такую же. И еще две маленьких и одну большую. А там и рукой подать до главного врага, до Англии. Большая — оказалась Советским Союзом. Видом — огромна, но до ее столицы всего-то ходу восемь недель. Так сказал он, Заратустра с чубчиком набок и усами лопаточкой.

Нам, собирая империю вновь, насильственно пригоняя друг к другу разорванные, сочащиеся кровью куски, нам

и втягиваться не придется, мы уже воюем, языки пламени вспыхивают и перебегают с места на место, как на огромном пожарище. И хуже всего, что состояние войны делается привычным, мысль о ней уже не пугает. А фюреры наши — даже и не представляют себе, что же они станут делать на второй день своей власти. Если недостает у нас разума и воли погасить войну в Карабахе, в Южной Осетии, в Приднестровье, что же будет, когда сойдутся в драке Россия и сестра ее Украина, не поделивши Крым или все Черное море? Как это некогда поучал Никита Хрущев интеллигенцию: «Украина — это вам не жук на палочке!» Истинно так, Никита Сергеевич, не жук, равно как и любая из братских республик, охваченных такой пылкой любовью к соседям, какой история не знавала. Так что война, которая разгорится на просторах Содружества, пожалуй, затмит обе мировые.

Наши чернорубашечники, ясное дело, сгинут в ней наравне со всеми, а тем немногим, кто останется жив, придется скитаться по чужим материкам, искать приюта хоть у какого завалашенького диктатора, но и там жить под чужим именем, сделав себе пластическую операцию. Впрочем, их судьбы не так тревожат меня, как участь многих доверчивых, обездоленных, голодных, ухватившихся за последнюю надежду, которых они потащат за собой в бездну — сначала обманом, затем угрозами, напоследок — насилем.

Все ищет немецкая мысль: а было ли неизбежным для Германии так развоеваться — на всю Европу, на полшара земного? И где тот час, когда еще не поздно было остановиться или свернуть с гибельной тропы? Может быть, когда запылала «хрустальная ночь»? Нет, уже поздно было. Или когда была объявлена уголовным преступлением «нелюбовь к фюреру»? Или когда аплодировали взхлеб лозунгу «Пушки вместо масла»? Ищут и не находят, точнее — никак не сойдутся во мнении. Я же думаю — поздно стало, когда он сказал: «Еще не покроются цветом деревья...» — и зал взревел от восторга.

Однажды в Москве, на Садовом кольце, наблюдал я картинку: парнишка на хлипком мотороллере, из соображений аэродинамических, пристроился за кормою грузовика, зве-

«Еще не покроются цветом деревья...»

роватого «ЗИЛа-130», прозванного в народе «социально опасным», и при торможении у светофора едва не подъехал под его борт, чудом не снес голову себе и сидевшей сзади подружке. Ни он, ни она этого не осознали, только рассмеялись. Могучий орудовец не торопясь сошел с тротуара и, ставши над ними, спросил громовым голосом, от которого вздрогнули многие водители и пешеходы на площади Восстания:

— Хошь смерти?

И величественным жестом указал на грузовик:

— Езжай за ним.

Вот так, ни тебе штрафа, ни долгих нотаций, а коротко и доходчиво. Ничего лучшего не смог бы я сказать своему народу, когда алчущий власти обещает ему скорейшее спасение России и, главное, совершенно безболезненное:

— Хочешь смерти? Ступай за ним!

Московские новости. 1992. 2 августа
Радио «Свобода»

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ

Кинорежиссер Станислав Говорухин, автор нашумевших фильмов «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», обратился по радио «Свобода» с горестным словом упрека к нашим демократам и патриотам. К тем и к другим одновременно — чем, я думаю, только пуще разобидел обе стороны. Ибо — кто же в России стерпит подобное смешенье? Без размежевания мы не можем. Помимо того что мы просто люди, мы же еще и западники либо славянофилы, мы левые или мы правые, мы за красных или за белых, мы авторы и читатели «Нового мира» Твардовского или — кочетовского «Октября», в ресторане творческого союза мы за столиком либо с Тюткиным сидим, либо с Пупкиным, и не дай бог перепутать их; ну, а нынче мы — или демократы, или же патриоты. А если хочется быть и тем и другим сразу? А тогда — вот какие дела: демократы твою статью отвергают, к патриотам после этого сунуться — уже как-то сердце не лежит. «Вот такая, — сокрушается Говорухин, — у нас сегодня гласность».

А она еще и не такая у нас. Это он еще не видел обложку журнала «Столица», номер 27-й, там говорухинскую голову присобачили к туловищу какого-то ряженого штурмбаннфюрера из Марьиной рощи либо из Филей — может быть, Васильева, может, кого другого, — а сверху нависают

с ухмылками дебилынные физиономии рядовых чернорубашечников. «Станислав Говорухин, — гласит надпись, — это — Россия, которую Вы отыскиали?»

Редко встретишь вопрос точнее — и чтобы в нем содержался и ответ. Долго надо было скитаться в поисках истины, чтобы отыскался еженедельник, счастливо освобожденный от какого бы то ни было почитания авторитетов и заслуг, готовый любого оплевать — со всей раскованностью вольного издания и рептильной угодливостью перед подписчиком: а вот мы его как! И вы думаете, где-нибудь написано, хотя бы крохотным шрифтом, что это — фотомонтаж? А ведь тысячи людей поймут буквально, что уже появляется Говорухин на митингах со свастикой на рукаве. Так, резвяся и играя, обозвали — фашистом. За что?

Станислав Говорухин тоже очень хотел бы это знать. И мне пришлось дважды читать его объяснения, почему он счел нужным посетить Русский национальный собор. Кажется, достаточно — послушать захотелось, кое-что понять, — нет, он снова оправдывается, что и был-то там коротко, с поезда на поезд, и в президиуме не сидел, и не выступал. Право, на третий раз ему уже и верить перестанешь. Да все дело не в том, что ему не верят. Его — не хотят услышать. Ведь так удобно считать, что ты уже определился, выбрал себе стан по душе, занял *позицию*. А он, мятежный, все хочет понять, отчего это он еще вчера, после успеха «Так жить нельзя», был почитаем и любим, а нынче — выходит, как в цыганском гадании у Ильфа и Петрова: вот был у вас друг блондин, так он и не друг оказался, и не блондин, а большая сволочь.

Ведь у нас, право, имеющего успех так привечают, как нового жеребчика в табуне: сперва бурные восторги, все им любят, треплют ему холку и кормят сахаром, ну а потом, конечно, пробуют взнуздать и оседлать. И горе ему, если не поддастся сразу, если выкажет норы, — таких нагаек отведает, что век не забудет.

На горе себе Станислав Говорухин оказался не столь податливым, как ожидалось, ну и крупнее, чем того хоте-

лось. Даже сама эта антиговорухинская кампания, разыгравшаяся вокруг его последнего фильма, свидетельствует все же в пользу автора. Насчет «Интердевочки» никто особенно глотки не драл. А тут, по-видимому, такие струны задеты, что прямо из-под сердца демократа, в наше-то посткоммунистическое время, исторглись такие милые, полузабытые слова: фильм — «вредный» и «лживый». Это Баткин Леонид в «Литгазете», в споре со Львом Аннинским.

Я фильма не видел и судить по чужим описаниям не хочу, но все же могу себе представить достаточно верную документальную летопись николаевской России без Кровавого воскресенья и Ленского расстрела. Потому что эти деяния Николая Второго — если, конечно, это его деяния, — для него-то как раз не характерны, а если б были характерны, то Ленину, пожалуй, не представилось бы возможности прокричать: «Есть такая партия!» Поступки свидетельствуют пусть и о злой воле, но все-таки воле, которой этот царь не отличался, а скорее напоминал того персонажа из рассказа Хемингуэя «Мадридские шоферы», который был парнем неплохим, даже симпатичным, и как шофер обладал лишь одним недостатком — не умел водить машину. Таким его представили нам достаточно согласно и Горький, и Солженицын.

Кроме того, никогда не мешает, выдвигая упреки автору, хотя бы прочесть внимательно заглавие. «Россия, которую мы потеряли» — это не та Россия, которую постарался бы нам изобразить исследователь объективный. Ни Кровавых воскресений, ни Ленских расстрелов, ни прочих «свинцовых мерзостей», о которых писали русские классики, мы как раз не потеряли, они легко и вольготно перешагнули в наш послеоктябрьский обиход и расцвели замечательно. Что же до Станислава Говорухина, то он самым названием лишь заранее очертил свою задачу, оговорив себе право быть субъективным и даже сентиментальным, идеализируя и оплакивая потерянное. Здесь, даже и не разделяя вполне его чувств, я все-таки на стороне Говорухина, помня о том, что судить художника следует по

законам, им самим над собою признанным. И я против оголтелой нетерпимости, против той «либеральной жандармерии», как ее называли в XIX веке, которую, к сожалению, мы не потеряли, бережно перенесли через порог 1917-го.

Мои читательские контакты с Говорухиным расстраиваются там, где он становится неожиданно податлив, а его нравственное чувство — расслабленно снисходительным. Недавняя останкинская эпопея все-таки требует оценки жесткой, не избегающей и таких — пусть и набивших оскомину — слов, как «сборище фашистов» и проч. Уж тут — ничего не поделаешь, все признаки налицо. «Эко, хватили! — возмущается Говорухин. — Старики со старухами, а их было больше половины, — фашисты! Пока воевали с нацизмом, поднимали страну из разрухи, подтягивали животы, напрягали последние силы — фашистами не были, а на старости лет записались? Да, многие держали в руках антисемитские лозунги. Задуренные головушки: вбили им в головы — во всем виноват международный сионизм. Ну так и разбирайтесь с теми, кто вбил, а людей пожалейте!»

Какое странное, какое зыбкое и натянутое оправдание! Будто и впрямь не понимает Говорухин обыденности фашизма, его «обыкновенности», которую открыл нам другой режиссер, Михаил Ромм. Это ведь и есть опора фашизма — вовсе не фанатики, не безумцы, не экстремисты, вернее — не только и не столько они, как именно среднестатистический обыватель. Где они были и как себя вели, эти старички и старушки, — еще, впрочем, не в этом звании, а дебелые дамы и зрелые мужи, — когда хватали Солженицына и Сахарова, бросали правозащитников в лагерь и психушки? И это не они требовали, чтоб жену ссыльного академика вышвырнули из электрички? Мне вот, к примеру, на моей Малой Филевской улице по поводу обысков и прочих гонений не они ли бросали вслед: «А не надо было бороться за свободу!»? Если и сейчас они ничего не поняли — значит, напрасно прожили жизнь.

А не лукавит ли Станислав Говорухин, когда говорит о «задуренных головушках», о «темных массах»? Откуда у нас темноты столько — при всеобщей грамотности? И что же это за народ у нас такой, которому что хочешь можно в головы вбить, задурить, раскачивать его то вправо, то влево, а он мотается, как ромашка в проруби, не выказывая ни своей знаменитой мудрости, ни просто здравого понимания вещей? Ей же богу, если этот люд всерьез подозревает в растущей дороговизне козни сионизма, тут дело безнадежное — и зачем говорить о «великой душе великого народа»?

Не думаю, что Станислав Говорухин утратил остроту социального видения — просто предпочитает кое на что закрыть глаза и вообще «не дразнить гусей». Он ступил на опасную тропу — решил быть самим собою, но еще не усвоил, что тут одно спасение: делать свое дело, «хвалу и клевету приемля равнодушно». Так и хочется сказать ему: «Не обращайтесь вниманья, маэстро! Эта публика, что нынче на Вас ополчилась, очень хорошо чувствует, есть ли у Вас интерес ее слушать. И покуда он есть — не Вы над ней властвуете, а она над Вами».

Увы, маэстро в одночасье переродиться не может. В интервью «Мегаполис-экспрессу» он говорил, как ему «было интересно узнать, что думает по поводу фильма «правая» пресса, но она молчит...». И добро бы, та «правая» пресса его пленила своей элитарностью, изысканно тонким вкусом, так нет же, вот что сейчас он говорит о ней в своем «Ответе демократам и патриотам» по радио «Свобода»: «Вот не нравится вам газета «День». Скажу откровенно, и я не очень доволен... Полистал я его, что ж, со многим согласен. Но язык! Но тон! «Временное оккупационное правительство Гайдара», «банда Ельцина» — что это?»

А не то ли выходит, что расхождение — как у Синявского-Терца с бывшей советской властью — «чисто стилистическое»? И тогда можно сформулировать отчетливее: беда не в том, что не устраивает Говорухина ни левая, ни правая пресса, что он одинаково презирает и оголтелых демокра-

Россия, которую мы не потеряли

тов, и задубелых патриотов. А беда в том, что он все еще хочет нравиться, во что бы то ни стало, и тем и другим и жаждет вернуть себе вчерашнюю их любовь. Желание понятное. Но на этом пути подстерегает художника поражение.

Русская мысль. 1992. 21 августа
Радио «Свобода»

НАДО ЛИ БЫЛО ИДТИ К БЕЛОМУ ДОМУ?

Год назад, в третий день путча, дозвонились ко мне в Нидернхаузен из «Московских новостей», предложили высказаться о происходящем. Основываясь только на том, что я слышал по радио «Свобода» и видел на телеэкране, я сказал о трех ошибках заговорщиков, которые, на мой взгляд, обрекали хунту на провал ее предприятия. Право, сейчас неловко говорить, но этот провал обозначился для меня уже утром 20-го, и это не подтверждалось никакими фактами, а только смутным ощущением, что события не развиваются крещендо, топчутся на месте и ситуация сегодняшняя не страшнее вчерашней. По-настоящему страшны были самые первые кадры, где длинная танковая колонна втягивалась в Москву, двигаясь медленно и непреклонно по осевой линии шоссе, не мешая иному движению, к своей намеченной цели. «Это все, — подумалось, — вот и конец второй «оттепели»». Я, как и хунта, недооценил москвичей, я подумал, что они эти танки воспримут как надлежало — утрюмо, но молча. И горько устыдился, когда увидел горящие глаза, оскаленные кричащие рты, вздернутые кулаки. Голыми ладонями и ботинками люди упирались в броню, и заводские ребята очень толково совали арматурные прутки меж гу-

сеницей и катками, и я осознал как одну из самых больших потерь моей жизни, что не нахожусь в этой толпе, стремительно преобразующейся в народ, великий народ, с которым по привычке обошлись, как с быдлом, чьего мнения не удосужились спросить, действуя от его имени.

Позднее говорили о странностях этого путча, о том, что не изолировали Ельцина, Яковлева, Шеварднадзе, не перерезали телефонную связь с Вашингтоном, Форосом, военными базами, в Белом доме горел свет, лилась вода из кранов, исправно урчала канализация. Мне бы хотелось здесь защитить профессиональную честь Язова и Крюкова — они не презрели азбуку государственных переворотов, они сделали все по науке, но по науке былых времен, когда сделанного оказалось бы достаточно и не потребовалось бы ни провода резать, ни арестовывать Ельцина, а куда было бы элегантнее, чтобы он сам прико-вылял на полусогнутых и принес бы присягу ГКЧП. Убежден, на месте Язова мог быть, предположим, даже маршал Жуков, на месте Крюкова — Серов с Абакумовым, они бы не сделали большего, чем требовалось, а требовалось ввести танки в город и объявить что душе угодно, ожидая от населения одного ответа — единодушного одобрения.

Говорят, танкисты не знали дороги и осведомлялись у прохожих — да не все ли равно было, на каких площадях им стоять? Еще говорят, они останавливались послушно перед красными светофорами — правильно, они в столицу вошли, которую считали своею, как олицетворение порядка, а не анархии.

Вообще многие недоумения объясняются просто неграмотностью, недопониманием назначения танков на улицах города, где они в последнюю очередь оружие, а в первую — демонстрация силы. Поэтому безразлично, были при них боекомплекты или не было, боевое применение вполне исчерпывалось грозным видом, ревом и лязганьем, ну и вонючим дымом из выхлопных труб. Ни о чем большем речи не шло, из Отечественной войны известно, что пускать танки по городу губительно для них, и всякий военачальник этого избегал, здесь преимущест-

во — у пешего с гранатой или «коктейлем Молотова», не то что в открытом поле. Да и как их использовать против своих, если остановившуюся, затихшую громадину тотчас же облепляют, с молодыми танкистами заговаривают старые фронтовики, «афганцы», солдатские матери — и вот первое чудо: танкисты отвечают! Они отвечают так робко, точно впервые встретились лицом к лицу со своей, и в то же время чужой им, страной. Важнейший обезоруживающий момент наступил, когда полезли на броню девушки, среди них — немало хорошеньких.

Среди них полно было проституток, мрачно уверяет Эдуард Лимонов. Ах, как сильно уязвляет нас этот парижанин, мы даже зарделись от смущения. Да пусть назовет хоть одну революцию, хоть какое широкое народное движение, где бы не приняли участие жрицы любви — и еще какое деятельное! Пусть внимательнее рассматривает в Лувре знаменитую картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ»; не похоже ли, что фигура в центре — вовсе не метафора, а вполне реальная дама, играющая свою коронную роль, а некоторый, выразимся изящнее, непорядок в верхней части ее туалета имеет назначение прагматическое — приободрить оробевших мужчин? Делакруа, сын Талейрана, знал своих французов и знал природу революций — лучше, чем их успел постигнуть Лимонов.

Еще один умник дописался до такого ехидства, что «дело свободы защищало лишь политически активное меньшинство, причем в основном из молодежи», — как будто в истории когда-нибудь было иначе. А какое же, интересно, меньшинство? Оказывается, подсчитано: «вокруг Белого дома сгруппировалось около ста тысяч человек — это из более чем восьми миллионов москвичей». Да ведь это — восемь дивизий, что и составляет как раз обычную мобилизационную норму: по одной дивизии от миллиона граждан.

Хватает попыток преуменьшить масштабы путча и тем принизить значение победы. Вот мы узнаем, что трое погибших — Комарь, Кричевский, Усов — зря задерживали

бронемашины, которые, если на плане посмотреть, не приближались к Белому дому, а удалялись от него. Но не достаточно ли того, что нашлись у нас юноши, которые, защищая парламент и президента, допускали возможность своей гибели — и все же не ушли, не уклонились, приняли судьбу такой, какой она им предстала?

Принижение — участь многих революций, не только нашей Августовской. Имеет хождение версия, что не было героического штурма Бастилии — точных деталей не помню, а суть та, что ее охраняли отставные старики, чуть не инвалиды, со ржавыми алебардами, а в камерах содержались шестеро или семеро мошенников и карманных воришек. Героики и впрямь маловато, и тем не менее французы отмечают день Бастилии как большой национальный праздник — исходя, наверное, из того, что самое важное, интересное и значительное в истории совершается не на площадях и не под сводами дворцов и тюрем, а в сознании людей. И значит, наибольшую цену имело то, что толпа вообще осмелилась штурмовать королевскую тюрьму. Бастилия пала не тогда, когда отнимали ключи у охранников, а когда кто-то сказал: «Идемте штурмовать Бастилию!» — и его не осмеяли, не сочли помешанным, не свели куда следует, но — пошли за ним.

Теперь утверждают, что штурм Белого дома и не предполагался. Вот говорит Янаев в телепередаче «Момент истины», что он еще 20-го заверил Ельцина по телефону, что никакого штурма не будет. Может быть, и заверил, да почему же Ельцин должен был поверить лжецу, оповестившему весь мир о болезни Горбачева? И что другое мог бы пообещать заговорщик, замышляя прямо противоположное? Во всяком случае, люди, прошедшие ночь на 21-е августа у стен Белого дома и внутри него, вспоминают об этих часах как о сильнейшем жизненном переживании, говорят о незабываемых чувствах единения, братства, о чувстве гордости — за то, что они, которыми 70 лет только помыкали, решились умереть, но отстаять свое право самим выбирать себе судьбу и решать судьбу своей родины. Такие чувства не могли быть пережиты понарошку,

с заведомым знанием, что все — только игра, а на самом деле ничего страшного им не грозит. Нет, они действительно были охвачены жертвенным воодушевлением, некой баррикадной эйфорией, и если существует передача душевной энергии на расстояние, то, может быть, эманация соединенных ста тысяч волей остановила где-то на дальних подступах готовящийся штурм, — а вовсе не так было, что подразделение КГБ «Альфа» прикинуло количество жертв и свои возможные потери — и решило воздержаться от кровавой бани...

...И вот миновал с той ночи год, и кинорежиссер Станислав Говорухин, который *не хочет больше быть трусливым интеллигентом* (так и называется его интервью «Мегаполис-экспрессу»), вдруг заявляет: «...повторись сегодня августовский путч, я бы ни за что не пошел защищать Белый дом».

Тут я спрашиваю себя: это не тот ли самый Говорухин, о котором писал мне из Москвы тогда же, 21 августа, Лев Аннинский: «Полдня полной неизвестности (но уже начал себя готовить к худшему, к цензуре и прочему), наконец с четырех 20-го прорезалось Московское радио. Единственная ниточка контринформации... Говорухин в эти качающиеся полдня, когда неясно еще было, чья возьмет, по этому единственному радио сказал: «Кто сейчас не выйдет на площадь, тот — говно!» Радиокomentar подхватил: «Станислав, я с радостью пропускаю ваше крепкое слово в эфир!» Да, Говорухин — тот же самый, но что же с ним произошло за минувший год? Отчего такая разительная перемена: «...ни за что не пошел бы защищать Белый дом»? И с ним ли одним это произошло?

Было бы просто и соблазнительно все объяснить пушкинской формулой: не требует нынче Говорухина к священной жертве Аполлон, а тогда — потребовал. Но ведь не об одной говорухинской душе тут речь, это его устами вся Россия спрашивает: во имя чего они были — наше самоотвержение, наша решимость умереть за свободу? Что мы приобрели за этот год? С распадом Союза не утихла,

как можно было ожидать, взаимная вражда, не погасли национальные войны, а только прибавилась проблема проживающих в новых «заграницах», не в своей республике; только дошло до предела нетерпение — когда же уберутся к чертям наши гарнизоны; и как разделить Черноморский флот — тоже не решено, и на очереди решать с Крымом. От разрыва хозяйственных связей еще опустился рубль, еще взлетели цены. К рынку не приблизились, зато пополняются ряды миллионеров, делающих свои башли «из воздуха», вошли в моду избыточные презентации и отлаживаются рэкет. Все безнадежнее упадок здравоохранения, народного образования, культуры, нравов. Зато вот, читаю, открылась в Москве первая школа стриптиза, наконец-то наши девочки научатся грамотно раздеваться. Наиболее одаренные шагнули за рубежи, овладевают искусством «фотомоделей» и «порнозвезд». Да не богини тут горшки обжигают, наши Наташи их потеснят. Ну, а в отечестве обесцениваются у демократов последние акции, такие высокие на 21-е число августа, самое слово «демократ» почти заменило матерщину, и скоро одесский этикет обогатится проклятием: «Чтоб тебе жить при демократии!» А насчет принципа основополагающего, цементирующего общественное бытие, то надвигается неотвратимо старинное эзковское: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Так стоило ради всего этого идти защищать парламент, президента? Неужели навечно это нам — «победитель не получает ничего»? Может быть, утешимся, что был в нашей юдоли этот праздник, сладостный сон, и возвратимся, побегавши на воле, с повинными головами в стойло? Переждем до лучших времен, а там, бог даст, начнем все сызнова?

Боюсь, в обозримом будущем не представит нам история другого такого счастливого шанса, как тот, что выпал в апреле 1985-го, с перестройкой, с гласностью, с нерешительным, но таким, гляди-ко, авантурным, вывертливым Горбачевым. Триста лет ждала Россия демократии, лучшие умы об этом мечтали, а теперь мы сдадим отвоеван-

ную траншею, политый кровью плацдарм?.. Да, кстати, и кандидатура уже намечена, кому наши позиции занять. Наш возможный будущий президент ожидает своего часа — где бы вы думали? — в «Матросской Тишине». Нет, это не бузотер Язов, сам себя обозвавший старым дураком, не крюкотвор Крючков, воспрявший духом и посылающий Ельцину грозные манифесты, это человек уравновешенный и вдумчивый, не чуждый поэзии, пишущий стихи под нежным именем «Осенев». Корреспондент «Правды» уведомил Анатолия Ивановича Лукьянова, что очень многие хотели бы его выдвинуть в президенты республики, и взял у него обстоятельное интервью, которое можно рассматривать как предвыборную программу.

Проведя год в тюрьме — наверное, безвинно, допуская, что не был он ни членом ГКЧП, ни «духовным отцом заговора», — какие же выношенные истины он нам поведаст? Ну, сразу скажем: Анатолий Иванович, как и Нина Андреева, принципами тоже не поступается, он был и остается идейно-алмазным коммунистом. Более того, возможный президент не мыслит себе, чтобы при этой должности не быть еще и генсеком. Пример Горбачева — наука: «потерять партию значило лишиться последней опоры в обществе», обречь себя «на политическое небытие» (в котором, по логике, сейчас обретается Борис Ельцин? — *Г. В.*). Лукьянов же, напротив, считает разумным и необходимым, если партия, «придя к власти, по-своему «срастается» с государством, расставляет своих людей на ключевых участках управления» (а парламент возражать не будет? Зачем же, там ключевыми тоже будут свои. — *Г. В.*). Конечно, «семь десятилетий функционирования КПСС как единственной правящей партии» — это, для Анатолия Ивановича, многовато (а одно десятилетие, один год — не много для единственной? — *Г. В.*); «никто не отрицает тяжелых деформаций», но ведь «партия, как известно, сама начала освобождаться от этого наследия, предложив изменения в Конституции, приняв новый устав, развивая все формы внутрипартийной демократии». В этом сознании — нет божьего мира без партии, трава не

растет, не поют птицы, а демократия бывает только «внутрипартийная». И какая знакомая мелодия: партия сама признала. Все забываем об ее святом праве — самой грешить и самой же каяться, не допуская к этому посторонних (кому она ломала судьбы и кости).

Что касается государственного устройства, то нам «придется на новом витке повторить путь, который проходили республики, создавая Союз в двадцатые годы». Слышу, как от «нового витка» содрогаются сердца грузин, чеченцев, украинцев, молдаван, а напоследок и прибалтов. Пусть не волнуются, будет вот что: «обновленный Союз», который «впитает в себя весь положительный опыт советской федерации, дружбы народов...». Надо полагать, у Анатолия Ивановича есть в записнике идея, как собрать разбежавшиеся республики и удержать их от нового разбегания и как в дружбу обратить взаимную ненависть и отталкивание.

В организации власти Анатолий Иванович — против парламентаризма, «скопированного с каких-то заморских моделей», которого «Россия не воспримет» (а мы и подзабывать стали, что ведь это ж партия решает, что «Россия воспримет», а когда «народ нас не поймет». — Г. В.), в крайнем случае надобно «освоить эти заморские рецепты на наш, российский лад». К примеру, насчет президентства: «для системы Советов более характерен коллективный глава государства, позволяющий ограничить тенденции к авторитаризму». Так ведь был уже коллективный президиум, и ничуть тенденции не ограничивались. Это ничего, еще попробуем, будет у нас «президентская республика особого советского типа».

По части экономической Анатолий Иванович — непререкаемый социалист, не по душе ему «прокапиталистические ориентации», «насильственное насаждение капиталистических общественных отношений», и он полагает, что «именно здесь должно быть главное поле действия коммунистов»; ну еще допускаются «партии социалистической ориентации». Понадеемся, они нам наладят капитализм, какой надо. Только один вопрос: мо-

жет быть, опустим для всех этих нововведений «железный занавес»? Пожалуй, оно надежнее?..

Часто спрашивали защитники гэкачепистов и сами они: зачем было им переворот совершать, когда и так они обладали полной властью? А бывает ли она, полная власть? Всегда ведь хочется большей, и зачем-то же понадобилось консулу Бонапарту 18-е брюмера, полномочия императорские. Вот и Анатолий Лукьянов нам приоткрыл, зачем было 19 августа. Чем больше вникаешь, тем решительнее приходишь к выводу, что судить Анатолия Ивановича не нужно, ни на каком суде он себя не раскроет больше, чем этой предвыборной декларацией, не поведает ярче, какие ослепительные истины несли танки на броне своих башен. Отпустите же его, пусть идет домой — нянчить внуков, лечить сердце, писать стихи, только даст слово не заниматься политикой. Я не спрашиваю, как могли его выдвинуть в председатели Верховного Совета, но как избрали в народные депутаты, кто голосовал за него? А впрочем, он ведь из тех «оптовых», кого КПСС выдвигала списочно. И всем своим номенклатурным сознанием и поэтической душой он тянет нас в уютное прошлое, в застойную брежневianу.

Но — подзабыл он диалектику, дважды не войдешь в одну реку, и не будет уже той брежневianы — с дешевым хлебом и молоком, с рыбой нототенией, которая не дожидаясь коммунизма, будет брежневiana голодная и вконец обнищавшая, притом не избавленная ни от одной сегодняшней болезни, только вот говорить о них станет запретно. Так что нет нам пути назад, и возвращаться некуда. Только вперед. И при этом — сейчас или никогда. Иначе — еще на триста лет уйдет Россия на дно, погрузится в трясину бесправия, духовного рабства, убогого прозябания.

Монархисты, фашисты, «памятники», национал-патриоты, коммунисты, да и многие демократы — все тянут ее туда, еще, по счастью, разрозненными усилиями, еще не единым целенаправленным рывком. Но когда женибудь они сговорятся, и вновь войдут танки в столицу,

Надо ли было идти к Белому дому?

но теперь уже ведомые другими танкистами, приученными не отвечать на вопросы, и под командою других языковых и крючковых, которые уже распоряжаются, кого похватать и какие обрезать провода. Разве что пробьется жалкий радиописк, потянется ниточка контринформации. И чей-нибудь голос призовет идти защищать демократию, которая ведь выше демократов, никогда не равна им и по-прежнему остается для нас недостижимой мечтой.

Что же, не откликнемся? Не выйдем на площадь?

Московские новости. 1992. 23 августа
Радио «Свобода»

К 60-ЛЕТИЮ ВОЙНОВИЧА

Дай бог вспомнить, когда я впервые услышал имя — Владимир Войнович. Кажется, в самом начале 1961 года, и притом в контексте не очень для меня приятном. В те поры должна была выйти в «Новом мире» моя повесть «Большая руда», ее поставили в номер 2-й, февральский, когда мне как раз исполнялось 30. И вдруг уведомляют автора, что в номере 1-м, январском, печатается повесть некоего Войновича «Мы здесь живем», и тоже о шофере, так что моя, естественно, отодвигается, иначе же будет «перебор». Номер 3-й — уже заполнен, пойдет в 4-м, апрельском. Помех вроде бы никаких, но на мое кривое счастье, 12 апреля полетел Гагарин, и мою «Большую руду» из готового номера пришлось выдирать крючьями. Ведь у меня там шофер падает с машиной в карьер, ломает себе шею, нехорошее какое-то сопоставление с полетом в космос, какой-то даже неприятный намек. А что у нас в номере 5-м? Майские праздники, плюс день большевистской печати, плюс День Победы, тоже нельзя омрачать. В 6-м — Виктор Некрасов, которому скоро должно было исполниться 50, и рядом с его мрачной «Кирой Георгиевной» нужно дать что-то жизнеутверждающее. Тут неожиданно образовалась брешь в 7-м, разобитый редакторскими придирками Тендряков за-

брал рукопись — и на ее место, с божьей помощью, втиснули меня...

Я рассказываю об этих курьезах, чтобы напомнить, на каком свете мы жили, от чего зависело наше литературное счастье, на каких ниточках болтались наши судьбы, при этом тесно и причудливо переплетаясь. Покуда я изнывал в ожидании, некоего Войновича, с которого все началось, со страстью лупцевали в критике — и разумеется, поделом, не перебегай другим дорогу. Впрочем, на нем лупцевание сказалось мало, ко мне в Доме литераторов подошел знакомиться человек ничуть не забитый, полный энергии и жизнелюбия, с улыбкой во все лицо, даже до странности, непозволительно веселый для этих стен.

Повесть «Мы здесь живем» — из жизни целинников — еще не показала всех возможностей Войновича; мне кажется, в нее было попросту мало вложено своего, автобиографического; скорее это была заявка, обещание на будущее. И вот в году 1963-м в том же «Новом мире» он это обещание исполнил — рассказами «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра». Стало ясно — пришел писатель, без которого уже нельзя себе представить современную русскую прозу, со своей темой, своими героями, своей манерой письма. Тогда же отчетливо проступили коренные черты его стиля — как бы даже бесстилевая простота, безыскусственность изображения, что ему и придавало подлинность. И конечно, юмор — не от громоздкого острословия, как нынче принято, но извлекаемый из самой ситуации, в которой не каждому дано увидеть смешное, а ему, Войновичу, дано в избытке.

Тем летом 1963 года в Ялте, в писательском Доме творчества, я наблюдал явление редчайшее: трое писателей, сойдясь, говорили о четвертом за глаза одно только хорошее. «Талантище!» — подытожил Григорий Поженян и достал вторую поллитру. А Виктор Некрасов, показав нам открытку от Войновича, заметил, что он путешествует где-то неподалеку, так почему бы ему, мерзавцу, не заехать в Ялту и не выпить с нами по рюмочке? Те дни вылились

в сплошной праздник общения. Путевки у Войновича не было, но, разумеется, устроили его и спать, и есть, ну и попито было тоже хорошо — все почему-то ночами, лишая собратьев наших по перу сна и покоя. Однажды так разгуделись на террасе, что собратья не вытерпели и накатали «телегу» в Литфонд — на предмет нашего выселения. И пожалуй, «телега» возымела бы действие, но жалобщики допустили промах. Не полагаясь на силу собственных имен, они пожаловались, что мы не давали спать больному Маршаку. На что расположенный к нам Самуил Яковлевич возразил самым резким образом, что именно в указанную ночь он спал как ребенок.

Помню еще, на крутом извилистом спуске к морю в кромешной тьме южной ночи Войнович вдруг стал рассказывать со смущением в голосе мне и спутницам нашим о своем новом замысле, который уже давно его занимал. То была история солдата Чонкина, хотя имя тогда не называлось; возможно, еще не было найдено. У меня к этой вещи отношение сложное, я все же больше ценю «Расстояние в полкилометра» и в особенности «Путем взаимной переписки», — возможно, от ностальгии по молодости. Роман-анекдот о Чонкине снискал себе, как известно, много противников, но и страстных его почитателей тоже хватает, и как ни покажется странным — именно среди фронтовиков-окопников. Как бы то ни было, огромный успех романа представляется мне заслуженным, и отраднo то, что эта вещь в творчестве Войновича как бы заглавная, в которой имя героя так смыкается с именем автора, что они уже навсегда неразделимы. «Это какой Войнович, — спрашивают, — это который Чонкин?»

В подобных случаях воистину трагично, если книга не издается на родине автора, а появляется в «чужеземии». Винить ли сейчас в этом Твардовского, переживавшего каждый месяц своего редакторства как предпоследний? Я знаю только, что книга, коль скоро она издана где бы то ни было, создает новую реальность, и она круто меняет положение автора. Так Чонкин, одним своим нежелатель-

ным для властей появлением, изменил всю судьбу Войновича. Раньше меня начав публиковать свою прозу в «Новом мире», он раньше меня и выбыл из авторов его, мне же еще удалось накануне крушения напечатать «Три минуты молчания». А после крушения — пристанища на родине нам не нашлось.

Логично нам было оказаться в кругу диссидентов, подписывать бесчисленные обращения к мировой общественности, часами выстаивать у неприступных стен, за которыми судили инакомыслящих. Из нынешнего дня это покажется легким занятием. Да, разумеется, полегче, нежели подсудимому за барьером, но ведь многих из вас, нынешние ниспровергатели, мы около тех стен не встречали. Из сегодняшнего дня многое и вовсе не видится — так, лондонский корреспондент «Литгазеты» Михаил Озеров, оповещая читателей об учреждении в нашей стране филиалов «Международной Амнистии», ни словом не упомянул маленькую Московскую группу «Эмнести», в которой состояли и мы с Войновичем. А ведь она просуществовала десять лет и была единственной группой «Амнистии» в государстве тоталитарном, где одно ее существование было вызовом.

Я не знаю, как рассматривать сейчас нашу вынужденную эмиграцию: как закономерный итог всех издевательств и гонений или как неожиданное везение, чтоб нам сохраниться от распада. Дороги в отечество заново нам открыты, но ведь все смешалось в нашем доме, из которого уже и гнать никого не надо, из которого сами бегут.

Но если смотреть на наши пути с колокольни поколения, генерации, так нам, шестидесятникам, положила руку на сердце, решительно повезло. Нам повезло родиться в начале 30-х и войну пережить рано повзрослевшими детьми, повезло, что смерть батеньки Усатого и начало хрущевской «оттепели» пришлись на лучшие наши годы, слегка за двадцать, а когда пришло время куда-то нести свои сочинения, оказались готовы принять их журнал «Новый мир» и образованнейший его редактор Александр

Трифонович Твардовский, с гордостью себя называвший «квалифицированным читателем». Ну и не только он воспитывал нас 11 лет в своем журнале, как в лучшем университете, но вся плеяда, вся его команда. Один Сац чего стоил, Игорь Александрович Сац, ходячая энциклопедия и всегдашний ровесник молодым, к тому же отчаянной храбрости человек — по-моему, единственный, кто отваживался сесть к Войновичу на мотоцикл пассажиром.

Нам повезло вступить в литературу, когда слово ценилось так, что за него назначались в зависимости от его качества тюремные сроки, когда встречалось со вниманием каждое новое имя и едва ли могло удержаться надолго имя случайное. Повезло, что еще не было такой пропасти между поколениями, еще жила преемственность и старшие передавали свой опыт с такой же охотой, с какой младшие внимали каждому их слову. Поэты группировались вокруг Ахматовой, Пастернака, Антокольского, прозаики — возле Паустовского и Катаева, нашими старшими друзьями были Владимир Тендряков и Виктор Некрасов. Они с нами пили водку и были участливы к нам, но и суровы по гамбургскому счету, и нам бы в голову не пришло сказать, предположим, Виктору Платоновичу, старшему нас на 20 лет и на целую Отечественную войну: «Уйдите и уступите место нам». А место-то было куда теснее нынешнего. Те, кто так говорит сейчас, не представляют себе, какая зияющая пустота открылась бы там, где еще стоят шестидесятники, и что стало бы с новыми поколениями, в одночасье лишенными этой стареющей опоры.

Сегодня чуть младшему моему сверстнику — 60. Пожелать ли ему прожить еще столько же? В нашем случае это, наверно, отдавало бы фальшью. Когда два жизнерадостных идиота, мы с Войновичем, соревновались у меня дома, выжимая над головою двухпудовую гирю, — казалось, так будет долго-долго и нам не предстоят ни инфаркт, ни операция на сердце. Когда же все это есть в наличии, жизнь слишком долгая несколько теряет свою заманчи-

К 60-летию Войновича

вость. Но я все-таки пожелаю товарищу литературной молодости: не подводить итогов окончательных, а только предварительные, не смотреть на это 60-летие как на некий рубеж, или предел, или вершину, за которой последует уклон и ничего другого, а рассматривать этот юбилей как начало нового, столь же трудного, но и славного, десятилетия. Только и всего.

Поздравляю тебя, Володя.

Радио «Свобода». 1992. Сентябрь

К 70-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ ПОЖЕНИЯ

Легкий укор послышался мне в словах Юрия Соломонова*, выступавшего по радио «Свобода» на прошлой неделе по случаю 70-летия Григория Поженяна. Вот вы, шестидесятники, отмечаете юбилей своего ровесника Войновича и совсем упустили, что в эти же сентябрьские дни другому вашему коллеге грянуло на десять лет больше. А ведь он, судя по вашим же воспоминаниям, был вам не чужд и к вам тоже не безразличен.

Укор, делать нечего, я принимаю, но хотел бы привести два смягчающих мою вину обстоятельства.

Ну, во-первых, откуда, при нашей разобщенности, мы узнаем, кому там сколько грянуло? Мы ведь друг другу в паспорта не заглядываем. А заглядываем, открою секрет, в произведение доктора-слависта Вольфганга Казака, называемое «Энциклопедическим словарем русской литературы с 1917 года»**. Так вот, поэта Григория Поженяна с его 70 годами в этой энциклопедии нет. Но пусть не огорчается, этот словарь, кажется мне, славен не только теми, кто туда попал, но и кто не сподобился. Начать с того, что нет Леонида Андреева, ни сына его Даниила, а из поэтов — Алек-

* Зам. главного редактора «Литературной газеты».

** Изд-во OPI, London, 1988.

сандра Вертинского, Николая Глазкова, Анатолия Жигулина, Евгения Рейна, прекрасных женщин — Вероники Тушновой, Юлии Друниной, Вероники Долиной. Надо ли продолжать? А зато есть Аля Рахманова — знаете такую? Порусски ни строчки не написала. Говорят, в новом издании многие пробелы заполнены, да есть ли досуг — гоняться за новыми изданиями?

Понадеяться на память? Но в далеком уже 1964 году был я на дне рождения у Поженяна — и поразился хлебосольству хозяина: столько было гостей — писателей, актеров, бывших однополчан, что это не мог не быть юбилей — ранний, 40-летний. Сдвинутые столы не помещались в самой большой комнате малогабаритной квартиры, но Гриша справедливо рассудил, что гипотенуза всегда длиннее катета, и столы вытянул по диагонали. Крайний уполз в кухню и там уперся в газовую плиту. Тридцати лет с того дня еще не прошло, но я запоздало соображаю, что отмечался тогда всего лишь рядовой 42-й год — впрочем, наверное, не рядовой, а как-то он рифмовался с годом 42-м века, когда юный Поженян, участник диверсионной группы, вместе с нею погиб и воскрес из мертвых, оставив свое нестираемое имя на мемориальной доске.

Это первое легендарное, что мы о нем слышим, и еще о том, что он был награжден посмертно. Ходят легенды и повеселее — например, как его исключали из Литературного института с формулировкой: «за пособничество в организации беспринципной групповщины на семинаре разоблаченного эстета и космополита Антокольского».

— Чтоб вашей ноги здесь не было! — сказал ректор.

Гриша сделал стойку на руках и так вышел из его кабинета. А кто, вы думаете, первым у нас запретил коммунистическую партию? Ну, вообще-то президент Ельцин, но в малом масштабе — опять же Гриша Поженян. В середине 60-х годов он выступил в ипостаси кинорежиссера, поставил на Ялтинской студии фильм «Прощай» — о моряках-черноморцах, которые на крохотных торпедных катерах конвоировали суда, вывозившие раненых и детей из осажденного Севастополя. С новой профессией Гриша

справлялся вполне, но как-то его спросили, почему в съемочной группе не функционирует партийная организация. Рискуя фильмом и выказывая застарелую неприязнь к политрукам и комиссарам, Гриша сказал:

— У меня коммунисты будут работать в подполье!

«Сочиняет он или правда?» — спрашивает Юрий Соломонов. Но какое мне, собственно, до этого дело? Не любо — не слушай. Но я, к примеру, так же любуюсь красотой домысла, как и живописностью факта, положенного в основу. Кроме того, не только он рассказывает, но и другие о нем. Чтобы о вас легенды складывали, надо же личностью быть, наподобие Дениса Давыдова, поэта и гусара.

И потом, рассказывает он и такие истории, в которых сам выглядит далеко не выигрышно. Таков его рассказ, мною слышанный, об югославском ордене. Когда поссорились Иосиф Виссарионович Сталин с Иосипом Броз Тито, велено было нашим фронтовикам, кто имел югославские награды, с презрением их вернуть «предателям дела социализма». И как ни отлынивали фронтовики, военкоматы их вытаскивали из всех укрытий. Пришлось и Грише вернуть свой, да еще подписать гнусное коллективное отречение. Еще печальнее вышло продолжение. Когда помирились Никита Сергеевич Хрущев с Иосипом Броз Тито, стукнуло Грише в голову испросить обратно тот орден. И пришла бумага из югославского посольства, а в ней одно короткое слово, как хлыстом по морде: «Нет». Гриша об этом рассказывал, посмеиваясь смущенно, как наблудивший.

Не раз мне хотелось ему сказать слогом XIX века: «Зачем ты, Гриша, не прозаик?» Но он-то лучше знает — зачем. Он мастер устного рассказа, а это жанр и редкостный и неуловимый. Настоящая проза не пересказывается, но тут случай обратный — не записывается произносимое. Недостает живого портрета рассказчика, его голоса, его опережающего смеха едва не до слез, всей его особой посадки в долгом застолье.

Это из Гоголя, из Рембрандта с Кустодиевым, как Гриша сидел в ресторане Дома литераторов, заголив до локтей могучие руки молотобойца. Никаких иных дел у него здесь не

было, кроме как хорошо посидеть, не спешил он с портфелем в присутственные кабинеты, ни с кем не назначал деловых встреч, а сидел монолитно, монументально, не отвлекаясь от самого важного на свете — душевного общения. И как-то не чувствовалось, есть ли у него дом, семья, где его ждут и станут укорять за протяжное отсутствие. И насколько он предан мужской дружбе — а это как будто предполагает обтекание острых углов, — настолько же он умеет осадить наглеца, отшить прилипалу, стукача, коими кишит писательский клуб, сказать самую жестокую правду в лицо — без долгих притом нотаций, а удивительно лапидарно. Один из самых остроумных и находчивых людей, каких я встречал, он и мастер фразы, отточенной до афоризма.

Как-то в Ялте молодой тогда писатель, из зачинателей «исповедальной прозы», мне поведал с гордостью, что он и его друг уже так усовершенствовались в писании, что обходятся без помарок. Вот как рука написала, так и несут в редакцию. Помню, мы с Гришей загорали на воде, в полусотне шагов от берега, возлежа на надувных матрацах, и не без зависти я рассказал ему, что вот, живут же люди, пишут сразу набело и не мучаются правкой. Он ответил сразу, то ли от солнца шурясь, то ли морщась от досады:

— Старик, они же не знают, что такое эпитет!

Явно он пожалел их, не знающих сладости мук, с которыми Пушкин, как свидетельствуют рукописи, искал, к примеру, определение для светского нахала. Слово «нахал» и без того сильно, чем его можно еще усилить? Подошло пятнадцатое: «перекрахмаленный нахал». Пусть, кто хочет, попробует найти лучшее.

Лет уже больше двадцати я не видел Григория Поженяна. Избрав себе путь, отдельный от Союза писателей, от его угодий и привилегий, я, может быть, больше всего жалел о возможности как-нибудь заглянуть в тот ресторанный зал, увидеть лишь нескольких, кого неизменно хотелось видеть, среди них — Поженяна, с его неторопливым приглашающим жестом — разделить его одиночество, послушать новые стихи, которые он читал всегда энергично, без распева, и не дольше, чем их умещалось между двумя возлияниями.

Его литературный и гражданский путь был неразличим для меня в тусклых сумерках безвременья. И казалось, он погас, искрометный Гриша. Как вдруг долетела до меня его вспышка.

Есть в истории русской поэзии черная дата, столь же скорбная, как дни дуэлей Пушкина и Лермонтова, — 30 октября 1958 года, день гражданской казни Пастернака. Спустя 30 лет один из ее участников, Владимир Солоухин, благополучно переживший умученного раскаянием Бориса Слуцкого, вдруг объявил, что острого желания отмыться как-то никогда не испытывал, по крайней мере — был не более виноват, нежели те 500 в зале, что наблюдали экзекуцию молча.

Тотчас раздался яростный, срывающийся голос Поженяна — да, я так воспринял его открытое письмо, как произнесенное срывающимся голосом поэта, потрясенного наглостью и притворством коллеги. А между тем атака могла и захлебнуться, противник был опытен и хорошо себя защитил, в оправдание выставив образы евангельские: «...распятие Иисуса Христа связывается в сознании человечества не столько с именем Каифы, первосвященника иудейского, настаивавшего на смертной казни, сколько с именем Пилата Понтийского, промолчавшего и умывшего руки».

На первый взгляд убедительно: что взять с Каифы? Он добивался смерти идейного врага, чья вина была для него бесспорна. Пилат же — вины за Иисусом не находил и имел власть спасти его от распятия, но, избегая неприятностей по службе, проявил — по слову Булгакова — наихудший из наших пороков: трусость. В области этики нет поэтому проблемы Каифы, есть — проблема Пилата.

Чтобы эту защиту опрокинуть, следовало найти иную систему образов, и Поженяна ее нашел: «Вы не желаете каяться и обвиняете в трусости своих коллег... пытаетесь, да, да, уравнивать топор, взметнувшийся над плахой, и ошеломленную безмолвием толпу». Слово «палач» не произнесено, однако же слышится за строчками. И тут, чувствуя, что оппоненту и без того досталось, не забыв, что разговаривает как-никак со сверстником, однокашником по Литинституту-

К 70-летию Григория Поженяна

ту, да и не безнадежным же циником, Поженян переходит вдруг на «ты», чем наносит последний пронзающий укол: «Я бы все это не написал, если бы не надеялся, что тебе будет больно, а может быть, и стыдно. Так, возможно, начнется очищение».

Тяжко ссориться под старость, когда все меньше времени для примирения, но этот поступок нельзя было не совершить. И он, Поженян, имел на это столько же права, сколько и сказать о генералах, «распоясанных, словно в балагане», топотом и хлопаньем изгонявших с трибуны Сахарова:

*Разве был бы я опасным и опальным,
Если б эти генералы воевали!*

Оглядывая его беспокойную, неутомонную жизнь, посвоему трагичную, но и счастливую, исполненную рыцарского достоинства и терзаний души, богатую приключениями, путешествиями, драками, застольями, удачами и ударами судьбы, я ищу эпиграф к этой жизни и нахожу — в древнейшем завете античных моряков: «Плывать необходимо, жить — не так уж необходимо». Толкуя расширительно, поставим красоту и важность поступка, деяния выше драгоценного инстинкта самосохранения.

Ну а что до моих запоздалых поздравлений, то полагается мне, Гриша, выпить за тебя штрафной. Будь счастлив — как умеешь.

Радио «Свобода». 1992. Октябрь

СМЕНА КАРАУЛА

В журнале «Москва» произошла, как теперь выражаются, смена караула. Ушел от редакторства Владимир Крупин — по причине, которую его преемник, чрезвычайно партийный господин*, изложил так: «В ведении дел необходима определенная жесткость, резкость. Мягкость, заведомая расположенность Крупина к незнакомому человеку оказались словно бы излишними». Дубоватый стиль этого порицания вдогонку, вместо полагающейся благодарности и похвалы, выдает нетерпеливое желание побыстрее выпроводить предшественника и даже помочь ему справиться с лестницей. Юмор ситуации состоит в том, что сам же Крупин и пригласил жесткого и резкого преемника в журнал — заведовать отделом прозы, так что его, Крупина, мягкость и заведомая расположенность к незнакомому человеку оказались для чрезвычайно партийного господина вовсе не излишними. Будем надеяться, он наделен еще какими-нибудь талантами, необходимыми главному редактору, помимо жесткости и резкости.

«Литературная газета» уход Крупина восприняла с видимым сожалением и поместила в номере от 14 октября

* Л.И. Бородин.

его пространное интервью. Опустим его собственные объяснения отставки, они определяются этикой, которая у писателей называется «цеховой». Интересно мне — сегодняшнее настроение Крупина как человека и писателя, за которым видится некая общность называющих себя «патриотами». Название не очень удачное, так как на него претендуют и «демократы», с которыми «патриоты» не желают иметь ничего общего. Владимир Крупин — тот себя даже называет врагом демократии; для меня это ново и огорчительно; мне кажется, он отчасти утратил чувство юмора, которым в достатке обладал. Но тут я должен сделать небольшое отступление в прошлое.

В «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года», сочинении доктора Вольфганга Казака, мы с Крупиным связаны одной строчкой, где сказано, что он работал редактором в издательстве «Современник» и это место потерял из-за выхода в свет повести Г. Владимова «Три минуты молчания», год 1977-й. Здесь и дата ошибочна, и все было немножко не так. Крупин был редактором двух моих книжек и проявил к ним высшую редакторскую добродетель — не поправил ни слова. В то свирепо цензурное время он посчитал занятием недостойным «вычесывание блох» из произведений автора, на 10 лет его старше, и предпочел просто общение. 20 с лишним лет назад в Сочи постучались ко мне в номер цирковой гостиницы, где я обрелся по блату, и возник на пороге крупноразмерный, большелобый светло-русый малый, вятским своим говорком представился, что вот назначен ко мне редактором, выхлопотал себе командировку, а следом объявил, что первый раз сегодня увидел море. Была вторая половина ноября, купаться поздновато, но хорошо бродилось по серой гальке опустевших пляжей, дышалось влагой прибоя, посиживалось и попивалось в полупустых злачных местах, вдали от того гадюшника, что зовется Центральным Домом литераторов.

Володя Крупин был весь глаза и уши, жадно вбирал, впитывал все относившееся к писательскому ремеслу,

к образу писателя, который он примерял к себе, а заодно и присматривался, с кем ему быть, в каком стане. В то постновомирское время пути демократов перекрывались, оставался один — в Тамиздат, и слышался знаменитый спор: что лучше — одна строчка правды, напечатанная в России, или тысяча их, но за «железным занавесом»? Крупин тяготел к строчке, и этот выбор нельзя было не уважать. Очень достойно он встретил все неприятности, когда у меня напечатали на Западе «Верного Руслана» и когда я вышел из Союза писателей. Ни к тому, ни к другому он отношения не имел, но так принято в нашем отечестве, что редактор отвечает за своего автора — недоглядел, не отговорил, не сигнализировал. Самого Крупина тогда принимали в союз, и всевозможные партторги начали копать, не я ли давал ему рекомендацию. Я, разумеется, не мог этого сделать в предвидении публикации «за бугром», я сделал хитрее — попросил Бориса Можая, тогда заседавшего в приемной комиссии, позаботиться о молодом даровании. Борис Андреевич приехал ко мне поздним вечером за книжкой Крупина — с невыразительным названием «Зерна», обещал вернуть; не вернул, конечно, и правильно сделал — ни одной бумажки не дали мне провезти через таможенный контроль. А бывший мой редактор по поводу всего неотвратимого, что происходило со мной, написал мне прощальное горькое письмо, где были такие строки: «Я думаю, что это тоже не выход. Людьми, издающим Вас, чужды наши боли, а тираж до России не доходит».

Не совсем так было, кое-какой тиражик до России доходил, а до меня в Германию доходили вещи Крупина: «Живая вода», «Сороковой день», «Тринадцать писем к жене», но расставание казалось окончательным, на всю оставшуюся жизнь, и неожиданный его звонок показался чудом. Осенью 1987 года, вырвавшись в Финляндию с Битовым и Маканиным, он позвонил. Был полон энтузиазма, звал в Россию, помню его слова: «Мы сейчас говорим все, что хотим».

Он и сейчас говорит, что хочет, но энтузиазма нет и в помине. То, что случилось в стране, обступило его, как Хому Брута в церкви, сонмищем страховодных чудищ, и в каждой строчке своей исповеди он причитает, брюзжит, гневается, кому-то грозит и снова жалуется, не видя, куда бы уйти. «Я все больше радуюсь одиночеству. Но в одиночестве особенно обостренно думается об ужасах современности, о том, как легко обманывать людей, особенно русских, используя их доверчивость...» Это о себе он говорит, обманутом светом свободы, который оказался болотным огнем гниения. И нет пути назад бывшему члену КПСС: «Коммунизм — главное вранье мировой идеологии. Его лозунг о царстве справедливости на земле лжив: жизнь на земле страдание, и другой никогда не было и не будет». Но и демократия — «для России совершенно чужда. Это снова рай из-под палки. Сейчас не социализм, не капитализм, сейчас сволочизм, царство блуда, телесного и нравственного... Ворье, жулье, проститутки — вот кто счастлив при демократии... Жизнь стала полна страха, человек не защищен, защищены только денежные воротилы. И что толку говорить, если никто не слышит? Ну обличим мы воровство — оно усиливается, ну упрекнем мы правительство во вранье — оно отмахнется. Россия затаилась, она больше не хочет жертв».

Собеседница Крупина, Елена Грандова, то и дело — и весьма удачно — ловит его на противоречиях. Действительно, взять два любых его утверждения — они же не стыкуются. «Россия затаилась», но: «вся страна превращена в Гайд-парк, недержание слов из говорильни парламента растекается повсеместно». Или вот еще: «Россия созрела для ненасильственных преобразований, ничего с нею за 70 лет не случилось...» В то же время — «сволочизм, царство блуда...». Как же не случилось? А вот, оказывается, в чем дело: «это знак любви Божией к России... кого Бог любит, того и наказывает». Так уж потерпим, коли так, что же мы плачемся?

Разумеется, легко изловить писателя на противоречиях, Толстой весь в них и даже выговорил себе такое право:

«Я не птица — петь одну песенку». Но как-то оно густовало для одной газетной полосы, и к тому же, ругая демократию, приписывают ей грехи, в которых она неповинна. Собеседнице диковинно слышать от писателя о «развратных книгах» Рабле и Боккаччо, всего лишь «пропагандистов блуда». Ну, пусть они такими представляются Крупину, но не при демократии они писали свои богомерзкие сочинения, и не при демократии мы печатали переводы их. И почему же одни переводы? Патриотическое сознание не позволяет назвать «солнце русской поэзии» — Пушкина, да и Лермонтова тоже; неужели бы они от своих фривольностей стали отпираться?

Ища спасения от ужасов современности, Крупин говорит о бегстве к природе, возлагает надежды на самосовершенствование, на то, что «человек, понимая греховность, избавляется от нее. Да еще надо крепить семью, в ней спасение. Да еще не смотреть телевизор...». Но это все средства индивидуальные, а как обществу быть, России? Тут надежды — на полузабытые земские собрания, смысл которых — так уж видится Крупину — благо народа. Ну и должна же быть — вы угадали! — рука потверже, «власть жесткая, но не жестокая, строгая и справедливая. Такому правительству народ поверит».

Но если вы думаете, что это вывод окончательный, то вот еще информация к размышлению: «В чем спасение? В понимании, что нет системы, к которой можно приспособить, приучить, пригнуть Россию». И твердая рука, стало быть, не пригнет, что же тогда поможет? А вот что: «Ничего не сделать без понимания определяющей роли религии в России. Можно и в монастыре погибнуть, и в бардаке спастись, если душа откроется Богу, а сознание — вечности».

Если бы так, Владимир Николаевич! А то ведь вот какое противоречие обнаруживает статистика и перечеркивает Ваше ехидное замечание, что «при хороших демократах все подорожало в сто раз, а при плохих коммунистах картошка стоила десять копеек». Нельзя, конечно,

сосчитать всех верующих в стране, но можно — посещающих церковь. Так вот, при коммунистах было их 11 процентов от всего населения. Ныне же, при демократах, напротив того, число неверующих уменьшилось до тех же 11 процентов, вот какое совпадение. А картошка подорожала в триста раз. А жизнь полна страха. А человек не защищен. А кругом сволочизм и царство блуда. А счастливы одни валютные воротилы. И льется кровь. И никто никого не слышит.

Кажется, среди всех свобод, вдруг свалившихся на Россию, всего досаднее Крупину — свобода вероисповедания. Это, считает он, «не заслуга новой власти, а ее вынужденный, но и коварный ход. В гонениях вера крепнет, в поблажках слабеет... Православию стало еще тяжелее». Гнетет и коробит Крупина, что «иконы рядом с алкогольным пойлом, кресты на продажу у ног иностранцев», а пуще того, что «всем почет и место — католики с экрана не слезают, все секты, все раскольники вышли на улицу, кришнаиты... кто угодно».

Что иноверцев нечего баловать, это ясно. А вот как добиться, чтоб вера православная заново окрепла? Поблажки отменить, вернуться к гонениям? Но мы слишком многого ждем от Крупина — логического ответа. А он нам декларирует: «Россия живет по своим тайным законам». Это — которые умом не понять? Они самые: «Мы в России, которая доселе никем не понята и самими русскими до конца не постигнута». Что ж, это извечная наша задача, об этом написаны и еще напишутся курганы книг, но, может быть, для начала постигнем хотя бы суть демократии, которую Крупин вполне отождествляет с демократами, а это явления не совпадающие, подчас далекие друг от друга. Под демократов слишком часто у нас рядятся наскоро перелицованные «гомо советикусы», перекрасившиеся коммунаки, совки; понимаю, что они сильно раздражают Крупина, — как, впрочем, и мой слух не ласкает, каким тоном говорит он, скажем, о Ельцине:

«Ельцин врет много, уже проврался... такое ноздревское: цен не повышу, лягу на рельсы. Не лег. Самое противное — многократно хвалился, что ему Буш звонит по два раза на дню. Бог с ним».

Помилуйте, Владимир Николаевич, это кто же Вам позволил так о высочайшем в государстве лице? Где Вы такого духа-то дерзновенного набрались? Ну, Вы-то еще ладно, а вот Проханов Александр иной раз такое загнет, так придется забористо, — невольно подумаешь: вот бы он так про Леонида Ильича, что б с ним было! Да в те-то года он победоносное советское оружие славил, а чтоб против власти — да боже упаси! Так вот, это Ельцин же вам и позволяет, это демократия, проклятая и благословенная, которая себя не защищает, как мы привыкли, чтоб власть себя защищала, а если б она той власти уподобилась, то перестала б быть демократией. Просто мы сами должны понять: не по-джентльменски это, господа, пользуясь благами демократии, ее же и хаять. Если у наших правителей хватает ума и терпения не преследовать нас за дерзость, должно же и у нас хватить ответного благородства — не ругаться. Ведь глупо это — как сук рубить, на котором сидишь.

Казалось бы, это более всего относится к писателям, которых гласность освободила от ненавистного языка раба Эзопа. Но нет, возражает Крупин: «Я всегда говорил то, что думал». Свидетельствую — говорил. У меня дома. Вот эту исповедь возмутительную какая б газета не переправила куда надо? Вместе с тем гласность принесла урон — притом урон профессиональный. «Что толку говорить, если никто не слышит?» И как перенести, если дорогие Крупину авторитеты — Астафьев, Белов, Распутин — подвергаются не то чтоб остракизму, но неуважению, злословию, даже клевете. С «вершин писательской власти» — выражение Крупина — они скатились черт-те куда, до положения Чехова или Бунина, еще не выбранных в академики. А кто и моральную травму пережил — как Юрий Бондарев. Составив себе имя военной прозой, потерпел

поражение на выборах в Сталинграде, где воевал. Говорят, получил 15 процентов голосов. Признаться, и мне мало радости, что писателя обскакал на выборах в Верховный Совет комсомольский секретарь, но цеховая солидарность все же не заставит меня ругать избирателей, которые, наверно, почитали этого писателя, послушали его речи, да и показали нам, что народ умеет не только безмолвствовать и водку пить и не так чужда России демократия, как это представляется нашим патриотам.

«Сейчас писатели, — говорит Крупин, — потеряли уважение к себе, и по этому случаю идет вселенское нытье». Возможно, нытье самого Крупина происходит оттого, что его книги и книги его коллег не так бойко расхватываются или вовсе не издаются; это печально и требует самого пристального рассмотрения, но никак не подталкивает к выводу, что «не надо бы писателям лезть в политику. Писателей будут изгонять из политики, и это очень хорошо». Не продолжают ли тут самооправдания отставки редактора? Подозрительно звучит: «...хорошо, когда изгоняют». И, словно бы себе в осуждение: «В политику писатели идут от тщеславия, от желания мелькать, быть на виду».

Кажется, Черчиллю это принадлежит: «Война — слишком серьезное дело, чтоб доверить его генералам». Почему же судьбу страны, государства вверять одним политикам? Хотя бы судьбам самой литературы довольно уже зависеть от милостей партийных функционеров, умеющих «чижика» стренькать на фортепьянах или попеть дуэтом народные песни. Сам же Крупин видит пользу в парламентских речах Василия Белова, а я бы напомнил о замечательной речи Юрия Власова против империи КГБ. Писательский голос должен звучать в парламенте, как звучал голос Андрея Сахарова. Был ли он политиком — не знаю, в этой ипостаси я его как-то не воспринимал, видел — мыслителя, свободного, без каких-либо шор на глазах, не связанного групповыми амбициями и никому не навязывавшего свое мнение как непреложную директиву; напротив, его мягкость и заведомая расположенность вы-

слушать ваше любое мнение, пускай вздорное, могли покорить самого упрямого оппонента. Если эти свойства оказываются «как бы излишними» в парламенте, я бы вслед Василию Белову назвал его «палатой мордов». Если в журнале — я бы на такой не подписался.

Вот здесь я бы себе же задал вопрос: имея власть вмешаться в судьбу писателя, поспособствовать ей, как бы я поступил в отношении Владимира Крупина? Ответу: я бы его пригласил редактировать журнал. Да уж, при всех его противоречиях, несуразностях, предубеждениях, при всем нытье, но и со всей болью о народе, о том, что в стране сегодня делается, со всей его искренностью, без какого б то ни было двоедушия. Собеседница, Елена Грандова, называет его человеком совестливым и ранимым. Это правда, и это-то и делает его сумбурную исповедь событием, какое не часто разворачивается на страницах «Литгазеты». Мне кажется, он ушел из журнала «Москва» — или его ушли — в самый интересный для него момент: может быть, накануне того, чтоб написать свою наиболее значительную книгу, если только она уже не пишется. А журнал — в особенности традиционный толстый журнал в России — тоже произведение художественное, которое не рождается из заведомого знания, как надо и что надо, но из желания узнать и понять. При этом и наши ошибки и заблуждения могут быть плодотворными. Если б Колумб не ошибался, он бы не поплыл туда, где и наткнулся на неведомый материк. Я имел случай видеть, как рождалась настоящая слава журнала «Новый мир» в 60-е годы: это происходило по мере того, как его редактор из самого искреннего коммуниста, обеспеченного со стороны идейной «всепобеждающим учением», превращался в живую рану России. И утолением печалей и мук было любимейшее детище — журнал. Когда отняли его, то как будто отъединили аппарат кровообращения. Исход был скоропостижный.

Я куда как далек от того, чтобы даже сравнивать нынешнюю «Москву» с тем «Новым миром» — ни по силе

воздействия на общество, ни по значению в нашей истории, — но гибель, умирание в чем-то ведь уравнивают малых и великих, по крайней мере так должно смотреть на это христианину. Если и не гибель грозит журналу «Москва», то все же крутая перемена статуса может стать роковой.

Вспомним, что этот журнал, принадлежавший двум друг другу противостоявшим, даже взаимно враждебным писательским организациям — Москвы и Российской Федерации, — задумывался как нейтральный, в котором писатели могли бы и помириться, избавленный от участия в идейных схватках, поэтому, кто б им ни руководил, иной раз удивлявший приятными неожиданностями. На его страницах могли соседствовать Анатолий Иванов с Виктором Некрасовым, Лев Никулин с Паустовским Софронов и Тендряков, попадались, кроме стихов Егора Исаева, нет-нет да Осипа Мандельштама и Максимилиана Волошина. В 1966 году — время гнусное, суд на Синявским-Даниэлем — не «Новый мир» Твардовского, а «Москва» нас удивила и обрадовала да хоть и порезанными «Мастером и Маргаритой». И если я не ошибаюсь, так именно здесь в раннюю пору новой «оттепели» приземлился первый скворец из эмиграции — набоковская «Защита Лужина».

И так бы и плыл себе этот кораблик — не то чтобы во все без руля и ветрил, но весьма прихотливо, — пока не решили его задействовать как боевую единицу. Снабдили локатором, установили орудийные башни. И вступил эскадренный миноносец «Москва» в строй однотипных кораблей, примкнул заединщиком к «Молодой гвардии» и «Нашему современнику». А с его капитаном, все же ухитрившимся лавировать и тем сохранять «лица необщее выражение», поступлено по сюжету дедушки Крылова:

*Ты, прима, будешь втора.
Теперь у нас пойдет уж музыка не та,
У нас запляшут лес и горы!*

Георгий Владимов. Бремя свободы

А вот как не запляшут, господа, и все коварство затеянной вами перестройки обнаружится очень скоро, когда она обернется монолитным единообразием? Бедному читателю придется выбирать из трех ошетинившихся крепостей, одинаковых, как полицейские будки.

Время нынче суровое, боевое, и, может быть, прав новый редактор, перехвативший журнал у Крупина: пора кончать с этой мягкостью, заведомой расположенностью к незнакомцам и с прочими мерихлюндиями, а сразу показывать длинные желтые клыки. А еще бы славно — провозгласить и на обложку вынести: «Долой литераторов беспартийных, долой литераторов-сверхчеловеков!»

Ох, как знакомо и как скучно. А ведь все к этому идет, господа.

Радио «Свобода». 1992. Октябрь

НЕ ПЕРЕКОВЫВАЮТСЯ МЕЧИ НА ОРАЛА

В номере 4-м (сентябрьском) газеты «Петербургский литератор» помещено интервью с Игорем Буничем, экспертом и историком нашего военного флота, излагающим свою точку зрения на его дальнейшую судьбу. Военный флот, поясняет Бунич, всегда строится и действует в рамках определенной доктрины его использования, наш советский — создавался *«в концепции срыва ракетного удара с американских подводных лодок и поражения авианосных соединений противника»*.

Он представлял собою единое целое, хотя географически и распределенное по разным, омывающим наши берега морям, и ориентировался *«на решение глобальной задачи в Мировом океане в случае военного конфликта с США»*. С утратой этой доктрины флоту, созданному энергией его главнокомандующего, адмирала Горшкова, назначено — умереть.

Главкома Горшкова Бунич называет великим адмиралом. Мне тем приятнее с этим согласиться, что адмирал был моим неравнодушным читателем. Прочтя в «Новом мире» две части романа «Три минуты молчания», Сергей Георгиевич в нетерпении узнать, чем же там дело кончится, прислал в редакцию за версткою третьей части своего адъютанта. Это говорит о том, каким азартным человеком он был в свои почти 60 и с какими, поди, упорством

и страстью проводил в жизнь свою всепланетную доктрину. Но я бы не поставил ему одному в заслугу, как делает Бунич, создание нынешнего флота, я бы не избег по крайней мере упомянуть его предшественника, адмирала Кузнецова Николая Герасимовича, который был главкомом еще с довоенных времен, а в 1956 году за строптивость был Хрущевым отставлен и на две ступени понижен в чине. Насколько известно, одним из первых он заговорил о «разумной достаточности» — стало быть, углядел признаки опасности, обернувшейся нынче — трагедией.

Военный флот — едва ли не самое дорогое удовольствие для государства, особенно когда вплетаются соображения *престижа*. Некогда Англия почитала долгом иметь флот, превосходящий два любых чужих, но вынужденно отступила. Большевики — не такие люди, чтобы отступать. С тех пор как военные моряки составили самую надежную силу революции, наш флот не мог бы пожаловаться на невнимание к нему, на скупость отпускаемых ему средств и качество поставляемого человеческого материала.

Станным образом, и Кронштадтский мятеж не явился тут помехой, а даже напротив, еще сильнее привлек внимание к опекаемому, хоть и носился Ильич с идеей этот взрывоопасный флот расформировать и заменить архинадежными морскими частями ВЧК-ГПУ. Флот у нас сделался предметом культа, шефствовал над ним Ленинский комсомол, кузница кадров — тех самых, по О. Бендеру, кого девушки любят: «молодых, длинноногих и политически грамотных», — о краснофлотцах лучшие песни слагались, а в кинофильмах они были героями заведомо положительными, уже при одном появлении знали мы: этот, в тельняшечке, в бескозырочке или в мичманке, не подведет. Короче, ни денег, ни любви на Красный флот не жалели. Так что не вчера и не десять лет назад выявилось как бы излишество в нашем отношении к разрастающемуся стаду «левиафанов».

В детстве еще, суворовцем, побывал я на двух боевых кораблях. Летом 1944 года в Батуми — на крейсере «Ворошилов», и там услышал, что противника на Черном море у него нет, а сюда, на Батумский рейд, он отведен, чтоб помень-

ше было неприятностей от немецкой авиации. Помню на палубе, в кормовой части, обширную латунную заплату, в некотором роде мемориальную плиту: надпись по кругу удостоверяла, что сюда угодила 250-килограммовая бомба. Она пробила верхнюю палубу и две-три промежуточные и взорвалась в мучном складе. Взметнувшееся облако муки, накрывшее весь порт, вынудило немца воздержаться от дальнейшего прицельного бомбометания. Кажется, тем и ограничились боевые действия крейсера «Ворошилов», постройки 1940 года. Рядом стоявшему однотипному «Молотову» (будущему «Славе») и того не досталось совершить. Я говорю только о кораблях, экипажи — сошли на берег и сражались в качестве морской пехоты.

В 1947 году в Кронштадте побывал я на линкоре «Октябрьская революция» — и тоже услышал, что нет у него противника на Балтике и вообще в морях европейских. Корабль был не новый, постройки 1914 года, бывший «Гангут», и готовился ему на смену монстр еще устрашительней, тем не менее «Октябрина», как ее ласково звали, с «Парижанкою» («Парижской коммуной») исправно хаживали на учения. Можно представить себе, сколько обе дамы спалили нефти. Не сказать чтобы наши дредноуты, старые и молодые, негодились в войну, они своей артиллерией прикрывали блокированный Ленинград, поддерживали наступление, но в большинстве случаев — стоя на якорях. Великого Трафальгарского сражения с немецким флотом — история как-то не удержала.

А нынче, после мирных соглашений, не стало у нас противника во всем Мировом океане. Какая же теперь будет доктрина? *«Сейчас, — говорит Бунич, — я вижу единственную задачу для поделенного Черноморского флота — охранять рыболовные суда России и Украины...»* Не хочется огорчать Бунича, но я и этой задачи не вижу. Ну разве что подерутся россияне с украинцами, так разнимать их. А охранять — от кого? Мы ходили на траулере в Северную Атлантику за две тысячи миль безо всякой охраны, и никто не напал на нас. Правда, норвежские крейсера патрулировали вдоль зоны

запрещенного лова, но небольшие, с нашими мастодонтами и мамонтами не сравнишь.

Какое-то время назад в «Литгазете» Григорий Поженян отстаивал право России на Черноморский флот. Я ценю его гражданскую смелость и чувства фронтовика, но спор идет не по поводу Севастопольской бухты или завода крупнотоннажного судостроения в Николаеве, теперь принадлежащих Украине, и президент Кравчук не о флоте хлопочет, не нужен военный флот Украине, и не под силу ей содержание его и прокормление, а есть думка такая — на металле заработать, по весу, миллионов пятьдесят долларов. Не слишком совру, сказав, что едва ли это цена одного эсминца.

А что же противники наши, с которыми тоже не сошлись у Трафальгара, как они себя чувствуют? Согласно Буничу, *«положение у них еще хуже, чем у нас»*. Хуже — навряд ли, но, наверное, они свою безработицу, надвигающуюся на судостроителей, как-то трепетнее ощущают.

«Ходили слухи, — говорит Бунин, — что наш флот строился благодаря американским взяткам. Американские фирмы давали взятки на строительство наших кораблей, чтобы получить заказы от правительства США на строительство авианосцев для нейтрализации советской угрозы...»

Думаю, это из области бакс, на валютные взятки можно дач понастроить, но едва ли хоть один крейсер. Просто человеческое сознание пытается как-то заземлить, материализовать незримую чудовищную зависимость интересов. Американцы строили, потому что строили мы, а мы — потому что американцы... Когда эта связь распалась, начался для флота его скорбный путь.

Сказывают, нет горше для моряка, чем увидеть винты своего корабля. Не только винты, а и внутренности можно увидеть в доках судоразделочных фирм Европы и Японии. Отсюда, удобно разрезанные, отправляются наши прекрасные корабли в последнюю свою гавань — мартеновскую печь.

А на что другое они бы сгодились? Верно говорит Бунич: *«Нет корабля без задачи»*, — что, впрочем, справед-

ливо и для танка, и для самолета, и для орудия, — недаром же столько типов их производится. В свое время прожужжали нам уши подводной лодкой «Северянка», которую, снявши торпедные аппараты, подарили ученым для океанических исследований, — где она, та подлодка, что-то не слышно, а строят специальные субмарины-малютки.

Корабли надводные — тяжеловаты для морских прогулок, и не обратишь их в плавучие гостиницы, слишком тесно в жилых кубриках и боевых постах. Разве что открыть на них спецдома отдыха для сильно ностальгирующего плавсостава. Ну и, конечно, пяток-десяток оставить для киносъемок. Только о чем фильмы снимать? О великих морских сражениях, которых не было?

Равным же образом и танк, снявши башню, не приспособишь для пахоты — его дизель, разработанный для стремительных атак, топлива сожрет за четыре трактора. И реактивный Миг ничем другим стать не сможет, как только тренажером для обучения — летать на реактивных же Мигах. Усвоим же хоть на будущее: конверсия — это бред, не перековываются мечи на орала. Созданное воевать — не послужит для мира. Да еще и разделка в копейку станет, точнее сказать — в цент. Боевую машину придется до винтика разбирать, до последнего транзистора — может, оно дешевле новые изготовить?

Вместе с Буничем проникаясь трагедией многих тысяч людей, высочайших специалистов, остающихся не у дел, без какой-либо другой профессии, часто и без крова, я все же не могу разделить его печального оптимизма. *«Этот-то флот погиб, — говорит он, — но, без сомнения, верный своим вековым традициям, как Феникс, но не из пепла, а из металлолома, возродится в рамках новой задачи... Которой, — добавляет он, — пока не видно».*

Так что же, печалиться нам или радоваться, что ее не видно? А покуда — деньги, истраченные на оружие, вылетают в трубу, и это буквально так: в выхлопную трубу танка, в реактивное сопло истребителя, в дымовую трубу красавца крейсера, величаво идущего в переплавку. На прощание можно его украсить традиционным флажным сигналом:

Георгий Владимов. Бремя свободы

«Погибаю, но не сдаюсь!» А можно и другой поднять: «Так проходит земная слава».

Но, право, не хочется иронизировать по поводу столь неожиданной и бесславной гибели нашей великой армады. Ведь мы ради нее страну ограбили, мы наших людей урезывали в хлебе и в жилье, утесняли в самых насущных потребностях, в более или менее сносном существовании, мы в плавающее железо обратили их энергию, их разум и чувства, их единственные жизни.

И только одно остается нам в утешение — что все-таки не сошлись мы с людьми другого материка в самоубийственной грандиозной мясорубке у какого-нибудь Трафальгара.

Русская мысль. 1992. 6 ноября
Радио «Свобода»

СТО ТЫСЯЧ «НЕ»

Казалось бы, с премией Букера все улеглось. Отрыдали поклонницы Людмилы Петрушевской, отпраздновали и отзавидовали друзья и поклонники Марка Харитонов; первый опыт присуждения иностранной премии русскому автору при участии русских его коллег — завершился. Что к этому прибавить? И стоит ли возвращаться?

Но — посчитала должным Алла Латынина объясниться по радио «Свобода» и в «Литгазете»*, чем руководствовалось возглавляемое ею жюри при выборе победителя, и все не дает мне покоя — а может быть, и не только мне — один ее не очень стройный пассаж: «Премия — это все же литературная игра, праздник. Праздник не отменяет будничного течения времени, но меняет местами иерархию предметов». Помилуй бог, когда из-за чьей-то литературной игры меняется иерархия предметов, это серьезно, к этому не останешься равнодушным и десять лет спустя, не то что полтора месяца.

Наверное, лучше бы награждали сами англичане. За свои деньги можно себе позволить любое удовольствие, можно роман Харитонova «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» объявить классикой русского постмодерниз-

* От 16 декабря 1992 г.

ма и вообще романом века. И мы бы не возражали. Но коль что-то зависело и от нас, то берут сомнения: не испытаем ли мы когда-нибудь в будущем неловкость, какую, верно, ощущает Нобелевский комитет при имени своего первенца, Франсуа Сюлли-Прюдона? Знаете такого? Или — только и помните, что первый нобелиат? Сомнения такого рода — а они есть у многих — верный признак, что жюри все же не представило нам бесспорного победителя.

Помнится, первым прозаик Борис Хазанов нас уведомил, что Марк Харитонов — человек скромный, а роман у него — «на подготовленного читателя». Первое приятно было услышать, второе — не сулило больших наслаждений от чтения. Твардовский в таких случаях говаривал: «Это — на читателя волевого. А рассчитывать надо — на безвольного. Чтоб не смог оторваться». От «Сундучка Милашевича» я отрывался, не сказать чтоб сильно перенапрягаясь. Случайно оказался у меня номер «Дружбы народов», прислал Лев Аннинский со своей статьей, там же была и первая часть «Сундучка»; дочитав до слов «окончание следует», за второй я не стал охотиться. Если жюри меня упрекнет, как это я берусь судить, прочтя половину, я им скажу, что они наградили — треть. Как выясняется из интервью автора, этому «Сундучку» предшествовали две повести с теми же персонажами, и не исключено, что история Милашевича еще далеко продолжится. «Интересно было бы, — говорит автор мечтательно, — написать целое собрание его сочинений». Можете себе это представить? В оправдание жюри скажу, что роман этот обладает счастливой особенностью: в любом месте можно в него погрузиться и в любом — выплыть.

Сюжетная его основа состоит в том, что некий Лизавин постепенно, шаг за шагом — как палеонтологи воссоздают по косточкам силуэт звероящера — открывает миру безвестного писателя, Симеона Милашевича. Сам Харитонов явно в него влюблен и с отменной скромностью называет писателем «замечательным». Я позволю себе усомниться. Я думаю, что писатель — заведомо средний, и другим он быть не может — как говорят, по определению. Открыть большого писателя не удастся — по той причине, что он

в этом не нуждается. Большой писатель не мог бы укрыться ни в каком уголке России, ни в снегах Гренландии, ни в зарослях Гвианы. И никакая власть не властна сделать его безвестным, если он только заявил о себе. Она может убить его, но не закрыть — ни с помощью врагов его, ни даже друзей.

Тут мне напомнят, что литература занимается не только лицами значительными и что «все мы вышли из «Шинели» Гоголя». Но ведь Акакий Акакиевич Башмачкин — существо-то вовсе не среднее, он — тишайший, нижайший, но, значит, в своем роде выдающийся. Ведь он у всех решительно вызывает интерес! И кто бы еще смог так привязаться к своей мечте, чтоб вместе с нею умереть! Скажете, есть что-то жалкое и смешное в этой смерти, которой миллионы людей благополучно избежали бы. Но те же миллионы не сочли бы обязательным умереть из-за того, что не они первыми достигли Южного полюса, а Роберт Скотт умер, узнав, что его опередили, и мы же его не считаем личностью заурядной, а гибель его — жалкой и смешной. Что же касается жизни и творчества среднего писателя... да не беспокойтесь вы о средних, о них всегда найдется кому побеспокоиться, а нам бы с нашими великими как-нибудь разобраться. В столетие Марины Цветаевой мы не укажем, где ее могила, куда положить цветы, а к двухсотлетию Пушкина все еще не будем знать, кто были те шалуны, что писали ему гнусные письма, подтолкнувшие к дуэли.

Алла Латынина считает свой выбор «не случайным». К сожалению, это не единственное «НЕ» в ее аттестации романа. Он, извольте оценить, *не* антисталинский, *не* антиленинский, *не* антикоммунистический, *не* антисоветский, он вообще *не* политизированный и потому *не* востребованный — ни в брежневские годы, ни в эпоху перестройки, его автор *не* был диссидентом, *не* входил в конфронтацию с режимом, однако и *не* приспособливался, *не* пытался найти общий с ним язык, из-за чего «*не* раскрыл свой потенциал», «*не* обеспечен мировой известностью», «оказался *не* у места в литературном истеблишменте» и никому *не* нужным в нынешней «тусовке». Сто тысяч «НЕ». Просто какой-то паралич мнения. И что-то мне это подозрительно напоминает:

может быть, рекламу старинного средства от облысения: «рощению не препятствует, выпадению не способствует», или анкету моего верного Руслана: «не имел, не состоял, не привлекался...», предмет зависти многих советских граждан, которым в иные годы и хотелось бы так устроиться, чтобы *не* высовываться, *не* возникать, *не* дышать...

Как известно, Алла Николаевна не жалуется диссидентов, хотя они сами никогда никого не упрекали в благоразумном помалкивании и бездействии. Мой единственный упрек: она могла бы быть точнее в терминах и не смешивать диссидентство с политизированием. Правозащитное движение — не политическое, оно не добивается что-либо изменить в системе, оно противостоит произволу. Политику — привносили не в меру горячие головы, а еще провокаторы — отечественные и заграничные, но главное требование правозащитников — «Уважайте собственную конституцию!» — разве было призывом к ее изменению? Между тем поощрять аполитичность — это как раз политика, поскольку ставится задача переменить систему ценностей, эту самую «иерархию предметов».

Но что же там, за частоколом «НЕ», в области «ДА»? Видно, не одного меня это занимало, если двое из пяти — к чести жюри — предпочли Петрушевскую. Предпочли пишу мясную вегетарианской, мастерство жесткой мужественной прозы — трактату о провинциальной философии, которую сам Харитонов называет «женственной основой бытия». Но тут произошло нечто странное. Читаю у Латыниной: «Эллендеа Проффер заявила, что готова пожертвовать своей любимой Петрушевской в пользу Харитонova, лишь бы победитель был один». Приблизительно так это можно прочесть: «Вообще-то я была за Буша, но раз выбирают в президенты одного, то я голосовала за Клинтона». Еще страннее выразился Битов, он «сказал, что кандидатура Харитонova слишком бесспорна и потому такое решение скучно, и выдвинул идею пары: Петрушевская-Сорокин, в крайнем случае Петрушевская-Харитонов». Так наш победитель был для Битова даже и не вторым кандидатом, а третьим, и то лишь в паре, на половинку премии? Может

быть, постигнем смысл в речах Андрея Георгиевича, произведя рокировку: «скучно — и потому бесспорно»?

Ну и остались бы эти двое при своем мнении, сохранили бы достоинство неуступчивых судей, зачем было их склонять к «общему знаменателю»? Ведь их инакомыслие уже бы не помешало Харитонову, когда за него высказались трое: профессора Джон Бейли и Андрей Синявский, ну и сама Латынина, председатель. Но мы же — советские, мы же должны англичанам показать наше «морально-политическое единство», самое ценное, что у нас есть. И потом, без этих двух отщепенцев решение выглядело бы как-то неубедительно. Взгляды британца, Джона Бейли, россиянам решительно неизвестны, Алла Николаевна — та горою за «НЕ», Андрея Донатовича — лета к суровой прозе не клонят, все больше — к «литературной литературе», исповедует он (противоположно, скажем, Сергею Аверинцеву) первичность книги по отношению к жизни. С другой стороны, была Эллендеа Проффер, издательница, прагматичный знаток русской словесности, сделавшая для нее — вместе с покойным Карлом Проффером — сколько ни одно другое русское издательство в зарубежье. И был Андрей Битов, прозаик безусловный, к тому же написавший свой «Пушкинский Дом» почти на таком же материале, с героем-литератором. И, как ни жалела сама Латынина бедную Петрушевскую, столь близкую к премии, но взяла себя в руки и вернула отщепенцев на твердую землю. Уж больно ответственна была цель: покончить с эпохой «политизированной литературы». Хватит, довольно воздали ей. «И только один тип творческого поведения, — пишет Латынина, — остался *не* вознагражденным: когда художник занимается своим делом, *не* пытаясь ни вступить в борьбу с режимом, ни найти компромисс с ним».

В чем прелесть награждения «всем сестрам по серьгам»? Можно наградить тушившего пожар — за то, что тушил, но также и того, кто смотрел со стороны — за то, что любовался. Правда, и эта позиция, признался Харитонов, ему показалась дискомфортной: «Но ведь душа была оплевана. Не оставляло чувство стыда, чувство унижения, бессилия».

Но, может, оно легче бы — ведро схватить или там багор?.. А тогда изменится «тип творческого поведения». Выйдет, что *занимался не своим делом*.

Остается, правда, одно неудобное обстоятельство: именно то, что премией следовало наградить *русский роман*. Почитывая «Сундучок Милашевича», я не знал, что автор — многолетний переводчик, но явственно ощущалось нечто усредненно европейское, нечто от позднего Макса Фриша, позднего Белля, сюда же Латынина добавляет «прустовское смакование деталей, создающее «зыбкий воздух повествования», сюжет, развивающийся, как у Гессе, не от события к событию, а от истолкования к истолкованию», — в общем, нарочито нудноватое, несколько даже старческое, словотечение, когда вяловатая проза то и дело перетекает через размытую границу в эссеистику, в пространные лирические отступления, в «поток сознания».

Но дело даже не в букве стиля, а в духе его. Русский роман — это, конечно же, роман *востребованный*, заведомо необходимый, ожидаемый, зачастую продирающийся сквозь цензурные заграждения, оставляя на них клочья мяса, — то, что называет Латынина, применительно к Маканину, «приспособлением», — это роман, одухотворенный и верой автора, пусть наивной, что его слово что-то исправит к лучшему в этом мире, но и со стороны читателя — ответной верой в писателя-пастыря, который научит, что делать, все тяготы вынести, нащупать смысл в хаосе и бессмыслице. Потому-то автор так дорожит своим присутствием в нашей духовной ситуации — и вот я ощущаю присутствие Петрушевской, Горенштейна, Маканина, но, извините, никогда Харитонова. И строится-то русский роман как история простая, внятная, слаженная, бережливая к читательскому времени, а написать о ней можно втрое больше ее объема, как написал, к примеру, Писарев об «Отцах и детях» Тургенева, тогда как Латынина о романе-фаворите произнесла две-три общие фразы, а далее предоставила автору говорить о себе, любимом. И вот он говорит — на снимке в «Литгазете», почти карикатурном, — воздев руку и запрокинув голову, ни дать ни взять — Пушкин

в Лицее читает стихи Державину. А за ним видится счастливое лицо Латыниной, которая усидеть не смогла от радостного волнения: с «политизированной литературой» покончено!

Но — странно. Так старательно хоронили русскую литературу общественного звучания, а теперь отчего-то стыдливо примолкли главные могильщики — Петр Вайль, Александр Генис, Виктор Ерофеев, Борис Парамонов. Может быть, им все-таки жаль гонимой социальной прозы или старинного умения занимательно рассказывать поучительные истории. Или они еще не так постарели, чтобы проникнуться симпатией к тому персонажу Киплинга, насквозь книжному, из одних «НЕ» состоявшему Томлинсону, которого ни Господь на небо *не* взял, ни Дьявол в преисподнюю *не* впустил, а прогнал со словами:

«Живи на Земле и уст *не* смыкай, *не* закрывай очей!»

Похоже, поминки опять *не* состоялись, и с «иерархией предметов» дело срывается — *не* переменялась. И это значит, как говаривал Зощенко и любил повторять Сергей Довлатов: «Литература продолжается!» Я надеюсь, английскую премию за лучший роман о Милашевиче она, литература, как-нибудь пережует. Уже столько стегали ее кнутами, что она *не* ощутит и сладости пряника.

Русская мысль. 1992. Декабрь
Радио «Свобода»

В ВЕКАХ НЕ ПОМЕРКНЕТ

Неделя Сталинграда проходит и в Германии. По телевидению крутят старую кинохронику, репортажи из Волгограда, выпущен масштабный игровой фильм «Сталинград». Похоже, этого слова немцы стесняются меньше, чем мы, победители, для них оно наполнено горечью трагедии, но не позора. Спустя полвека могли бы и мы проникнуться драмой, разыгравшейся на той стороне, в кольце окружения. Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба» рассказал, как немецкий летчик пролетел сквозь огонь и, смертельно раненный, умер в кабине, посадив самолет, нагруженный рождественскими подарками и елочками, как в блиндажах зажигали свечи — по убитому и по самим себе, еще живым. Русский писатель снизошел до жалости к врагу. Но, может быть, мы поднялись бы до уважения, если б узнали, почему 6-я армия Паулюса так долго, весь январь, не сдавалась, хотя уже знала, что обречена и что группа армий «Дон» к ней на помощь не пробьется.

В мемуарах Манштейна говорится о подвиге окруженных, и тут суховатый стиль фельдмаршала наполняется пафосом, он убежден, что в веках не померкнет слава 6-й армии. Так велика его благодарность людям, позволившим ему уйти от разгрома и гибели. Советские войска вышли

В веках не померкнет

тогда в тыл группировке Манштейна и потрепали изрядно, однако разбить ее не хватило сил — их отвлекали, оттягивали на себя окруженные.

В те дни настроение фюрера выразилось в каламбуре: «Мое шестое чувство ведет мою Шестую армию». И он пожаловал Фридриху Паулюсу фельдмаршала как раз накануне капитуляции. Он так и не понял, какие чувства вели солдат и офицеров Шестой, когда им сказали, что спасение не придет и они сами должны спасать шедших к ним на помощь. Этот долг фронтового товарищества они исполнили. Рассказывал Виктор Некрасов, что за все время Сталинграда он не слышал ни об одном немецком перебежчике. В феврале, по приказу, они сдавались батальонами и полками.

С какими же чувствами смотрят немцы сегодня на длиннейшую, до горизонта, колонну соотечественников, измученных, обмороженных, бредущих в 12-летний плен, откуда вернется на родину едва ли каждый десятый? Я думаю, они сознают, что иначе быть не могло. И они не хотят переиграть войну, а лишь понять, с чего все начинается и как удастся фашизму поставить себе на службу лучшие свойства человека, в том числе — воинскую доблесть. Извлекая свой урок, бывшие противники показывают и нам, как можно осудить свое прошлое, не оплеывая его.

Радио «Свобода». 1993. Январь

«МОЕЙ ПОДПИСИ ТАМ НЕ НАЙДЁТЕ»

Открывать архивы или не открывать?

«Если открыть агентурные досье?... — такой вопрос в минувшем году предложила Наталия Геворкян, корреспондент «Московских новостей», пяти разным людям, которых сочла наиболее компетентными. — Что произошло бы в России, если б архивы КГБ были открыты?»

Насчет депутатов парламента — может ли им быть агент КГБ, хоть и бывший, — адвокат Борис Золотухин, сам народный депутат, ответил, что нет, не может, но если уж избран, то должен объясниться с избирателями, и пусть они решают, оставить ли ему мандат. Насчет же открытия архивов он отвечать уклонился, а другие компетенты высказались дружно и опасливо, что лучше бы не надо.

Олег Калугин, генерал КГБ в отставке, советует учитывать, что «на протяжении нашей истории в это дело было втянуто огромное количество граждан». Сергей Замошкин, юрист, считает, что «сфера интересов КГБ распространялась на всех», поэтому и «в архивах теоретически могут оказаться все за малым исключением». Еще горестней высказался Вадим Бакатин, бывший шеф союзного КГБ: «Все были плохие. Хорошие давно истлели на Соловках или уехали». Если это — об эмигрантах, то, помнится, Кирилл Хенкин среди них насчитал процентов шестьдесят завербованных. Впрочем, Бакатина больше Россия тревожит:

«Здесь хороших остались единицы. И я против открытия агентурных дел. Это возможно только в обществе с очень высокой взаимной терпимостью».

Но может быть, мы уже и превратились в такое общество? Почти радостно свидетельствует Замошкин, что «и нет особого интереса ко всей этой истории с тайными агентами». Также не сказать, чтоб Никиту Петрова, эксперта комиссии Верховного Совета по архивам КГБ и КПСС, сильно увлекала его задача: «это длительный и кропотливый процесс выявления сведений о том, сотрудничал тот или иной человек с органами или нет, и если да, то в какой форме... Что же касается реакции общества, то, я думаю, наши люди выработали такой стойкий иммунитет к сенсациям и разоблачениям, что и это переживут относительно безболезненно». Послушав опрошенных, и сама Наталия Геворкян «склонна считать, что интерес к теме разоблачения агентов в какой-то момент резко упал».

Заметим, однако, что среди противников разоблачений нет диссидентов, узников совести, пострадавших от КГБ, подвергшихся обыску, аресту, заключению или изгнанию. Если у них еще не пропал интерес к жизни, едва ли он пропал к вопросу: «Какая сука настучала, что я давал читать «Архипелаг»?»

Вот что имеет в виду подавляющее большинство «наших людей», а им предлагают задуматься о горестных судьбах выезжавших за границу. «Будем на этом спекулировать? — гневается Бакатин. — Прикидывать, кто писал отчеты о командировках?» Следом Замошкин приводит пример Казимеры Прунскене: «Она одна из миллионов, кто так или иначе был под колпаком у ГБ. Если ее имя там фигурирует, означает ли это, что она предавала друзей?» Нет, не означает, точнее — не обязательно означает, но в этом контексте она и не «одна из миллионов»; миллионы наши были «невыездные» — и тем счастливо избавленные от мук творчества: писать отчеты о контактах с иностранцами. Хорошо бы уточнить, что понимаем мы под «сотрудничеством». Сотрудничает и дворник, убирая снег на Лубянской площади, и все мы согласны, что не обойтись без тех сотрудников, которых

нужно внедрить, допустим, в мафию наркобизнеса; эти люди рискуют жизнью, бывает — и гибнут, почему же они — «плохие»? Давайте все же выделим тех, кто, особенно не рискуя, поспособствовал многим своим согражданам посетить острова ГУЛАГа и кого прозывают в народе так непочтительно, грубо: «стукачи».

Почему-то я думаю, что их-то и держат в уме и Бакатин, предупреждающий, что с открытием архивов «возникла бы цепь личных трагедий», и Калугин, обеспокоенный тем, что процесс «может приобрести уродливые формы, в том числе сведение счетов». Как бережно отношение к «стукачам», как нежна забота! Но может быть, как ни страшно вымолвить, а пошло бы нам на пользу, если б нашлась тысяча-другая последователей графа Монте-Кристо, со вкусом к сведению счетов; мы бы очистились от скверны стукачества, и было бы закаяно предаваться этому небезвыгодному занятию — также и тем, кто, по мнению Бакатина, искренне верил, что исполняет гражданский долг? Если верили искренне, то, значит, нет и стыда открыться, покаяться? Но что-то не открываются. А ведь как выходили из КПСС! Как хлопали дверьми, каким жестом патрицианским выкладывали членские билеты! Один героического склада мужчина свою красную книжечку даже в пепельнице сжег перед камерами телевидения. Со стукачами — не то. Ну один там, другой написали о себе в «Литгазету» — и заглох почин, не подхватили.

А ведь сведения счетов и не ожидалось, по крайней мере — в масштабах угрожающих. На то есть у нас исторический опыт. После XX, после XXII съездов поток возвращаемых из лагерей и тюрем исчислялся миллионами, и тогда сказала Анна Ахматова: «Теперь... две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили». Анна Андреевна, верно, ждала невиданного взрыва, но и великим поэтам свойственно ошибаться насчет своего отечества. Весь расклад смешала третья Россия, которая и сидела, и сама сажала, побывавшая и в жертвах, и в палачах; она-то и внесла в сознание миллионов амортизирующий, умягчающий мотив: «С кого спрос, братцы, все ж виноваты!» Еще

раз подивимся предусмотрительности батьки Усатого, который то и дело перетасовывал карты и ниспровергал ниспровергателей; благодаря этому мы и сегодня слышим от интеллигентного на вид чекиста: «Все были плохие». Или в другом варианте: «Время было такое».

Сказав так, нужно же это подтвердить — желательно именем широко известным и считавшимся доселе вне подозрений, мы это примем даже поближе к сердцу, в особенности — когда об умершем речь, за кого бывает некому вступить. Тут самое время ввести новое лицо — покаявшегося гэбиста, полковника запаса Карповича Ярослава Васильевича, прозванного сослуживцами «Ярославом Мудрым». В 1989 году в «Огоньке» напечатал он статью «Стыдно молчать», поделился давними своими сомнениями, надо ли было преследовать и изгонять неудобных писателей и иных деятелей культуры, попутно рассказал, как он сам по мере сил помогал справляться с жизнью Василию Аксенову. За ту статью Карпович был коллегами раскритикован, частью уличен во лжи, а нынешний узник «Матросской Тишины» Крючков лишил его нагрудного знака «Почетный чекист».

Сейчас, правда, вся нерастраченная нежность Карповича к инакомыслящим достается Народно-Трудовому Союзу, он прямо-таки изошряется в комплиментах вождям НТС, не упускает отметить их алмазную идейную твердость и неподкупность, выказывая при этом, я бы сказал, сверхнаблюдательность и здоровый юмор. Некоторых он знает лично — вот недавно по радио «Свобода» рассказал об увлекательной детективной игре, в которой то ли Карпович десять лет дурачил НТС, то ли НТС — Карповича, а может статься, они сообща дурачили начальство, а теперь — и нас. Эту чудесную историю я пока оставляю без рассмотрения, а привлеку еще одну фигуру, более интересную и значительную, именно маршала Жукова. Да, того самого, кто, по слову Бродского, «блеском маневра о Ганнибале напоминал средь волжских степей».

В том же 1989 году в журнале «Знамя» военный писатель Владимир Карпов напечатал документальную

повесть о Жукове и привел там один прискорбный документ. Не привести нельзя было, коли читателю поклялся всю правду говорить без утайки. Это было письмо наркомму Ворошилову, содержавшее донос на маршала Егорова, которого ждала участь Тухачевского, Уборевича, Примакова и других «изменников» и «заговорщиков», донос жалкий и глупый, даже не похоже, что генералом написанный: тот бы наплел чего ни то про нанесение вреда нашей обороноспособности, здесь же — припоминалось давнее, еще 1917 года, выступление Егорова, тогда подполковника и правого эсера, против Ленина, такое злостное, что даже какой-то меньшевик выступил против, то бишь Ленина защитил. Не знаю, отличал ли когда «железный маршал» правого эсера от меньшевика, но подписано: член ВКП(б) Жуков. И хранитель письма, Архив Советской Армии, подлинность его подтверждал.

Карпов, приведя это письмо, постарался Жукова оправдать — и тем, что *время было такое*, и что письмо это уже не повредило бы Егорову, поскольку судьба его была предreshена. «Оправдание» замечательное, но не станем придирааться к морали коммунистов, коснемся — предreshенной судьбы. Маршал Егоров хотя и был отставлен от руководства Генеральным штабом, но еще не расстрелян и даже не судим, так, может быть, этот донос и понадобился как последний аргумент? Прискорбно, что никто — даже из тех, кто называет Жукова «величайшим из маршалов», спасителем отечества, — сомнений не выразил, и так бы и ушел он в историю с клеймом стукача, но оказались у него строптивые дочери Эра и Эллы, и они сказали, что такого с их отцом быть не могло, они достаточно его знали, и направили злощастное это письмо в Институт судебных экспертиз — до чего почтенный архив, конечно, не дотюпался, — где без особенного напряжения установили графологи: «подпись Жукова Г. К. выполнена не им самим, а другим лицом».

Обрадованный автор тотчас заверил читателей и родственников маршала в безграничном уважении и любви к Георгию Константиновичу, а редакция «Знамени», очень довольная и очень кстати, привела свидетельство Констан-

тина Симонова о том пленуме ЦК КПСС 1957 года, где произошла словесная баталия между Жуковым и приснопамятной группировкой Молотова-Маленкова-Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Некоторым из них Жуков напомнил об их причастности к репрессиям 1937—1938 годов, а они, в свой черед, освежили в его памяти и *какое было время*, и что приходилось кое-какие документы подписывать — жить хотелось, а помирать не так, — и что, наверное, если хорошо порыться, можно и такие найти, где стоит подпись товарища Жукова...

Он им ответил — резко и не без гордости: «Нет, не найдете. Ройтесь! Моей подписи вы там не найдете».

Я думаю, что порылись хорошо. И не нашли. Но вот, спустя 18 лет после смерти маршала, явился полковник Карпович и всем нам раскрыл глаза.

В беседах с корреспондентом радио «Свобода» он говорит об агентурных досье то же, что и все: «Я самый-самый резкий противник обнародования каких-либо списков. Да у кого не было отношений с госбезопасностью!»

Между прочим, и я против списков. Обнародование списков и доступ к архивам — не одно и то же. К спискам еще доказательства нужны, досье — их содержат. Но вот, оказывается, какие дела: мы можем и не найти там подписи агента. «Усилиями Бобкова, который был человеком широким, — так объясняет Карпович эту замечательную новинку, — разрешено было не во всех случаях отбирать формальную подписку». Ну, скажем, если «Иван Иванович является известным писателем, из соображений, так сказать, оперативной целесообразности, подписка о сотрудничестве не отбиралась». Тут о писателях говорится, поскольку сам Карпович «разрабатывал литераторов», но, наверное, равная честь оказывалась и лирикам, и физикам. Широкий человек Филипп Бобков, глава 5-го, идеологического, управления КГБ, лучше выдумать не мог: его «усилиями» сеть растягивается так эластично, что даже почти не беспокоит шепетильного «Ивана Ивановича». Ну покалякал с оперативником, проявившим интерес к его произведениям, заодно и к тому, что в Союзе писателей делается, ну встретились во

второй, в третий раз, ну позвонил он Ярославу Васильевичу — свежей мыслью поделиться, — хоть и трудно себе представить, что за мысль спешит писатель сообщить полковнику КГБ, — и вот уже пишется «агентурная записка», а в ней: «источник Иванов сообщает...» И, как в 1937-м году, как и в 1948-м, все пишется рукою чекиста. А тут, как со смешком признается Карпович, «и приврать можно для красного словца».

Здравая логика уже вопит, что вот бы и открыть архивы, чтобы разобраться, сколько там истины, а сколько приврано. Мы же знаем, в КГБ работают парняги творческие, с огоньком, с воображением, Софоклы и Еврипиды. Но знаем и то, что нет фальшивки, которую нельзя было бы, при желании, разоблачить. К примеру, такое желание я испытываю, услышав рассказ Карповича — о том же маршале Жукове.

В 1957 году рассказчик был в Кремле, на партийном активе — по случаю отставки Жукова с поста министра обороны. Доклад о прегрешениях маршала делал Хрущев. Замечу Ярославу Васильевичу об его беллетристической ошибке: он трижды напомнил нам, что у Никиты Сергеевича была привычка отрываться от бумажки и говорить что бог на душу положит. Это значит, документов мы не найдем, придется положиться на память Карповича. Когда он сказал это в третий раз, я и заподозрил неладное. Но что же бог на душу положил Хрущеву? Поведал ему генерал Желтов, что Жуков его назначил начальником особо секретной школы. Тысячи две молодых людей, быстрых разумом и крепких телесно, должны были там изучать иностранные языки, радиосвязь, подрывное дело и прочие науки диверсантов, которых предполагалось забрасывать в соседние страны перед началом военных действий. Там бы они разрушали дороги, мосты, линии связи, наводили панику, дестабилизировали всю страну или район, назначенный для вторжения. Что же здесь поразило миролюбца Хрущева? А то, что этот «бонапартист» готовит себе команду янычар, телохранителей, этакую преторианскую гвардию для дворцового переворота. Сказать по-нынешнему, для путча.

Рассказ достигает наших ушей через трехзвенную цепочку — Желтов-Хрущев-Карпович, и в любом звене возможно искажение. Но все же проведем небольшое следствие. Желтов Алексей Сергеевич был начальником Главного Политуправления армии и флота, «ГлавПУРа», как говорят военные. Он генерал-полковник, а должность — маршальская, сменивший его Голиков тут и был произведен в маршалы. За что же такое понижение Желтову — командовать школой, где сгодился бы и полковник? Да еще и в безвестность уйти, законспирироваться? А Жукову — зачем растить себе яныгчар из 18-летних юнцов, когда на дворе 1957 год, всего 12-й после Победы, еще молоды и сильны сотни тысяч обстрелянных фронтовиков — разведчиков, десантников, снайперов, подрывников, — да хоть завтра дивизию формируй, готовую за Жуковым в пекло! И это отлично знает Хрущев, и знает аудитория.

Обычный советский ритуал, мог бы сказать Карпович, докладчик плетет околесицу, слушатели — делают вид, что верят. Но и сам же он верит, Карпович, только увидел иное, нежели Хрущев: «Он не усмотрел здесь совершенно явный империалистический такой душок, который совершенно, так сказать, по-коммунистически Жуков сюда внес. Это действительно шло на увеличение силы и значительности империи...»

Формально снимали Жукова за недооценку партийных организаций в армии, теперь он оказывается «совершенным коммунистом». А что же преторианский замысел? А вся эта затея с диверсантами? Были они? Каков Жуков бонапартист, он показал трижды: в 1941 году — когда немцы обложили Москву и правительство сбежало в Куйбышев, в 1953-м — когда опрокидывали Берию, в 1957-м — когда помог Хрущеву сладить с «антипартийной группировкой». Трижды мог взять власть, стать главою государства, но хотел быть только главою армии. За что же снимает его Хрущев? Ну, во-первых, не может доброе дело остаться без возмездия. И второе: что делать с таким министром обороны, который в правительстве чуть не единственная бесспорная величина и, хоть ты тресни, рядом с ним не выступишь соб-

ственный культ? Только вот легенду об янычарах я бы все же оставил на совести Карповича.

Маршал Жуков был человеком не самым приятным в общении. Знавшие его (к примеру, генерал П.Г. Григоренко) рассказывали о военачальнике жестоким и беспощадным, который нагонял ужас на подчиненных и ни с какими потерями не считался. Маневром и впрямь нет-нет да поблескивал, но чаще бывало — числом воевал, нежели умением. Об этом не умолчим. Но Жуков-террорист, Жуков, разрабатывающий программу диверсий против сопредельной мирной державы... не вяжется как-то. И для чего понадобилось тревожить его прах Карповичу? Известно, что маршал сильно не жаловал армейских политработников и чекистов, они ему платили законной ненавистью — может быть, это ее отголосок, запоздалая месть?

Так недоумевал я, откуда не прислали мне из Москвы — желая, верно, повеселить — пачку газет национал-патриотического направления. Это упоительное чтение. И чувствуется, как в мечтах о сильной руке, способной расшвырять всех этих «дерьмократов» и «оккупантов», взоры обращаются к властному облику «железного маршала». Да не могли не вспомнить о нем после фиаско язовских танков! Только кто бы мог хоть рядом с ним стать? Уже как-то потускнел, в тени Стерлигова, бравый Макашов. Ну а сам Стерлигов? Всем бы хорош — и статью вышел, и взгляд у него твердый, и слог императивный, одно худо — генеральство свое выслужил в КГБ. «Ну и что же, что КГБ, нашли страшные буквы — КГБ», — возмущается Нина Карташова, корреспондент «Русского Востока». И рассказывает так трогательно, что вот и она сама попала под колпак, перепечатывая книгу Нилуса «Протоколы сионских мудрецов». «И моя цветущая молодость, — пишет она, — едва распустившись, могла увянуть где-нибудь за решеткой в темнице сырой», но «спасли меня именно эти самые, ужасные кагэбэшники».

Милая Нина Карташова! Глядя на Ваш групповой портрет с генералом Макашовым, я всячески желаю Вашей цветущей молодости распуститься еще пышнее, но из-за Нилуса и сионских мудрецов это Вы зря напугались, это для

гэбистов не криминал; вот если б Вы Шаламова перепечатывали, «Колымские рассказы», а еще вернее — «Хронику текущих событий», тут бы они Вас беспрерывно под локотки проводили в темницу сырую.

Но, правда, не Стерлигов. Он инакомыслящими не занимался. Он свои усилия за рубеж направлял, против мирового империализма. Тоже ему очков не прибавляет, по нынешним понятиям. Но тут-то и пригождается полковник Карпович, «Ярослав Мудрый», — заставляя прославленного полководца заниматься в сущности тем же, что и Стерлигов. Он, правда, Жукова корит за «империалистический такой душок», но знает хорошо, в какую аудиторию роняет свой рассказ. Здесь не сочтут грехом все то, что идет «на увеличение силы и значительности империи», и особо оценят, что маршал, имея иконостас наград, среди них две «Победы», не гнушался и темных дел, поскольку билось в нем сердце патриота. Вот так-то наша история и оказывается, по известному изречению М. Покровского, «политикой, опрокинутой в прошлое».

Поздравим же пенсионера Карповича с возвращением в строй и похоратайствуем, чтоб вернули ему «Почетного чекиста». Но пусть все же представит хоть какую бумажку, которой не могло не быть, если в самом деле замышлялся диверсионный питомник и сам Жуков занимался им. А то ведь все выглядит преднамеренным поклепом.

Так открывать архивы или не открывать? Этот гамлетический вопрос, стараниями Карповича, еще затруднился, но и отчасти стал яснее. Открывать — зачем? Затем, что «страна должна знать своих стукачей»? Чушь какая, мы их и так знаем. За кем ведется охота, в конце концов научается их распознавать. Есть у них устойчивые признаки, о которых я не говорю за недостатком места, но сводящиеся к тому, что они не Андреи Платоновы и не Иннокентии Смоктуновские. Они плохие сочинители и плохие актеры и очень скоро себя выдадут, нужно лишь внимательно смотреть и слушать.

Да вся беда не в том, что наводнили страну стукачами, а что посеяли всеобщее и разобщающее нас подозрение.

Их, может быть, один на десять, а мы-то думаем на каждого пятого, на кого напали — и лгать продолжают — сами же гэбисты. Лгут же они не из одной привычки лгать, но потому что блатная «куча мала» или бакатинское «все были плохие» — чрезвычайно удобная завеса для сокрытия истины, та мутная водица, в которой безопаснее и бесхлопотнее плавать пескарям. Бог с ними, для нас другое важнее: страна должна знать своих НЕ-стукачей. Должна быть любому Ивану Ивановичу, будь он дворник или маршал, дана возможность рассеять нависшее подозрение и потребовать к ответу клеветника, а тот бы не мог отговориться закрытостью хранилища доносов. Правда, говорит Карпович, что многого мы там не найдем, но я не склонен верить ему. Мы найдем достаточно, чтобы обелить человека, живого или покойного, кого подозревали напрасно. И тогда действительно угаснет в обществе интерес к разоблачениям, об утасании которого мы не устаем твердить.

Русская мысль. 1993. 29 января
Радио «Свобода»

ЕШЬТЕ ИКРУ ЛОЖКАМИ

Что сегодняшнюю Россию всяк видит по-своему, это мы догадывались. Допускали, что взгляд эмигранта — на происходящее, скажем, в Москве — и не может не отличаться значительно от взгляда безвыездного москвича. Но все более кажется, они видят две разные реальности, меж собою не пересекающиеся, как Евклидовы параллели.

Русский еженедельник «Панорама», Лос-Анджелес, проделал недавно любопытный, но и коварный опыт: поместил беседу с Александром Глезером, только что вернувшимся из России, под названием «Русская культура не погибнет», и рядом — статью москвички Татьяны Успенской «Россия — громадная паперть». Александр Глезер, хорошо мне знакомый, худенький человек энергии неукротимой, многогранен и вездесущ. Он редактирует альманах «Стрелец» и выпускает книги в своем издательстве «Третья волна» совместно с издательствами московскими, он президентствует в Московском центре современной русской культуры и хлопочет о создании музея нового искусства, он устраивает вернисажи и фестивали, а в оставшееся время, которого у него никак остаться не может, он пишет статьи, берет и дает интервью, выступает по радио «Свобода». У меня стойкое впечатление, что он пребывает одновременно в нескольких местах: в Москве, в Париже, в Тбилиси, в Мюнхене, в Ниж-

нем Новгороде. Всего интереснее ему — в России: «да, печального и тяжелого в России сейчас много, но тем не менее жизнь здесь захватывающе интересна. Особенно жизнь духовная: концерты, выставки, литературные дискуссии...»

Поверить ли после этого Татьяне Успенской, что «Москва сегодня — это большая толкучка», где «напоказ выставлена прожитая жизнь», отдают за бесценок все, с чем связано прошлое, а на лицах сограждан — «смертная тоска и безысходность»? Пишет она, что не знает, «в каком масштабе развернется полотно нашей трагедии, но уже в своих квартирах гибнут интеллигенты — от голода, медленной смертью, или кончают жизнь самоубийством, или идут на паперть — просить милостыню».

А как же концерты, выставки, дискуссии? Но, черт побери, заключает же Глезер свои бесчисленные контракты! Впрочем, можно ли равнять его, фонтанирующего идеями, в средствах не стесненного, не озабоченного проблемами передвижения, пропитания, проживания в гостиницах, можно ли его шампанское мироощущение сравнивать с настроением Татьяны Успенской, потерявшей мужа в войну, а с помощью медиков — и взрослого сына, уже не помнящей, когда ела фрукты, ощущающей постоянный голод и чье основное времяпровождение — на лавочке у подъезда?

Глезеру, к примеру, не интересно «говорить о преступности в Москве, здесь преступников не больше, чем в любом западном городе, скажем, в Нью-Йорке». Успенскую, напротив, преступность интересует чрезвычайно, поскольку обокрали ее — унесли шубу, сапоги, фамильные драгоценности и «деньги в чулке — на черный день». Сберкассам она не доверяла — и вот к зиме у нее только пенсия 800 рублей. Милиция даже не берется искать, у них в день по несколько сотен заявлений. Один — молоденький — не выдержал ее слез и признался: «Поймите, мы сами боимся, они нас первыми убивают, форму снимают — и в нашей форме ходят по квартирам. Статистика гибели милиционеров — страшная». Не знаю, как сейчас в Нью-Йорке, а немецкие полицейские не выглядят трясущимися от страха.

В одном все же сходятся Успенская и Глезер — что интеллигенции приходится выбирать между пищей духовной и телесной. У Глезера — больше на духовную налегают, покупают дорогие монографии по искусству, изданные «Третьей волной», отказываясь, как он посчитал, от двух кило мяса. Интеллигенты Успенской — «кто жаждал бы купить настоящие книги, купить их не может, он нищ, ему на еду не хватает...». Но что еще трагичнее — отвергается даже доступное бедняку. Помнится, голодный Мартин Иден позволял себе роскошь брать книги в библиотеке. Но вот свидетельствует Успенская, там проработавшая почти 40 лет: «Раньше у нас были читатели, а теперь книги никто не берет, они пылятся, и наша жизнь никому не нужна».

Оба не рассчитывают на государство, что оно справится с засильем бульварщины, порнобеллетра. Но мажорному Глезеру не кажется, что это конец, он предлагает вспомнить «знаменитых дореволюционных купцов-меценатов. Удивительно, но они начинают появляться и в нынешней России». Называются имена. У меценатов Глезера открытые приятные лица, «без этих бегающих глаз торговцев воздухом». Успенская — видит именно «торговцев воздухом» и хотела бы понять, «откуда он взялся, новейший российский бизнесмен?.. Каким путем добыл он свои деньги? В лотерею выиграл? Ограбил кого-то?.. Кто — сегодняшние хозяева и как они стали хозяевами?».

И только потому, что больше надеяться не на что, она не призывает на их головы громы и молнии правосудия, но к этим «хозяевам» обращает свой последний вопрос: «Можно ли спасти погибающих людей, спасти душу России и саму Россию?.. Как разбудить душу бизнесменов?» В то, что это возможно, ей, похоже, не очень верится.

Но, может быть, не все так мрачно, господа? Просто нужно ввести поправку — на возраст, одиночество, болезни? Однако ж, диагнозы и прогнозы оптимистов тоже чем-то объясняются — личным успехом, довольством, сытостью. А возможен ли взгляд поверх своей миски, сколько б там ни лежало мяса? Как ни удивительно, возможен, и удивила нас недавно газета «Русская мысль» — очерком писа-

тельницы Ирины Муравьевой «Ты гуляй, гуляй, купец!». Это — из песни, сочиненной актерами театра «Современник» для капустника по случаю открытия клуба московских бизнесменов. Ирина Муравьева тоже наезжает в Россию — и тоже не туристкой, а в составе американской киногруппы, снимающей документальный фильм; она и автор сценария, и актриса-модератор. Это значит, и у нее нет бытовых проблем, ее возят и кормят, оплачивают гостиницы, но она, помимо того, что еще молода и хороша собою, обладает сильным писательским воображением, а это свойство необходимо не столько, чтоб складывать затейливые сюжеты, но чтобы переживать чужой жизненный опыт как свой собственный — почувствовать чью-то боль, разделить унижение ближнего. Поэтому я могу сказать о ней, что ездит она, как Глезер, а видит и чувствует — как Успенская.

Возвратясь из Москвы, она мне писала, как неловко себя там чувствует: «...чужая, иностранка, и могу сесть в такси без очереди, потому что есть 3 доллара. Это мне всякий раз как ожог». Я верю ей, сам побывавши в Ленинграде: мучительно в родную страну приезжать гостем. Еще она писала, что ей «московская жизнь показалась каким-то перепаханым пространством, землей, в которой все вывернуто наружу: камни, корни, черви». Писала и о множестве маленьких костров, у которых греются дети и старики: «...жизнь вынесена на улицы гораздо больше, чем прежде. Кажется, что с самой жизни, как с дома, сорвана крыша».

Одной из первых Ирина Муравьева разглядела и мурло нынешнего российского бизнеса, очень точным и насмешливо образным описанием выразила его липовую суть и даже предрекла закат фирме «Алиса», названной так по кличке любимой суки 26-летнего миллионера, которым тогда восхищались. Посмотрим же глазами этого автора на праздник единения бизнеса и культуры. Он начинается с двух швейцаров в добротных ливреях, с вестибюля, «залитого медовым светом», и натюрморта, который выглядит еще одной проделкой Воланда: «Накрытые столы в большой комнате... ломились от еды. Черная икра была выложена прямо на тарелки, и первый раз в жизни я увидела материализо-

ванную метафору — икру ели ложками. Из ананасов... варварски вырезали нутро и вставили в освобожденную кожуру красные фонарики... полуторатысячные плоды... горели между тарелками с икрой, лососиной, севрюгой. Большие, целиком запеченные рыбы лежали на овальных подносах, и было как-то даже неловко разрушить такое искусство...»

Подобные описания соблазнительны для пера и, может быть, избыточны, но не забудем о контрасте, не упускаемом ни на миг автором: перед нами «что угодно, только не реальная московская жизнь одна тысяча девятьсот девяносто второго года, на задворках которой маленькие Гавроши греются возле уличных костров». И, как ни покажется утрированным, но записан на пленку косноязычный спич председателя, представляющего гостям «этот гостеприимный дом, где дадут хорошо покушать и чего-то вкусного закусить и выпить, и мы в своей среде сможем все расслабиться и попеть и хорошо поплясать с нашими прекрасными дамами». И конкретны имена этих дам, среди которых какая же фантазия могла бы поместить таких звезд, как Марина Неелова и Лия Ахеджакова, да в сопровождении Валентина Гафта! Называя их, известных миллионам, автор меньше всего хочет устыдить их, совсем напротив, горестное перо — на их стороне, стремится защитить их, оберечь их облик от какого б то ни было искажения:

«В вошедшей стайке «Современника» было сочетание актерской свободы с глубоко запрятым презрением неимущей элиты к денежным мешкам с косноязычной речью, с отпечатками долларов на потных ладонях.

В дымном чаду перед моими слезящимися глазами... проходила раздробленная по позвоночнику Москва, новый вариант «Талантов и поклонников», Раневской и Лопатина, артистичность, брезгливость и бедность, сквозь горловой ком поющие, сахарно улыбающиеся тем, от кого зависит судьба твоей пьесы, задуманного фильма, поездки в Италию... А куда деваться? А как жить?»

А поди, еще и не просто пробиться в заросшие складками уши этих джентльменов, если приходится Лии Ахеджаковой напрямую объяснять им, зачем она и ее друзья здесь.

Кто видел ее в фильме «Гараж», живо себе представит, как она выкрикивает в микрофон свой отчаянный монолог:

«Дорогие, милые, хорошие бизнесмены! Вы наша надежда, вы наша гордость!.. Посмотрите на нас! Мы умные, мы талантливые, мы добрые, очень красивые!.. Нам так хочется работать, мы столько можем!.. У нас есть блестящие сценарии, замечательные идеи!.. Слушайте, надо же держаться вместе! Отчего вы не хотите нам помочь?»

А с чего мы взяли, что они *нам* хотят помочь? Кто нам внушил, что они только и мечтают — всех сделать богатыми? Да как же бы они себя называли «мы, люди», если б не было поблизости, для чудесного контраста, тех, не наживших миллиона, кого они в своем кругу называют с брезгливым удовольствием: «ни-щи-е»!

Один — не то чтобы видный, но шумный — деятель эмиграции, в свое время справедливо рассудивший, что бороться с советским тоталитаризмом удобнее из Парижа, и этой борьбой составивший себе неплохой капитал, сегодня учит Россию, что спасение — в работе; одним митингованием лучшей жизни не добьешься. Но разве актеры «Современника», дающие капустник в клубе московских бизнесменов, — не работают? Не трудится, что ли, Валентин Гафт, с видом страдания раздающий женщинам бананы — в качестве призов? Мы его знали, помимо сцены, как автора блестящих эпиграмм; вероятно, и в эту роль он не меньше души вкладывает. Каждая по-своему, развлекают публику и Марина Неелова, и Лия Ахеджакова, и та, «писаная красotka в короткой, почти незаметной юбочке», с черной пиратской повязкой на лбу. Развлекать — очень нелегко, на Западе индустрия развлечений — одна из самых дорогостоящих. В Германии можно в ресторане поужинать с кинозвездой — расценки объявляются в прессе: несравненная Ирис Бербен рассеет вашу скуку за 15 тысяч марок. А если такого рода труд московских актеров кажется нам с непривычки унижающим достоинство артиста, так ведь они за искусство сражаются, за свой театр, за возможность в нем работать.

А бизнесмены — что же, только развлекаются? «Деловая Москва, — говорит Ирина Муравьева, — не любит терять

время даром». Вот реплика из одного угла: «Я тебе всю документацию представлю завтра же!» Вот — из другого: «А я говорю, что нам подвальное помещение не годится! Плевал я, что это в Амстердаме! Я в Амстердаме скоро дом куплю! И все дела!» Но это, впрочем, побочное. О сути — лишь намекает в своем косноязычном спиче председатель: «...наши гости и те актеры, музыканты и танцоры, которых мы будем приглашать сюда, смогут тоже получать от нас удовольствие, как и мы от них!»

С жесткостью и зоркостью, каких я, увы, не дождался от коллег-шестидесятников, свидетельствует Ирина Муравьева: здесь не праздник единения, здесь, при красном свете греха, битва идет, совершаются торги — и, похоже, не на равных. Экономическая свобода оборачивается экономическим принуждением. Всех выгод, какие извлечет бизнес от сближения с миром кулис, как говаривали в старину, мы предвидеть не можем: сперва, должно быть, и правда — «расслабиться» и «получить удовольствие», а далее — подчинить себе жизнь во всех ее проявлениях, духовную жизнь — вне сомнения. И, как водится, сделка сопровождается приветствиями и угощением. Гости спели «Ты гуляй, гуляй, купец!», хозяева — радушно пригласили: ешьте икру ложками.

Эта «материализованная метафора» уже однажды, в 30-е годы, потешила мир: ели икру ложками, черпая из общей миски, русские офицеры в американском фильме «Анна Каренина», с Гретой Гарбо. Но, разумеется, «Божественная» не в ответе, что режиссер так себе представлял россиян. Откушав и упившись, господа офицеры дружно, вслед за Вронским, лезли под стол. Русские эмигранты, русская аристократия сочли себя оскорбленными. Где другим было только смешно, им неспроста слышались слово «жрать» и слово «скоты». Но те-то офицеры были по крайней мере детьми изобильной страны, что и демонстрировали; несколько иначе эта «метафора» прочитывается в согревающейся у костров, оголодавшей Москве. Здесь выдачей спецпайка повязывают и покупают. А если отчего и смешно, так оттого, что вас покупают за ваши же деньги.

Наши герои первоначального накопления, по всем приметам, не землепроходцы Редьярда Киплинга или Джека Лондона и не те поджарые джентльмены, которые, учась в колледжах, начинали собственное дело с мытья посуды в ресторанах. И это ведь только говорится: «деньги из воздуха». В стране, где уровень производства только падает, наживаются — на нищете. Как энергия не возникает из ничего и никуда не девается, а лишь переходит из одного состояния в другое, так и капитал перетекает, покидая одни карманы и скапливаясь в других. Уже, наверное, нет смысла допытываться, кто и как сделал свой миллион, — ну если не убил никого, не ограбил вдову или сирот, а только скупал и перепродавал, бог ему судья. Но что никогда не поздно — принять устоявшееся на Западе представление о богатстве, о частной, производящей собственности, что она не безраздельно принадлежит владельцу, но является достоянием всего общества, доверившего ему распоряжаться этим богатством — в рамках закона, разумно, рачительно. Все общество и содержит культуру, подталкивая собственника к благотворительности и рычагом налоговой политики, и всей атмосферой публичного мнения. Можно ведь и так поставить дело, что не артисту придется просить, а господин миллионер попросит артиста принять его дар.

Еще одно шевеление мысли — и усвоим, что этим даром не может распоряжаться даритель. Меценат Боровой состоит в редколлегии «Литературных новостей» — что ему там делать? Савва Морозов давал Ленину деньги на «Искру» — был грех, — но в редакторах ее не числился. Меценатствовал, но не имел голоса в художественном совете МХТ. Глезер приводит пример Дмитрия Стреляева, президента московской фирмы «Дар», который «каждый свободный час посвящает чтению любимых поэтов — Мандельштама и Бродского». Как мы догадались, на их издание он и предпочтет жертвовать. Данный случай хорошего вкуса не дает ощутить зыбкость самого принципа. В деловом мире разграничивают деньги личные и капитал фирмы; личные — можно просадить в рулетку, истратить на любовниц и про-

чие безумства, но если отчисляется доля прибыли с оборота, которую государство освобождает от налога — и значит, тоже участвует в пожертвовании, — то справедливо вспомнить и о других поэтах, достойных издания и пересчитывания в свободные часы.

Но если еще поэт найдет спонсора, то кинематограф не станет на ноги без миллиардных вливаний, а театры себя спокон веку не окупали. То-то приходилось актерам не только на стороне выступать с эпиграммами и капустниками, но и самим репертуар пополнять. Одному такому трудяге, совладельцу театра, заплатили за его пьесу — сохранилась расписка — семь фунтов стерлингов. Пьеса называлась «Гамлет, принц Датский». Кто же знал, что ее будут ставить не только в следующем сезоне, но еще 400 лет! Скажут, то были другие фунты, — ну помножим на тысячу, все равно выйдет меньше премии Букера. Естественно было рассчитывать больше на меценатов да на королевские щедроты, которые мы бы назвали «госдотацией». Дело было настолько привычное, этикетное — как охота на кабанов и оленей, — что история не сохранила имени монарха, даже среди злодеев и тиранов, кто бы уклонился от долга поощрять искусства. К сожалению, не сохранилось также имя того мерзавца, который первым сформулировал: кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

Этот принцип не стеснялись провозглашать — ну разве что в других выражениях — и коммунистические вожди. При этом упускалось одно важное словечко: *свои* деньги. Та идеологическая музыка, что, по мнению вождей, ласкала уши народонаселению, самими же слушателями и оплачивалась. Что ж, пусть оно так и останется. Нынче с падением идеологии, когда позволено музыку выбирать, платой за нее едва ли следует обременять одних меценатов, это должно быть делом всех и каждого поголовно. Вероятно, культурный фонд будет строиться на началах общественных, но под финансовым присмотром государства, с его принудительным налогообложением; важно только, чтоб каждый себя чувствовал его равноправным хозяином, внес ли он туда мятую десятку или хрустящий миллион.

Как ни странно, слышны протестующие голоса (даже из Англии!), что это несправедливо: есть люди, которые благами культуры не пользуются, почему им платить за чужие прихоти? Я думаю, таких людей уже нет в природе, ибо культура — неделима. Если вы книг не читаете и не ходите на вернисажи, то все же на вас что-то надето, и вы орудуете ножом и вилкой и передвигаетесь на колесах, а то и на крыльях, — ко всем этим предметам имела касательство длиннейшая цепь всякого рода гениев, не исключая и тех, кто использовал зубило для наскальной живописи. Сказано было Альбертом Эйнштейном, что для теории относительности даже больше дал ему Достоевский, нежели математик Гаусс. Этой неделимости культуры никогда не понимали советские вожди; они ценили элиту научную и техническую, не считая «утечкой мозгов» выталкивание за границу гуманитариев, и, того не ведая, понижали общий творческий уровень в стране, как вдруг оказалось — для них именно вдруг! — что наши танки, бывшая гордость наша, хуже «леопардов» бундесвера, наши самолеты не выдерживают боя с «миражами» и «фантомами», наши подлодки выдают себя шумом, от которого давно избавились американские.

Этим генеральским аргументом, действующим и на другие умы, считающие себя государственными, я бы посоветовал записаться министру культуры Сидорову, идя на прием к Ельцину или к Черномырдину выбивать деньги на театры и музеи. Я всячески сочувствую Евгению Юрьевичу, давнему моему знакомому, — пост у него провальный, ведь у нас на культуру бросают людей, как на сельское хозяйство, где только осрамиться можно, а преуспеть — никогда. Было бы поэтому не лишним всем нам обратиться к тем, от кого все-таки что-то зависит и к кому протянута его просящая рука.

Вам, господа, надлежит усвоить, что Марина Неелова, Лия Ахеджакова и Валентин Гафт — это национальное достояние, а вас, дорогие, затем и выбрали, чтоб вы достояние государства берегли и преумножали. Далее, вам должно быть известно понятие карточного долга — когда не могут его заплатить, принято стреляться, но не оправдываться пустотой в кармане. Вы сели играть, господа, вы знали, на что

Ешьте икру ложками

шли. Так же и с государственной казною — негоже оправдываться, да и не совсем же она пуста, если хватает денег на квартиры депутатов парламента, на бензин и покрывки для их машин (и сами машины), на охрану их высокоценных тел. Должны найтись деньги и на то, без чего мы просто не сможем существовать как общество цивилизованное.

Когда же дойдет до их распределения, будет еще одна просьба к вам, дорогие. Пожалуйста, воздержитесь заказывать музыку. Музыканты лучше вас знают, что им играть. Пусть они играют, что хотят.

Московские новости. 1993. 14 февраля
Радио «Свобода»

ПО КОМ НЕ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

А в самом ли деле все мы вышли из «Шинели» Гоголя? Если на то пошло, так даже годом раньше явилась в русской литературе другая шинель, и тоже знаменитая — шинель Грушницкого. Та самая, толстая, под которой угадывалось сердце страстное и благородное и всех выгод которой ее обладатель недооценивал, спеша к офицерским эполетам. «Помилуй! — возражал ему Печорин. — Да этак ты гораздо интереснее... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем».

В наш век эмансипации, когда чувствительные барышни сами пожелали быть героинями и страдальцами, они с большой охотой переняли это неизъяснимо притягательное одеяние. У Михаила Светлова девушка наша проходила в шинели горящей Каховкой — и так это нравилось ей, что она улыбалась сквозь дым сразу двоим обожателям. Девушку в шинели не по росту воспел Вертинский, на своей щиколотке показывая рукою, до каких пор она ей приходилась. Учтя поветрие, великий наш российский модельер Слава Зайцев сконструировал и поставил на поток новинку, уже исключительно дамскую — «шинель революционного покроя». Стало слегка надоедать — и чуткий Высоцкий возмечтал о времени, «когда наши девушки сменят шинели на

платьяца». Девушки постепенно сменили. Юноши — призадержались, и часто в возрасте много старше призывного.

В начале 80-х годов один такой юноша, Александр Проханов, к штыку приравнявший перо, поспешил в Афганистан, на свидание с войною, как не спешат к возлюбленной, и обо всем, что увидел там, а вернее, что позволила ему увидеть смотровая щель бронетранспортера, поведал нам чуть не гексаметром. К общему удивлению и, признаем все же, к чести наших писателей, он оказался едва ли не единственным, кто пожелал стать советским Киплингом; остальные хоть промолчали дружно, не имея духу проклясть ту войну, с которой и пошел весь развал в нашем отечестве.

И кто б подумал, что в те же годы созрел другой юноша, возжаждавший прохановских лавров! В декабре 1987 года занесло меня в Вену, где проходила устроенная Фондом Поля Гетти эмигрантская конференция на тему «Писатель в изгнании». Полсотни писателей из разных стран убеждали там друг друга, а более самих себя, как замечательно они адаптировались в чужеземных культурах. Русские, как водится, держались особняком. А всех особеннее выглядели двое в шинелях — Юрий Милославский и Эдуард Лимонов. Шинели, впрочем, были разного свойства и назначения. У Милославского — сизо-голубая, итальянская, купленная, верно, по случаю у бывшего солдата или его родственников, — может быть, и по бедности, которая, как известно, не порок. На его плотной фигуре она сидела балахоном — одежда, и ничего больше. Зато у Лимонова была — со значением, с литерами «СА» на погонах, образцово советскоармейская. Для солдатской, правда, ей недоставало двух обязательных примет: горба на спине и бахромы на полах. Пошита она была как в лучших офицерских ателье, но именно поэтому — да еще в сочетании с дорогими очками и гражданскими брючинами — выглядела маскарадом штафирки, мучимого воинственными комплексами. Впрочем, на улицах Вены воспринимали ее как обычную причуду; как раз тогда входило в моду носить фрагменты из советской униформы.

Знакомясь, я высказал Лимонову несколько теплых слов о его рассказах; они мне и вправду нравились. Он выслушал недоверчиво и недовольно. Возможно, моя похвала была излишне лаконична и суха, а он, как многие мои коллеги, рассчитывал на более пылкое изъяснение восторга. Так или иначе, Эдуард Вениаминыч все дни на меня дулись, а при случае, оказавшись на банкете за одним столиком, строго мне попеняли — за попытку сотрудничать с партией. Еще свежа была история с «Гранями», со скандальным моим увольнением, он это и имел в виду. «Писатель и партия, — было сказано мне (и запито двумя глотками белого вина), — это несовместимо». Это я и сам всю жизнь проповедую, и он знал, что с «партией», то бишь с НТС, я разругался вдрызг, но слова были благородные и чрезвычайно Лимонова украшали. Мне в самом деле импонировала эта его позиция — неприсоединения ни к каким партиям, мафиям, шайкам и бандочкам, неучастия в разного рода «клубах», «движениях» и «согласиях». Но вот — не сильно много воды утекло, а принципиально внепартийный Лимонов примкнул к партии Жириновского и даже получил в его будущем правительстве портфель «силового» министра: то ли военного, то ли безопасности. А погода и сам основал партиюшку — «национал-радикальную». Это можно понять как правее правых. «Национал» — известно откуда взято, а «радикалы» в нынешней Германии понимаются — даже без эпитета «правые» — как синоним слова оскорбительного и подсудного: «фашисты». Какая программа у партии Лимонова, не знаю; вполне возможно, что левее коммунистической, да не по словам судить о человеке надо, а по делам его, дела же Лимонова — истинно радикальные, крайнего свойства. Не знаю, жива ли еще та шинель, пошитая для Вены, но вижу изящную его фигурку, опоясанную ремнем с портупеей и оттягивающим ее пистолетом. Лимонов — воюет. Он воюет в Приднестровье, в Абхазии, в Югославии, повсюду, куда бы ни обращалось внимание мира, и повествует об этом в пространных репортажах, охотно подхватываемых изданиями эмигрантскими и отечественными. И так как человек он не лживый, даже на редкость откровенный, легко со-

ставляется впечатление, сколь серьезна его война. Или — его борьба. Sein Kampf.

Всегда изумляет меня, как это наши национал-патриоты ухитряются мигом определить, чью сторону им принять, когда существо распри не очень внятно самим воюющим и по-своему правы обе стороны. А если сторон даже не две, а три, как в Югославии, — сербы, хорваты и мусульмане? Кто мне разъяснит толком, почему русскому человеку стоять за Сербию?

Прислушаемся к мнению компетентному: «Если брать наш курс... он в том, чтобы, во-первых, восстановить и укрепить исторические связи со всеми славянскими народами. А во-вторых, помирить их. А они все там славяне. Мне кажется, для наших национал-патриотов это незнакомый факт. Они почему-то считают, что славянский фактор — это только сербы... Но то, что хорваты — это те же славяне, а то, что мусульмане — это те же сербы, только всего-навсего мусульманского исповедания, это, я думаю, тайна, покрытая мраком».

Так говорит министр иностранных дел — источник, откуда мы не привыкли черпать большие откровения. Благословим же время и перемены, благодаря которым министр Козырев считает должным разъяснить нам *наш курс*. Андрей Громыко, по которому, надо полагать, ностальгирует советская душа Лимонова, тут бы не разлепил рта. В лучшем случае рывкнул бы: «Сербы — наши братья». И точка. Как ни прискорбно, но не большего мыждемся от писателя, когда он утверждает, что правительство России должно быть «просербским».

Быть ни «про», ни «контра» в чужой войне ему не вможу. Но можно быть другом сербов и все-таки видеть трагедию всеобщую, все-таки понимать, что колокол по всем звонит, даже и по тем, кто лишь наблюдает за схваткой. Эта мудрость, что надоумила генералиссимуса Франко спустя четверть века поставить общий памятник всем мертвецам Испанской войны, недоступна простому советскому Хемингуэю. Для него неприемлема и та норма, согласно которой третья сила теперь должна свои каски покрасить в голу-

бой цвет, а всю технику — в белый; отказ от маскировки означает и просьбу не стрелять, и обещание самим не применять оружия иначе как для защиты и чтобы разнять дерущихся. В данном случае — для мало-мальского примирения сторон, но не для силового их удержания в распавшейся державе или империи.

«Нелепая парижская мораль», — так Лимонов отвечает французскому журналисту, обвинившему его в нарушении журналистского кодекса. Оба не скрывают презрения друг к другу, но Лимонов еще почему-то нервничает, грозит дать французу по физиономии, ежели не заткнется. Никак не желая зла соотечественнику, все же думаю, он переменит свой взгляд на «парижскую мораль», когда попадет в плен к хорватам и пишущим собратьям (французу в том числе) придется его выручать. Где-нибудь на обменном пункте ему объяснят, что есть категории людей — врачи, священники, журналисты, кино — и телеоператоры, — которым не обязательно мозолить правую ягодицу тяжелым пистолетом.

Ну, а пока воюет Эдуард Вениаминович — и всерьез. В тылу не засиживается, просится на передовую — пообщаться с бойцами. Это понятно. Непонятно — зачем ходить по переднему краю в полный рост; тем более непонятно, что рядом — со стороны противника — вышагивает полковник, отвечающий за сохранность гостя. Право же, описание это уникально в русской военной журналистике. Не назовем это трусостью, все же передний край, где и вправду стреляют, и случается, пуля-дура пробивает человека навывлет, не исключение — и плотные полковники, а все же не самое благородное — соваться под пули, заслонясь чужой плотью. Как сказал бы Печорин: «Это что-то не русская храбрость».

Некоторые встречи, спору нет, небезынтересны для писателя — с президентом Караджичем, например, — тем более что есть и другая, чем у Лимонова, точка зрения на этого «импозантного героя»: что он не только «естественный лидер своего народа» и поэт в душе, но еще военный преступник и фашист, должный предстать перед трибуналом и держать ответ за осуществляемый им геноцид по отно-

шению к хорватам и боснийским мусульманам. К сожалению, внятный политический портрет Караджича, ну и просто человеческий, Лимонову не удался, для этого надо же дистанцироваться от предмета своего преклонения и хоть на минуту задуматься: зачем, по какому праву и в чьей игре ты сам участвуешь? Да все некогда — и слишком велики соблазны.

Вот они с Караджичем прогуливаются близ передовой, осматривают новенькие орудия и минометы. Далее — жанровая сценка:

«Парень с ручным пулеметом накрывает не видную нам цель. Лента укорачивается. Видит меня. Встает. Жестом предлагает — «желаешь?» Я ложусь к пулемету. Лента патронов укорачивается, плечо обнимает приклад. «За Сербию!» — кричу я».

Тут прервем цитату и спросим: ну, а теперь, когда Вы, месье, изволили прилечь, и плечо обнимает приклад, и лента пошла (а стиль от тряски поехал: что тут что «обнимает», не понять. Такого от Вас не ожидал), теперь-то — в рамке прицела — видна Вам цель, прежде *невидная*? Не затем же Вам предложили эту забаву, чтоб с криком «За Сербию!» Вы посылали пули в молоко небес. В кого же Вы их садите, месье? Во что? В артиллерийскую позицию или в крестьянский двор? Об этом ни слова. Зато вот о чем: «Вставая, вижу, что команда Би-би-си успела меня снять. Ну, сняли и сняли (еще объявят военным преступником...)».

И что ужасного, если и объявят, с чего вдруг застеснялись? Да с этим поздравить надо! Да этой пленке тогда бы цены не стало — и сколько прелестных кадров, сколько портретов неутомимого пулеметчика замелькало бы по экранам, по страницам журналов, газет... Но такая удача сама в руки не упадет; еще Жюль Ренар сказал: «Слава — это непрерывное усилие». И вот «Комсомольская правда» 17 марта спешит нас уведомить:

«“Эдичка”, прибывший в Белград после 10-дневного прямого участия в военных действиях... подтвердил также, что стрелял по хорватским позициям из 122-миллиметровой гаубицы «советского», как он подчеркнул, образца.

С каждым приездом в бывшую Югославию Лимонов получает оружие все большего калибра. Предыдущий раз он произвел несколько очередей из крупнокалиберного пулемета по мусульманской части Сараева. Какое оружие приведет он в действие в следующий раз, можно только предполагать».

Сдается мне, это уже не Лимонов решает; оружие будет — какое покажется более киногеничным и впечатляющим команде Би-би-си или другой какой съемочной группе. Гаубица образца 1960 года — это в сущности «плюсквамперфектум». Как говорится, сейчас уже такие не носят, в новом сезоне отдастся предпочтение простым, строгим силуэтам. Есть орудия реактивные многозарядные залпового огня: установка «Град», установка «Ураган», хороша также «Алазань». Один «Град» чего стоит: покрывает 7 гектаров, полдеревни — как корова языком... Да много из чего можно собачить по чужим жизням, вписывая в рамку истории — свою!

А вот еще горяченькое из «Московских новостей»:

«500 тысяч долларов пообещал за поимку Эдуарда Лимонова один из его недругов в Боснии за то, что тот воевал в отряде сербских партизан... По информации издательства «Палей», в день своего 50-летия, 23 февраля, Лимонов захватил в Боснии почтовое отделение для того, чтобы позвонить в Москву и поздравить членов ГКЧП с днем Советской Армии».

И черт же догадал Эдуарда Вениаминовича — с душой и талантом — родиться в день Советской Армии! Но может быть, это и была его неопознанная стезя? Неясно только, почему в свое 50-летие поздравляет он гэкачепистов, а не они его. А еще большая неясность — почему вся эта веселая информация исходит от издательства «Палей». При чем здесь «Палей»? Но, кажется, это из тех вопросов, где содержится и ответ. Ну, так бы и объявила «Палей»: выпущен сборник рассказов Эдуарда Лимонова, спешите сделать заказ. Неужели, читатель, вы десять долларов пожалеете, когда за поимку автора уже полмиллиона отваливают!

А тем временем объявлено в Боснии о прекращении огня. Надолго ли — кто знает. Но по крайней мере настоящий

По ком не звонит колокол

герой этой войны, генерал Филипп Морийон, в голубом берете набекрень, доставляет в осажденную Сребреницу продовольствие и медикаменты и эвакуирует две тысячи женщин, стариков и детей. Что станет делать «Палея», когда мода переменится и самым популярным сделается тот, о ком Высоцкий сложил одну из лучших своих песен — «Тот, который не стрелял»?

Русская мысль. 1993. 16—22 апреля
Радио «Свобода»

ДАЙТЕ НАМ ЭВТАНАЗИЮ

Комментарий к одному интервью*

Нежное слово «эвтаназия» — это не имя женщины (вроде Аспазии) и не сорт вина (вроде «мальвазии»), это от древнегреческого «*thánatos*» — смерть. Отсюда же и «танатология» — учение о смерти, ее причинах, механизмах и признаках. От мудреного этого учения, как и от «науки страсти нежной», ни одному из нас не отвертеться, доступно лишь отдалить многими усилиями практическое знакомство с ним. Между тем в рамках учения существует, напротив, приближение к неотвратимому рубежу, притом — желанное, по крайней мере выбираемое — как меньшее из зол; оно-то и есть «эвтаназия», или «благая смерть», избавительница от страданий, которые уже пересиливают желание жить.

Так как в большинстве случаев эвтаназия осуществляется не самим умирающим, а заботами и хлопотами близких, она еще называется «убийством из сострадания», или — гораздо деликатнее — «последней помощью». Нынче в России много пишут об эвтаназии, говорят по телевидению, высказываются медики, юристы, деятели культуры. Это не странно: сближаемся с Западом — пере-

* Чехонадский Ю. «Новый порядок». Можно привыкнуть и к нему // Московский литератор. 1993. № 4, март.

нимаем его проблемы и решения их, а на Западе эту процедуру уже лет двадцать широко практикуют; первенствующая в этом Голландия даже юридически ее оформила парламентским решением, и ежегодно по приговорам врачей отправляются в лучший мир по 2300 подданных Ее Величества. Что ж нам-то отставать! Странно лишь, что проблема сострадания так уж нас допекла в наше не-сострадательное время.

Но оказывается, мы не вдруг этим занялись, а уже 70 с лишним лет существует у нас особый Институт комплексных проблем танатологии и эвтаназии — в Москве, в районе Аминьевского шоссе. Впрочем, от шоссе еще нужно пройти минут двадцать по безлюдной дороге через лесок и упереться в высокую бетонную ограду с железными глухими воротами. Вывески — никакой, большие строгости с пропусками. Проницательный читатель верно, уже догадался, в чьем ведении находился все эти годы чудодейственный институт. Но все же загадка: ведомство, причастное к миллионам смертей — из сострадания к неудавшемуся социализму, — неужели еще нуждалось в специальной лаборатории по делам упокоения? Как будто и без нее не справлялось!

В этом году институт открыл свои ворота первому журналисту — Юрию Чехонадскому из «Московского литератора». Беседовал с ним — главный врач, доктор медицины Борис Семенович Зорин. Почему медик, а не юрист? Ведь проблема, казалось бы, скорее правовая — можно или нельзя, а уж как, если можно, исполнить наименее, было известно еще египтянам при фараонах, едва ли это задача для института на 70 с лишним лет. В чем естественно соучаствовать медику — определять области применения эвтаназии, следить за изменчивым перечнем тех болезней и их стадий, где медицина уже не бессильна и что-то иное может предложить, кроме «последней помощи». В целом, вероятно, сфера эвтаназии должна сокращаться, а цель — оставаться неизменной: избавление от страданий.

Удивительное начинается там, где этот медик и определяет области применения. Мы думали — рак, непереносимые страдания толстовского Ивана Ильича, уремия, саркома. Оказывается, весомый вклад в эвтаназию привнес Адольф Гитлер — в смысле самом буквальном, когда прислал своего врача решить участь девочки, родившейся слепой, без ноги и с дефектом руки. Ее уморили голодом, что едва ли можно назвать безболезненным, но это как раз и выдало главную для Третьего рейха цель эвтаназии — не избавление от страданий, а — евгеника, усовершенствование человечества выбраковкой неудавшихся образцов. За первым случаем последовала, как водится, широкая кампания: были созданы «дома голодания» для неизлечимых больных, пациентов психиатрических клиник и... инвалидов Первой мировой войны. Не отсюда ли заимствовало идею государство советское, когда ни к чему уже не пригодных инвалидов Великой Отечественной свозило на острова в Белом море?

С евгеникой дело пошло веселее, когда изобрели душегубку, средство бесхлопотное и дешевое. И, как эпически замечает доктор Зорин, *«немецкая нация очистилась примерно от 270 тысяч своих неполноценных граждан»*. А любопытно бы знать, сколько из них прибаловали социально, попросту — не нравился им гитлеровский режим? Ну как нашим инакомыслящим не нравился брежневский, за что их упрятывали в психушки. Бориса Семёновича это решительно не занимает, ведь он ученый, а, как нам известно еще от академика И.П. Павлова, *«воздух ученого — факты»*, вот он лишь факты и констатирует. Но и не сказать, что он совсем безэмоционален насчет евгеники. Родители-американцы, сами уморившие своего ребенка с болезнью Дауна, вызывают у него большое уважение, *«они проявили настоящее мужество»*, а кто осудил их, те придерживаются *«несовременных, пуританских взглядов»*. Американское общество Homeless Society, помогающее самоубийцам, для него — общество *«гуманитарное»*. Что же, оно умеет как-то удержать ко-

леблющихся от гибельного шага? Совсем даже наоборот, *«помогает проявить твердость»*, решение свое — осуществить. Но ведь к самоубийству, сам же он замечает, *«человека может привести не только тяжелая болезнь, но и множество иных причин»*. А неважно, какие это причины, не станет наш медик в них копать; похоже, для него уже самый замысел суицидный — свидетельство неполноценности. И так как говорит не частное лицо, не с кухни кума, но один из руководителей научного института, вырисовывается вся концепция этого замечательного учреждения.

Клятву Гиппократы здесь, очевидно, считают гнилым анахронизмом и стоят всячески за расширение «последней помощи». Даже не с точки зрения христианской, а сугубо прагматической, это же неразумно, скажете вы, это самой медицине во вред, которая медика, что ни говори, кормит. Так легко переправляя ближнего в мир иной, не пытаясь за него побороться, медицина упускает еще один опыт — пусть заведомо негативный, но для науки цену все равно имеющий, — еще один шанс если не сегодня, то когда-нибудь в будущем все же победить хворобу (хоть ту же болезнь Дауна). А кроме того, известно же, каким могучим стимулом к выздоровлению является для пациента вера в целителя, эскулапа; узаконенная и охотно применяемая эвтаназия эту веру подорвет неизбежно. Какая уж тут психотерапия! Если прежде, бывало, вылечивала мензурка с aqua distillata, так теперь она для больного запахнет синильной кислотой.

Вот и корреспондент «Московского литератора» спрашивает:

«— А не могут ли здесь быть злоупотребления?

— Нет, нет и нет, — заверяет Борис Семенович. — Необходимо *личное* и, что особенно важно подчеркнуть, *неоднократное* обращение человека, желающего таким образом покинуть земной мир».

Гарантия как будто надежная; кто же в здравом уме трижды, четырежды попросит, чтоб его умертвили?

А если — не в здравом? А кто, спросим еще, даже и в здравом, признается в преступлении, коего не совершал? А вот кудесники наши, славные чекисты, как-то же этого добивались... Впрочем, Борис Семенович сам эту гарантию обесценивает напрочь, когда говорит, что закон *«более демократичный»* разрешил бы эвтаназию недобровольную, когда бы решение принимали родственники, а то и сами врачи. И даже не только так, чтоб пациент не догадывался, не понимал бы, что ему там впрыскивают или глотнуть дают, но *«в некоторых случаях»* и *«против желания пациента»*.

Представим его себе, бьющегося в руках санитаров. А нельзя ли узнать, кто он, без суда казнимый? Почему же нельзя: *«например, если он имеет неизлечимое заболевание, в том числе и психическое, представляющее угрозу для общества»*. Вина, ясное дело, бесспорна, но неужто, гражданин медик, тянет на «высшую меру»? Мы уже здесь касались инакомыслящих, так это — не про них ли? Не про тех, кто высказывал «бредовые идеи реформаторства» и кого «исправляли» аминазином и галоперидолом? Что же, с этими радикальными средствами нынче дефицит? Или содержание в психушках так подорожало? Так грубо спрашивая, мы только расписываемся в дремучем готтентотстве. Мы даже представить себе не можем всех выгод, какие дала бы России недобровольная (т. е., как мы уже усвоили, *«более демократичная»*) эвтаназия.

Вот посудите: *«Всем известно, например, что в последний год жизни великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь находился в депрессивном состоянии, то есть фактически был душевнобольным. Если бы в практике врачей того времени была эвтаназия, то своевременное оказание писателю последней помощи помогло бы сохранить для нашей литературы второй том “Мертвых душ”»*.

Литературоведы в штатском, изымавшие у Василия Гроссмана его роман «Жизнь и судьба», каюсь, я был о вас худшего мнения, чем вы того заслуживаете. Вам все же в головы не пришло, что для изъятия рукописи нужно

умертвить автора. Да притом — по варианту *«против желания пациента»*; ведь, как известно, Гоголь в его состоянии отказывался от пищи, так уж, верно, микстуру добровольно глотать бы не стал. Вообще же говоря, литературные заботы института смертных наук хоть и очень трогательны, но, право же, напрасны: а нужно ли было его спасать, второй том *«Мертвых душ»*, коли сам автор не пожелал, чтобы мы его читали? Может быть, сожжение его было не только следствием душевного расстройства, но и нравственным шагом, поступком взыскательнейшего художника?

По этому поводу вот что Иван Аксаков писал Тургеневу: *«...вся мученическая художественная деятельность Гоголя, все его существование, писание «Мертвых душ», сожжение и смерть — все это составляет такое огромное историческое событие, с таким необъятным значением, от которого дух захватывает»*.

А смерть Пушкина, последние его часы, столькими очевидцами расписанные по минутам, так полно рисующие его облик, — разве не такое же необъятное событие в нашей истории, в литературе? Но — зачем это нам? *«...доктор Арендт и Даль, приняв необходимое решение, смогли бы облегчить страдания умиравшего Пушкина»*. Путем эвтаназии — могли бы, разумеется, но предпочли — бороться за каждый час его жизни. А *«необходимое решение»*, если б кто-нибудь им подсказал его, они бы скорее всего отвергли, поскольку люди были глубоко верующие.

Как нам известно, к области танатологии, в ее энциклопедическом значении, относятся и *«проблемы облегчения предсмертных страданий больного»*, но — не одной же эвтаназией! Об этом — во всей беседе — ни слова. Похоже, в чудесном институте одно средство знают от головной боли — гильотину. Она же — от всех болячек хороша.

Со ссылкой на академика Чазова сообщается новинка, что Леонид Ильич Брежнев в последние годы жизни делами государства не занимался, пребывал в старческом

маразме *«и из-за этого страна все более и более погружалась в застой»*. Так вот, хорошо бы — Политбюро имело право принять постановление об оказании ему «последней помощи». Тогда бы и перестройка началась много раньше, *«и сегодня мы бы уже могли жить в истинно демократической, цивилизованной стране с развитой рыночной экономикой»*. Концепции исторической я оспаривать не стану, только замечу, что в этом случае было бы не как с нижестоящим Гоголем, т. е. без санитаров и скручивания рук; это даже оговаривается особо: *«такое решение, конечно, должно было бы быть закрытым и неизвестным самому Брежневу»*.

Не питая к высокому пациенту избыточного почтения, все же не пожелал бы я, чтоб его участь решалась в духе известного анекдота из «чапаевской» серии: «Петька спрашивает: “Василь Иванович, а у ты жена была?” — “Была, Петька, была”. — “А куда ж делась?” — “Да, понимаешь, ногу сломала, пришлось пристрелить...”» Если бы Политбюро имело право умертвить генсека, почему ж бы оно не обладало меньшим правом — отстранить его от власти? Был же опыт с Хрущевым, обошлось бескровно. Правда, у Ильича Второго заслуг вроде побольше; ну так известно же *отстранение через повышение*: еще пяток звезд ему на грудь, еще одну «Победу», чтоб как у маршала Жукова, и в почетные, пожизненные генсеки — с внучатами общаться, правнучков тетешкать. И ребяташкам радость — дедулиными погремушками побрякать, и коллективная совесть Политбюро чиста и прозрачна хрустально...

Меньше всего мне хотелось бы представить главврача Зорина человеком кровожадным: скорее он добрый человек. Просто дает себя знать профессия, а главное — его устами глаголет наше больное общество, наш, кровью набухший, ополоумевший век. И самое интересное — Борис Семенович это прекрасно понимает. Не без горечи и удивления он рассказывает, что едва стало известно об его институте, как посыпались просьбы и списки, подоб-

ные древнеримским проскрипциям, кому бы оказать «последнюю помощь». Один такой список поступил из Союза журналистов, оформленный как решение правления, с соответствующими подписями и печатью, и в нем *«вы могли бы найти много хорошо известных имен»*. Другой список пришел от одной из депутатских фракций Верховного Совета... Аргументация *«довольно убедительная»*, считает Борис Семенович, но, *«к сожалению, почти не связана с медицинскими показаниями»*.

А если б была связана? Тогда бы для него, наверно, был извинительней тот жуткий курьез, что люди, полагающие себя общественными деятелями, собираясь вместе — значит, друг друга не стесняясь, — заказывают для своих коллег эвтаназию, внесудебное умерщвление оппонента, соперника, политического противника. И, должно быть, такого числа заказов не знал за свою историю горемычный институт — что-то грустно отмахивается Борис Семенович: *«Не хочется говорить ни о съезде народных депутатов, ни об этой ошалевшей оппозиции, ни о так называемом Фронте национального спасения — обо всех этих красно-коричневых с больной психикой...»*

А психика здоровая, то бишь научная, она о чем грезит? А она прозревает *«недалекое будущее, когда в большинстве стран эвтаназия будет узаконена»* и *«перед мировым сообществом откроются большие перспективы... Будет создан Международный центр танатологии и эвтаназии, возможно, при ООН. И тогда, опираясь на его экспертизы, тот же Совет Безопасности, к примеру, сможет эффективно и оперативно устранять многие социальные и политически опасные проблемы уже в мировом масштабе»*.

Размах, конечно, впечатляет, от перспектив дух захватывает, немеет язык. Но дело — вполне посильное, не из разряда невозможных. И все же человечеству, так дружно преступившему заповедь «Не убий!», придется кое с чем повозиться. Как известно из истории, массовые «мероприятия», вроде геноцидов, холокостов и прочих «окончательных решений», сами по себе проблемы не пред-

ставляют. Проблема — куда трупы девать и как утилизировать «отходы». Но тут уже накоплен некоторый опыт, коим не следует пренебрегать. Банк запасных органов, к примеру, — для пересадки ценным людям почек, сердец, печеней, кое-чего по мелочи от людишек малоценных. Остальное — на мыловарню, а костную муку — на удобрение полей. А еще матрасы хороши, набитые женскими локонами. И — абажуры из человеческой кожи...

Радио «Свобода». 1993. Май
Русская мысль. 1993. 4—10 июня
Панорама. 1993. 4—10 августа

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Мои танки скрежетали и лязгали на Вацлавской площади. То есть, конечно же, танки общественные, народные, но ведь отчасти и мои. И в некотором роде от моего имени оказывали они *братскую помощь* — утюжили «Пражскую весну». В то утро, 21 августа, я ушел в лес над Москвой-рекой, чтоб там, никого не видя, наедине с собою пережить этот позор, это унижение и страх. После того как мы друг другу и самим себе доказали, что лишь безумцы посмеют на это пойти, а они посмели, как же обойтись без большого террора? Как заставить народ наш проглотить надругательство над ним самим? Только и надежда, что Запад не стерпит, выступит с ультиматумом, как во дни Карибского кризиса.

Но складывалось иначе. Народонаселение наше не пришлось укрощать террором, в большинстве оно осудило не оккупантов, а самих же чехов, которые слишком многого захотели: «Мы их освобождали в сорок пятом, всю дорогу их кормим, и слава богу, что скрутят этого Дубчека!» Запад, разумеется, осудил агрессию, но с ультиматумом не спешил. Ни одна десантная дивизия, ни один авианосец не переместились и на сантиметр поближе к Чехословакии — хоть обозначить *военное присутствие*. Генералы не скрывали профессионального восхищения: за каких-нибудь во-

семь часов почти без выстрела была оккупирована европейская страна и взята ее столица. Это восторженное преклонение перед силой было похуже страха, который все же вынуждает действовать. Увидев воочию, что могло бы произойти в одночасье со всей Европой, мир словно бы оцепенел — в растерянности, в параличе воли.

И вот тут случилось невероятное. Случилось в самом сердце всех напугавшей державы. На другую площадь, на ее собственную, главную, парадную, священную, считавшуюся пупом Земли, вышли семеро. В полдень 25-го возле Лобного места они развернули жалкенькие свои плакатики: «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!»

Случайно в тот день оказался у меня там свой свидетель — знакомая лимитчица, спешившая в ГУМ: обещали «выбросить» перьевые подушки, производства отечественного, но, как гласила молва, не хуже китайских. И в это время какие-то туристы — так она рассказывала — только присели на парапет и что-то там подняли над головами, она и прочитать не успела, как вся площадь сбежалась к ним — штатские и военные, экскурсанты от Мавзолея — выхватывать у них эти плакатики, ломать и топтать, а самих избивать в кровь, выкручивать руки, заталкивать в подоспевшие «воронки». В пять минут управились, — так она подытожила эту вторую боевую операцию. В очередь за перьевыми подушками она не опоздала.

Нынче можно прочесть в российских газетах: «не злость застыла на лицах нашего срединного человека, а выражение глубокой усталости и страха — что дальше?» Оценим же страх этих семерых, знающих наперед — что дальше, и все же бредущих по брусчатке враждебной им площади — к старинному месту казней. Хорошего не будет, не погладят — ни за вашу свободу, ни за нашу. А будет «народное возмущение» дружинников и топтунов, будут мужчин метелить открыто, а женщин — в машине, будут суд и лагерь, а кому — психушка. Что же не дает им остановиться, одуматься?

Собственно говоря, в их совестливости и высоте помысла не сомневался никто. Сомнение было в другом: чего они

Великолепная семерка

этим добились? Хоть кого-нибудь их жертвенность подвигла к действию, хотя бы устыдила? Как ни удивительно, вопросы эти слышались не только на интеллигентских кухнях, но и в среде правозащитников, где был излюблен знаменитый тост: «Выпьем же за успех нашего безнадежного дела!»

А дело-то вовсе и не было безнадежно. Слишком часто не понимаем мы или не помним, что живем — в истории, где никакой наш поступок не теряется бесследно. Год спустя после того, как мои танки победно вползли на Вацлавскую площадь, гостила у нас в Москве чешка из Праги, жена моего переводчика Яна Забраны, теперь покойного. Говорили, естественно, и о тех семерых, об их как будто напрасной жертве, и вот что сказала Мария Забранова: «Из-за этого их поступка все чехи не возненавидели всех русских». И я ощутил масштаб свершения. Да если только это одно поставить в заслугу нашему Демократическому движению, можно считать — оно состоялось.

Радио «Свобода». 1993. 25 августа

К 70-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА

Сказано про нашу безоружную Августовскую 1991 года революцию, что она была — «с лицом Ростроповича». Если так, то события второй половины 80-х годов, названные «перестройкой» — по крайней мере события литературные, — для многих из нас предстали с лицом Бакланова. Он принял тогда журнал «Знамя», многолетнее владение Вадима Кожевникова, и стал делать журнал кардинально иной — говорили, что в духе «Нового мира» Твардовского. Продолжение традиции отчасти даже персонифицировалось — в облике новомирца тех времен, Владимира Лакшина, которого Бакланов тоже пригласил в первые заместители. Безусловный поворот обозначился, скорее всего, «Собачьим сердцем» Булгакова, ожидавшимся публикации, наверное, полвека, — и писатели-эмигранты зашарили по сусекам, ища, что бы такое предложить революционному редактору.

Ждали встречи с Баклановым — и она состоялась в Дании, в Луизиане, близ Копенгагена, первая встреча писателей двух миров — родины и зарубежья. Советскую делегацию возглавлял Григорий Яковлевич, зарубежников — ясное дело, никто возглавлять не мог, на то ведь они и отщепенцы. Встречу снимало датское телевидение — и всяк может увидеть, раздобыв доступную пленку, какое

разочарование постигло многих участников. Похоже, советский гость вознамерился руководить и эмигрантами, с непонятым раздражением, с нотациями и обвинениями обрушился на Аксенова, на Эткинда, говорил вещи обидные для изгнанников, в том числе и для тех, которых через полгода напечатает. Когда спросили, кого бы из эмигрантов он себе выбрал в собеседники, назвал Виктора Некрасова — тогда уже покойного. Значит — никого.

Мне это было тем более странно, что я знал другого Григория Бакланова, с которым познакомился в «Новом мире», где я работал редактором отдела прозы, а он там печатал свою «Пядь земли». Был он чрезвычайно прост, контактен, мягок и как автор уступчив, вполне учитывая шаткое положение журнала. Три года спустя, когда у меня там же вышла повесть «Большая руда», Бакланов едва не первым поздравил автора очень теплым письмом. Спешу пояснить: я уже не был редактором и еще не был членом Союза писателей, по нашим окаянным понятиям — никто, просто автор повести, и вот этому никому он прислал поздравление. Стало быть, обладал умением редкостным — и столь ценным для редактора журнала — радоваться чужому успеху. Говорил Тургенев, что сочувствовать умеют многие, со-радоваться — только ангелы. Бакланов Тургенева опроверг, ибо какой же он ангел? Однако ж, он — боец, всегда готовый защищать то, что дорого ему в литературе. Примеров достаточно. Дважды или трижды он вступался за впадавшего уже в опалу Солженицына, а я забыть не могу, как в трудные мои дни, когда наша критика устроила кошачий концерт вокруг романа «Три минуты молчания», Бакланов меня поддержал несколькими словами — да их не много и требовалось, чтоб показать, что есть и другое мнение. Что же такое с ним случилось в Луизиане? Может быть, встреча пошла не так, как планировалось, и он над нею потерял контроль? Да ведь не тот человек, чтоб у него из-за этого сдали нервы. При обстоятельствах куда более напряженных, на 19-й партконференции, он себя вел достойно, не дрог-

нул перед натиском пятитысячной аудитории, сгонявшей его с трибуны.

Ответ на все вопросы, какие задаст нам писатель своим поведением, ищите в его книгах: и там, где он прямо говорит о себе, и еще пристальнее — где он проговаривается невольно. Хочет он того или же избегает, а все равно напишет собственный портрет.

К 70-летию Бакланова он сам себе сделал подарок: вышли в «Знамени» два цикла его невыдуманных рассказов под названием «Входите узкими воротами». В них он рассказывает о своем пути в литературе, о своем становлении как личности, начиная от бесприютной, бездомной и несытой молодости и до тех дней, когда он выдвинулся в зачинатели, в «прорабы» перестройки и укрепился в журнале, ставшем собственностью коллектива редакции. Ко мне «Знамя» приходит из вторых, из четвертых рук, и в этом свое преимущество — заранее видишь, что читать в первую очередь, эти страницы захватаны пальцами, загнуты, измяты. Книжка скреплена плохо, не как в блаженные годы «застоя», при Кожевникове, и те страницы, где Бакланов, попросту распадаются.

На мой взгляд, эти рассказы явились продолжением его же предыдущей, весьма любопытной повести «Свой человек» — о закате и падении номенклатурщика, символически обозначивших распад целой системы. Распад — не окончательный, как хотелось бы думать, об этом предупреждали такие предфинальные строки:

«...миллионы заинтересованы, чтобы гнило как можно дольше. От верху до низу миллионы временищиков, и каждый хочет при жизни получить свой кусок. Это прочно. И опирается на самые примитивные инстинкты, а в природе все примитивное — самое жизнеспособное».

Отметим и прозорливость этих строк, и сквозящее в них трезвое, холодное, почти циничское понимание, с каким человеческим материалом придется иметь дело преобразователю. Это слова отнюдь не романтика, призывающего покончить с прошлым безоглядной кавале-

рийской атакой, и в них содержится ответ, почему такова особенность наших «оттепелей» — что первой, что второй, — вожди прогресса, получающие власть, вербуются не из бунтарей, героев, идеалистов. Академику Сахарову чаще, нежели прочим, отключали микрофон, даже в Верховный Совет его не выбрали, и доброволец уступил свое место не ему, а Ельцину, родом из Политбюро. В парламенте мы видим из героев правозащитного движения лишь Сергея Ковалева да о. Глеба Якунина — и те там не свои. Приходится признать, что сама история востребовала деятелей иного типа, со свойствами иными.

Григорий Бакланов, очевидно, эти свойства имел, а главное — полагал, что перестройкой можно управлять; это было услышано, и его-то и предпочли вышестоящие «прорабы», а не избрала в редакторы восставшая масса, сошедший с тормозов писательский пленум, как это было у кинематографистов. Кто именно пригласил Бакланова в «Знамя», он не сообщает, да это и неважно, — мог бы Яковлев, мог Лигачев или сам генсек, важно — что он оказался готов к приглашению.

По крайней мере на первых порах можно было и споткнуться, если не иметь за плечами школы здорового бюрократизма, без которой не помогло бы и самое высокое покровительство. Бакланов такую школу прошел — да хоть в Союзе писателей, в этой империи секретарей, либо на «Мосфильме», где он был одним из руководителей объединения писателей и киноработников, — и он не скрывает гордости по этому поводу, пересыпая текст выражениями: «аппаратные правила», «говоря аппаратным языком», «ритуал телефонной беседы», «канцелярская поэзия», щеголяя дотошным знанием чиновничьей психологии, проявляя, наконец, неподдельное любопытство к миру номенклатуры и вкус к общению с людьми власти.

О Гришине, для кого-то, наверное, решительно ничтожном, он говорит: *«Мне любопытен был этот человек... Было интересно наблюдать, как ведут себя люди в его присутствии. Театр — и какой театр!»*

А то из-под души вырывается: «*Я бы это сыграл!*» Что — «*это*»? Да хоть смирение, хоть воспылание праведным гневом.

Он знает биографии чиновников, жизненные истории Шауро, Маркова, Карпова, литературного генерала Ильина, их пути по длинным коридорам власти, и любо же ему описывать эти самые «коридоры», ковровые дорожки, массивные двери с табличками, державную тишину, закрытые — то есть для небожителей открытые — буфеты, распределители, комнаты отдыха. Он понимает трагедию секретаря, которого вдруг не выбрали в президиум и его из-за этого разбивает паралич. Он с уважением — и непременно по имени-отчеству — назовет того чиновника, который помог с романом и еще дважды выручил, — как можно забыть добро? Он знает, что такое для советского писателя быть упомянутым в докладе Маркова и быть не упомянутым. И притом — не упустит посплетничать, как выглядел Георгий Мокеич на пляже Рижского взморья в июльскую жару в костюме и при галстукe. Бывают подробности столь занятные, что уже и не важно, складываются ли они в цельный сюжет; стиль — вольный, эссеистический, с частыми и охотными отклонениями к аналогиям, нередко — военным, где была, конечно, своя бюрократия, — и это придает повествованию и емкость, и непринужденность дыхания.

«Знаток аппаратной жизни» — называет он себя не без иронии, которой, заметим, подчас очень не хватало автору книги «Бодался теленок с дубом». А ирония, верно, оттого, что никакое знание в конце концов не избавляло от всех терний литератора советского — от запрета прозы, от закрытия фильма, от придирок цензора. Это и были те узкие *врата*, которыми входили *во власть* наши политики.

Зачастую они входили при помощи тех, кого завтра уберут либо просто забудут. Так входил Горбачев. Путь Бакланова был другой — если не единственный, то очень редкий случай, когда пребывание в эшелонах власти — в седьмых, восьмых эшелонах — пошло на пользу как пи-

сателю. При всех потерях он многое увидел — и, значит, не прогадал.

Бывал ли он безукоризненно послушен, чтобы *колебаться вместе с линией*? О да, случалось ему осудить войну, которую вели американцы во Вьетнаме, не упоминая — в году 1985-м — войны своей, афганской. Случалось выругать Запад в путевых очерках «No parking», то есть выполнить неременное условие, позволяющее советскому рабу еще когда-нибудь побывать в этом ужасном, ужасном Нью-Йорке, в крошечном аду с названием «Париж». Но выпадали случаи и покруче, когда требовалось обгадить свое имя всерьез, складывалась та пикантная ситуация, о которой писал Борис Слуцкий:

*Таланта нет — сослаться на болезнь,
Уменья нет — не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, что не дай бог другому.*

Это — о несчастном своем участии в гражданской казни Пастернака, чего никогда Слуцкий не мог простить себе и что, наверное, стало одной из причин душевной болезни и преждевременной смерти.

Бакланов достаточно честен, чтобы не выставять себя героем: отказаться клеймить Сахарова и Солженицына или участвовать в антиссионистском конгрессе — решимости не хватило, зато был талант не оказаться дома, когда придут за твоей подписью или позвонят. Это умение тоже приобретается плаваньем в заводях номенклатуры. Ну а дальнейшее — уже обязанность жены; считается, что у писательских жен нервы крепче мужниных. Вениамину Каверину хватило юмора связать над собою: «Я храбро спрятался, а жена — твердо говорила по телефону...» Бакланов, сдается мне, с излишней серьезностью рассказывает, как он храбро уезжал в Ленинград или в Болшево под Москву или пересиживал в скверике около дома, договорившись с женой насчет сигнализации. Спасибо ему,

однако, за откровенность, с какой он передал, каких терзаний душевных, какого унижения стоило — подлость не делать, а от подлостей бегать, особенно — бывшему фронтовику. Его и сейчас гложет:

«Но почему вообще я должен скрываться? Война? Враг торгся? Так от врага я не бегал».

И вот что любопытно: казалось бы, познав такое унижение, можно и другого понять в сходной ситуации — ну, скажем, бывшего главу Союза писателей Карпова, укрывшегося в Барвихе. Ну неохота Карпову, Герою Советского Союза, выступать против Нины Андреевой, потому как это против Лигачева, — и оставьте его в покое. Ан нет, совковая суть, которую не вытравишь из себя в одночасье, заставляет тащить коллегу на подпись, как на казнь.

О, непросто выдавливается раб! Зачем, спрашивается, сидя в редакторском кресле, куда был усажен свыше, отвечать уклончиво на звонки из ЦК, на дурацкие директивные письма, смиряя гнев иронией: *«Да что я, крепостной?»* И оказалось: как просто было освободиться, вся нечисть отпала сразу, разлетелась, как от крестного знамения. Оказалось: перестройка обгоняет наше сознание быстрее, чем даже того хотелось бы. Помню, печатая «Верного Руслана», редактор настоял вычеркнуть один абзац, который уже к выходу номера выглядел вполне безобидно.

От летописи, которая пишется по пятам событий, ждешь не столько предвидений, сколько осмысления уже произошедшего. Но вот пишет Бакланов:

«Оглядываясь в недавнее прошлое, все больше убеждаюсь: закон о печати приняли по недосмотру, просто депутаты оплошали... Где это видано, чтобы власть сама на себя надевала смиренную рубашку? Но помогли два обстоятельства: некоторый дух вольности, его ощутило общество, и твердое убеждение, что законы у нас пишут для наглядности, исполнять их необязательно».

Сдается мне, здесь больше остроумия, нежели точности. Не депутаты оплошали, а мы сами только моргали,

когда власть именно то и делала, что надевала на себя кокетливо смительную рубашку. Ведь была же у нас прекрасная солнечная Конституция, да ведь и Декларацию прав человека тоже мы вроде бы приняли, но ежели кто заикался насчет гарантированных нам свобод, что мы говорили ему? «Старик, ну это же несерьезно». А в лагерях говорили вертухаи: «Вы не поняли, это для негров». И нужно было набраться немислимого нахальства, чтобы воспользоваться законом о выборах, как это сделали диссиденты, выдвинув кандидатами Людмилу Агапову и Роя Медведева. Какой поднялся переполох! Как судорожно искали закорючку, чтоб отказать! И конечно же, нашли — в срок не уложились подать заявление, опоздали на день. Так вот, что законы пишутся не для исполнения, в этом мы сами были убеждены. А когда посмотрели на дело серьезно, тогда дарованная нам сверху перестройка и вышла из-под контроля.

Не знаю, отчего смеются над присказкой Горбачева «Процесс пошел». Очень даже точная фраза. Смеясь, мы расстаемся с нашей ближней историей, худо лишь, что стремительно теряем историческую память. Вот уже исказились фигура того же Горбачева, он теперь «иуда всех времен и народов», он «тряпка». А давно ли восхищались, как он расшвырял зловещих старцев, геронтов, повисших гирями на шее России? Давно ли восхищались Ельциным, первым из наших деятелей, кто вернулся в политику, будучи выброшен и, как водится, жалко покаявшись? Давно ли слагали оды ему, поднявшемуся на танк? Теперь он «оккупант» и «клятвопреступник»... Так вот оно, ценнейшее, что делает Бакланов, — возвращает нас к недавней реальности, напоминает, какими мы были еще вчера.

Писатель, выступающий с такими рассказами, куда и себя помещает в качестве главного персонажа, добровольно занимает скамью подсудимых и даже призывает нас вынести ему приговор. Таков закон этого жанра — покаяния и самооправдания, непременно его сопровождающего. Однако литература — все же не зал заседания, здесь

и обвиняемому дано вынести суждение — о ближних своих, о времени, о том, что происходит со всей страной.

Естественно, художник мыслит метафорами. Григорий Бакланов предлагает их даже две. В финале последнего рассказа он вспоминает себя 20-летнего, в окопе, перед началом наступления, когда он в рассветном сумраке *«вдруг почувствовал, что все сдвинулось, движется, и это уже не зависит ни от кого из нас... вся махина из тысяч и тысяч людей и всего вокруг, как будто еще неподвижного, стронулась, неостановимо движется к последней черте. И полыхнет сейчас во тьме за нашими спинами, толкнется в уши и будет грохотать и сверкать, а потом мы выскочим из окопов и побежим по полю, бодря себя криками»*.

Этого образа, хоть и впечатляющего, но, кажется, уже запоздалого, применимого к первым лишь годам перестройки, автору не хватает, и он его дополняет другим, заметно ему противоречащим:

«С того берега, от которого оторвало нас ходом истории, странно видеть, наверное, как люди все сражаются, сражаются друг с другом, не замечая, что всех их вместе, будто на льдине, влечет течением в раскинувшееся впереди открытое море, в никому не ведомое будущее».

Два образа вместо одного, исчерпывающего, говорят все же о зыбкости, неопределенности суждения; никак не сочетаются они, как не складываются в единое представимое целое люди, готовящиеся согласно, вместе идти в атаку, и люди, сражающиеся друг с другом на оторвавшейся льдине. Эта картинка столь безрадостна, что сердце не соглашается с нею. Но кто сказал, что она — окончательна? Будем же благодарны автору за спасительную дозу яда, за тревожную ноту, которая продолжает в нас звучать, когда уже закрыта последняя страница. Иначе бы он был нечестен и не исполнил бы долг русского писателя.

Вероятно, в год Луизианы еще казалось Бакланову, что на людей можно воздействовать указаниями и назиданиями, а теперь, я думаю, он понимает, что нет, если чем-то и можно их увлечь, так только полной искренностью

К 70-летию Григория Бакланова

и примером собственной жизни. Пройдя свой путь — непростой и не прямой, извилистый, хитроумный, не без потерь, но и не сломавшись, не уронив чести, не погрешив против самого главного, что в нем было в юные фронтовые годы, он готовно раскрывает секреты этого пути. Скажем прямо, они отличаются и от заповедей Христовых, и от тех, что на скрижалях «Жить не по лжи». Но человеку, прошедшему такой путь, верится больше, нежели тому, кто благополучно уклонялся или просто не выпало ему подобных испытаний.

Невыдуманные рассказы Григория Бакланова «Входите узкими вратами» в номере третьем этого года, как и предыдущие, в 1992 году, продолжения как будто не обещают. Может быть, его и не будет, а может быть, вспомнится еще многое и напишется — покуда мы живы, покуда меняются люди и движется в никому не ведомое будущее Россия.

Радио «Свобода». 1993. 11 сентября

НА ДРУГОЕ УТРО

Два с лишним года назад над гробами троих юношей, погибших за демократию, Борис Ельцин сказал их родителям слова, ставшие знаменитыми:

— Простите меня, вашего президента, что я не сумел спасти ваших сыновей, не смог их уберечь.

Сегодня он мог бы те слова повторить — но над куда большим числом гробов и с гораздо большим основанием.

Поражает неожиданность и размах мятежа, количество его участников: по скромным подсчетам, тысячи четыре, более двух полков, которые при условиях благоприятных могли бы еще обрасти десятками тысяч примкнувших; поражает и число объектов, намеченных к захвату, притом в неблизких концах Москвы: где мэрия, а где Останкино? А сколько оружия оказалось в руках — и какая выучка, умение использовать невменяемость толпы! Значит, готовился широкий, во всех деталях продуманный заговор — и до последнего часа оставался тайной, как бывает, когда заговорщики обеспечены всеобщим сочувствием, даже сочувствием тех, кто обязан был о них донести.

Теперь укоряют Ельцина в нерешительности: когда мятежники уже сминали цепочки ОМОНа, захватывали этажи мэрии и громили телецентр, он все не спешил призвать армию. Призови он ее сразу же, насколько меньше было бы крови и трупов.

В этих укорах есть одна ошибка: армию следовало призвать еще раньше, еще до того, как объявлять указ об упразднении съезда и парламента; обошлось бы тогда и вовсе бескровно. Если прохлопала, проморгала опасность служба безопасности, если ничего путного не присоветовали советники, если все никак не понимал министр обороны, что уже время не обороняться, а наступать, то хотя бы сам президент, не со вчерашнего дня политический боец, и мог и должен был предвидеть, что дело не ограничится указом, не разойдутся покорно с насиженных теплых мест, будет сопротивление яростное и придется вызывать танки. Швыряя такую перчатку противнику, как же было не обнажить при этом шпагу? Мало того, еще всерьез уверять, что всячески избежит кровопролития?

Мы без конца твердим чеховскую формулу насчет ружья, обязанного выстрелить в последнем акте, и не допускаем драматургии иной и более реальной: если ружье висит — из него уже и стрелять не обязательно. На десятки лет нам обеспечила мир висевшая над враждующими сторонами ядерная угроза, не позволяя войнам локальным слиться в мировую.

Натерпевшись страху, мы теперь торопимся — по праву победителя — насытить мстительное чувство. Но кто же победители в этой странной битве, где наши танки расстреливали наш собственный рейхстаг? Над кем и над чем одерживают победу, разгоняя национальное законодательное собрание? Было бы чрезвычайно просто, если б его депутаты были сплошь красно-коричневые, коммунисты и фашисты, макашовцы с принципами и баркашовцы со свастикой. Но за какие скобки вынести обманутых, разочарованных, втянутых в сопротивление азартом молодости, ну и всерьез опасавшихся, не сосредоточит ли Ельцин в своих руках необъятную власть? За 70 лет «пролетарской диктатуры» мы научились панически ее бояться.

На всех нас лежит вина — либо насильника, либо жертвы — и могут ли виновные судить виновных? А ведь уже судят и приговоры выносят. Вот Анатолий Собчак советует Руцкому поступить, как подобает офицеру. Все поняли: пу-

стить себе пулю в лоб. А я слышал, что Собчак — верующий, ходит в церковь, как же он забыл, что самоубийство ею осуждается как величайший грех?

У гангстеров, у мафиози принято не считаться ни с какими прошлыми заслугами. Неужели и мы не постараемся прежде осмыслить случившееся, предпочтем — сразу мстить?

Лиону Фейхтвангеру, описывавшему наши политические процессы 30-х годов, они напоминали скорее диспут, в котором судьи и подсудимые вместе искали корни ошибок. На самом деле они были спектаклями, в которых актерам справиться с ролью помогали пытками, угрозами и пустыми обещаниями. Теперь, когда мы это постигли и от этого освободились и можем не прибегать к методу кнута и пряника, почему бы и вправду не обратить неизбежный будущий процесс в диспут, в котором целью было бы не наказание, но истина, в котором бы мы, помогая друг другу, может быть, осознали бы, что ждет нас на другое утро после этой безрадостной победы, и добились бы ответа на те вечные безответные вопросы, которые все задает нам русская литература: кто виноват? что делать? а судьи кто?

Радио «Свобода». 1993. 5 октября
Московские новости. 1993. 10 октября

КОЕ-ЧТО О ФАКТОРЕ ГЛУПОСТИ

Уходит в прошлое октябрьская эпопея Белого дома, но не меньше остается вопросов и недоумений, а соответственно и попыток объяснения некоторых загадок и неясностей. Появляется искушение — представить эту эпопею как итог адского замысла, детально спланированной провокации, включавшей в себя и кровь, и трупы, и горе близких, и основательное повреждение столичных зданий. Все для того, чтобы возбудить народную ненависть к своему парламенту. И если отвечать на вопрос римских юристов — «кому выгодно?» — не останется загадкой имя автора этого замысла. Знамо кто — президент.

Так прямо и излагается эта версия в «Московских новостях» от 17 октября, с прозрачным заголовком: «Парламент клюнул на президентскую блесну». Октябрьские события комментирует специалист редкой профессии, я бы сказал — экзотичной: по проведению путчей, переворотов, военно-политических провокаций, полковник из некоего тайного ведомства, который по заданию правительства СССР участвовал в подобных акциях в Латинской Америке и в Индокитае. Имени его газета не раскрывает — по понятным, как ей кажется, причинам, — хотя нет уже ни того правительства, ни резонов утаивать нынче,

при свете гласности, бывшие славные дела полковника. К тому же он мог бы сейчас, по обычаю людей его ведомства, хорошо на этом заработать.

Версия, которую он излагает, сводится к тому, что у Ельцина был расчет — на то, что нервы у сторонников Хасбулатова и Руцкого не выдержат и они не то что не усидят в своей цитадели, это заранее ясно, но вылезут непременно с оружием и наделают дел кровавых и смертоубийственных. Для этого, пишет полковник, «забаррикадировавшихся в Белом доме начинают планомерно обрабатывать убедительной дезинформацией. За 12 дней людей в замкнутом пространстве можно довести до психоза, транслируя, например, все время одну и ту же мелодию. Главное — не давать людям спать и держать их в напряжении. Параллельно используют провокаторов в среде врага, которые подготавливают нужное поведение лидеров (командиров) в кульминационный момент».

Не знаю, как это все удавалось полковнику в Латинской Америке и в Индокитае, сходная ситуация в тех странах, где он интриговал, что-то не припоминается — в Чили, например, при штурме дворца Ла-Монеда она была другая, — но ситуацию московскую он заметно упрощает, представляя Белый дом как пространство замкнутое. Таким оно вовсе не было, туда проникали и многие добровольные защитники, и журналисты, могли проникать не только провокаторы, но и перебежчики из другого лагеря и просто люди грамотные, которые предупредили бы Хасбулатова и Руцкого, что их провоцируют. Вообще, если эту операцию поручили военным, они первые должны были ей воспротивиться. Из своих академий генералы должны были вынести основной закон оперативного искусства, известный как «правило Гинденбурга»: «Наибольший успех нам гарантирует самое простое решение». В соответствии с этим правилом военачальник стремится всякую сложную ситуацию предельно упростить, свести к примитиву, который бы можно было, подобно Василию Ивановичу Чапаеву в одноименном фильме, объяснить с помощью нескольких картофелин. Самое же сложное,

что может быть в оперативном замысле, — это маневр с предоставлением инициативы противнику. Это расчет на то, о чем и говорит таинственный полковник: «нужное поведение лидеров (командиров) в кульминационный момент». Очевидно, это нужное поведение да в нужный момент состояло бы в том, что в такой-то час противник поступил бы так-то и так-то, двинулся бы туда-то, а ежели он, мерзавец, так не поступит и туда не двинется или сделает это запоздало, а хуже того — преждевременно, то все летит к чертям, и стройный замысел превращается в оперативный позор, вынуждая незадачливого автора, напрасно погубившего своих людей, искупить вину так, как это полагается по кодексу офицерской чести.

«Московские новости» в целом присоединяются к мнению эксперта. Как они считают, «события были спланированы так, чтобы подтолкнуть обитателей Белого дома к первому насильственному акту. И они в эту ловушку попались. Вопрос в том, кто моделировал ситуацию. Ельцин? Или иные влиятельные политические силы, которым беспомощность Ельцина, не справься он с ситуацией, помогла бы выйти на сцену?...».

Я бы прежде задался вопросом: а можно ли было эту ситуацию смоделировать? При всем злодействе и жестокости уж слишком тонок, слишком изыскан и красив был замысел, слишком рискован, чтобы удаться в нашем бардаке, при нашем разгильдяйстве и невменяемости. И между прочим, были же предпосылки, чтобы громоздкая эта затея не удалась. Сам же эксперт признает, что тактика Руцкого была не лишена смысла: забаррикадироваться в Белом доме и показать всему миру, «как умерщвляют депутатов! В то же время как военный человек он не мог не понимать, что прямое вооруженное столкновение закончится не в пользу парламента. Слишком неравны силы. Поэтому и устроил головомойку Хасбулатову, поспешившему раздать оружие кому попало...».

Как мы знаем, оружие стали отбирать и складывать, и здесь наш полковник ставит Руцкому твердую пятерку: теперь «колючая проволока и цепи ОМОНа вокруг Бело-

го дома стали работать против Бориса Ельцина. Запад может закрыть глаза на противоправные действия угодного ему лидера (как было, например, с Пиночетом), но если этот лидер не в состоянии быстро переломить ситуацию в свою пользу, если репрессивные меры длятся достаточно долго, цивилизованный мир начинает хмуриться».

Итак, все как нельзя лучше складывалось для Руцкого, который мог, пальцем не шевеля, набирать очки, а тем не менее победа, пусть и безрадостная, победителя не украсившая лаврами, досталась Ельцину. Какой же дьявол надоумил осажденных от своей выигрышной тактики отказаться? Кто Руцкого за язык потянул — приказывать штурмовать мэрию, которая и не нужна ему была ни как военный объект, ни как политическая приманка, а в глазах этого самого *цивилизованного мира* уронила его безнадежно, как и его истеричный призыв к авиации бомбить Кремль? Кто сунул в лапы Макашову пулемет и погнал его боевиков к телецентру «Останкино», где больше сотни их полегло за великую цель — отвоевать для Руцкого полчаса эфира? Загадок действительно хоть отбавляй. Нападающая сторона и должна нести больше потерь, чем обороняющаяся, но раза в три, в четыре, не в десятки же раз. А самого Макашова, добавим для красоты рассказа, как элегантно все пули обошли — чтобы предстать ему перед судом без царапинки, не сделавшись трагическим героем. Обо всем этом нам остается либо гадать, либо дожидаться более подробных сведений. Но из того, что все вышло в пользу Ельцина, еще не следует, что вышло по его плану, что и вообще какой-то план существовал — к тому же так нелепо, так безобразно исполненный, с таким количеством трупов, со стрельбой из танковых пушек по зданию, ставшему уже легендарным, с пожаром, зачернившим и верхние этажи, и самую память о том героическом Августе.

Не проще ли было призвать армию в самом начале, при объявлении указа 1400-го, а лучше бы — до объявления? Почему это не было сделано — при таком умении все рассчитать за 16 ходов вперед? Здесь у эксперта откровенный разнобой: в одном пассаже своей экспертизы он

пишет: «Судя по всему, ни Ельцин, ни Грачев не были до конца уверены, как поведет себя армия, включая высший генералитет...» В другом пассаже — допускает, что Ельцин, «возможно, доверился заверениям Ерина и Грачева, обещавших обеспечить порядок в случае обострения...». И при таких-то шатаниях, в таком тумане — еще включить в замысел 8-часовое опоздание армии в Москву, намеренное, рассчитанное, дистанционно управляемое? О, сколько хитростей! И какая уверенность, что тайна этого опоздания никогда не вскроется!

Английский дипломат Николсон как-то сказал, что события истории предстали бы нам куда более объяснимыми, если бы мы учитывали фактор глупости. Вот так, не искали бы в поведении исторического деятеля непременно глубоко продуманный маневр, не подбирали бы к его шагам, для нас непонятным, убедительные мотивы, а сказали бы просто: «по глупости». Зачем, скажем, вел Наполеон континентальную блокаду Англии, не нападая на нее, но стремясь покорить все страны, которые с нею торговали? Уж так хитроумно, так грандиозно это, и так мы убеждены в его гениальности, что не отважимся назвать эту затею ее настоящим именем. Не осмелимся и бездействие нашего президента в отношении армии объяснить тем же фактором, какой бы ни принял он псевдоним — самонадеянности, упрямства, генеральской дурри, завышенной оценки своей популярности после референдума.

Пожалуй, в его поведении есть лишь один внятный мотив. Как бы он сам выглядел, объявляя свой указ под лязганье и ревы танков, расставленных загодя по площадям столицы? Совершенно так же, как Язов и Крючков 19 августа 1991 года. И что сказал бы о нем цивилизованный мир, что сказала бы интеллигенция? «Узурпатор», «насильник», «завтрашний диктатор»... Но неужели этого можно убоиться сильнее, нежели имени злодея, виновника массовой бойни?

Что до мнения Запада, то Клинтон как будто заранее все грехи отпустил своему партнеру. Да и все остальные

были к этому склонны. Симпатии цивилизованного мира всегда обеспечены тому, кто справляется с ситуацией быстро и по возможности малой кровью. А насчет интеллигенции знал президент прекрасно, что при любом его образе действий она все равно поделится на оправдывающих и осуждающих, такова ее стезя, ее предназначение.

И сегодня одни благодарят президента за то, что армия защитила их, и призывают быть потверже, наказать по всей строгости закона зачинщиков мятежа, закрыть печатные издания сторонников парламента, — претендуя при этом на их фонды и запасы бумаги. Другие — обвиняют его в нарушении конституции и измене демократии. Есть и третьи — упрекающие в запоздалом применении силы. У каждого своя правота.

Но хотелось бы напомнить и тем, и другим, и третьим, что мы как демократия еще так молоды, что нам, ей же богу, простительны некоторые глупости. Ведь все у нас по первому разу: первый президент России и первый роспуск парламента, первая попытка импичмента и первое — да просто уникальное! — отступничество вице-президента. И мятеж у нас — тоже первый, ко второму-то мы лучше подготовимся.

Важно лишь осмыслить его во всей сложности и полноте — чтобы по крайней мере жертвы его не были напрасными. Чтобы мы чему-то научились, извлекли пусть кровавый и страшный, но тем и памятный урок.

Радио «Свобода». 1993. Октябрь

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЖИРИК?

Это ласковое прозвище нашего триумфатора я позаимствовал у г-на Невзорова, вместе с его замечательным вопросом. Поверить, что Александр Глебович не знает пути Жириновского, решительно невозможно; скорее всего на языке «наших» его вопрос означает: с чего вдруг такой успех? Меня же больше удивляет само это удивление. Чего же стоит чутье наших политиков, не умеющих отслеживать и оценивать продвижение конкурента? Как мало знали они своего избирателя, если не приняли всерьез обещаний «авантюриста» и «психа», — так уж его обзывали, думая этим уничтожить. Вспомнили бы недавний польский урок, залетного эмигранта — Тыминьского, огребшего ту же четверть всех голосов за одно обещание — всех научить, как делать доллары.

Признаться, и я бы не поставил высоко шансы Жирика, да помог Эдуард Лимонов; за этой занятой фигуркой я не устаю наблюдать. Когда он принял в будущем правительстве Жириновского портфель «силового министра», да еще жену привлек, Наталью Медведеву, попеть на предвыборном вечере избирателей, это было для меня вернейшим индикатором. Лимонов лишь бы к кому не примкнет. Он может проиграть собственные выборы, недостаток харизмы не возместишь ни стрельбою по бос-

нийским мусульманам и хорватам, ни содействием красивой супруги, однако чужой успех он предугадывает безошибочно. Да могли бы и все мы выступить недурными прорицателями, если б держали в уме, как опасно недооценивать человека с повадками шута или клоуна. Переоценивать его приходится, когда он уже рейхсканцлер и когда это грозит потерей свободы, а то и головы.

Все, нами отвергнутое или не усвоенное, отлично усвоил талантливый Жирик. Не знаю, известен ли ему совет Бонапарта говорить с толпою коротко и неясно, однако именно так он обещает вернуть России Аляску и что Финляндия и Прибалтика еще к нам приползут. Спросить хотя бы про Аляску — что же, силой ее возвращать? Так ведь ядерной войной пахнет. Откупить ее? Так тут Высоцкий вспоминается: «Где деньги, Зин?» Не знаю, почитывает ли Владимир Вольфович речи Адольфа Алоизовича, но, подобно ему, облекает свои обещания в формы поэтические. «Еще не покроются цветом деревья!» — так закручивал фюрер, но и у Жирика не хуже выходит — про то, как наши солдаты омоют сапоги в теплых волнах океана Индийского. Как же они туда доберутся, хочется спросить, есть же печальный опыт Афганщины? Или уже договорено с Саддамом Хусейном, что пропустит без выстрела? Но кажется мне, наш несчастный избиратель вылавливает из этих речей не так об Аляске, о Курилах или про омовение сапог в субтропических водах — пусть россиянину это и ласкает слух и поглаживает по национальному самолюбию, — но куда жаднее о хлебе, о жилье, о водке за шесть рублей литр и о том, что в стране будет порядок.

Говоря по-блатному, кто-то «лепит горбатого», выставляется «паханом», Жириновский — лепит фашиста. Да ведь это слово давно у нас не оскорбление, в морду за него не дают, Александр Проханов даже теоретически его реабилитировал. А не скажешь, что безоглядно смелый, в пору «застоя» он лишнего не произносил. И вот наш возможный будущий президент, ступив на землю Европы, первым делом спрашивает: «Во ист майн фройнд Герхард

Фрай?»* — и лобызает упитанного мясника и даже карикатурного коричневорубашечника. Пусть видят озадаченные немцы, что у неонацистов, как прежде у пролетариев, появилось на востоке свое отечество. А мы смекаем, что немецкие деньги Ленина, пожалуй, и впрямь — не фальшивка.

Когда же нравственные опоры у нас так сместились, что уже утрачен в народе иммунитет к фашизму, у нас, потерявших в кровавейшей с ним войне вроде бы 27 миллионов сограждан? Думается мне, что одновременно с утратой уважения к вымирающим поколениям фронтовиков. Когда издерганная очередями женщина говорит старику, «участнику ВОВ», — так нынче зовем мы славных защитников отечества: «Хоть бы скорей вы все перемерли!» — торжествует над нами развеянный пепел героев Нюрнберга, празднуют свою посмертную победу Геринг, Риббентроп, Кальтенбруннер. Интересно, довелось ли подобное услышать и пережить воинам 1812 года?

И все же не думаю, что голоса отданы фашисту. Они отданы тому, кто себя выказал безумцем, навевающим золотые сны. Помните? — у Беранже:

*Господа, если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навевает
Человечеству сон золотой!*

Разумеется, не одни романтические струны перебирает Жирик в сердцах избирателей, он затрагивает и болевые точки. И дело не в гипнозе, и ни при чем тут магия Кашипировского, будто бы ему помогавшего, это мы себя оправдываем, виновных в том, что избирателю уже не претит выслушивать о людях иного цвета кожи: «Там эти обезьяны недавно слезли с дерева, занимаются людоедством и поеданием нашей колбасы, надо прекратить по-

* Где мой друг Герхард Фрай? (нем.)

ставки колбасы в африканские страны, пускай жрут друг друга». Скажете, потакание низменным интересам обывателя? Но в самом деле, почему ему, обывателю, должно быть радостно десятилетиями содержать марксизм на Кубе? Почему изможденные и засиженные мухами дети благодатнейшей Сомали должны быть ему дороже своих детей, которых — еще подумать надо — чем завтра кормить?

Как ни печален итог, свидетельствующий о крайней глубине кризиса, но все же есть в этом итоге и нечто отрадное, что нелишне отметить. То, например, что выиграла не партия Жириновского, а сам Жириновский; это значит, у избирателя больше доверия личности и живому слову, нежели протокольной жвачке программ. Или то, что не помешал Жириновскому пятый пункт: сколько ни обыгрывалось, что мама у него русская, папа — юрист, а народ это пропустил мимо ушей, выказал себя в массе отнюдь не антисемитом; это, как мы и раньше догадывались, навязывалось и прививалось ему свыше, из соображений «государственных». Отметим и то, что впервые победил человек, не состоявший никогда в КПСС, это неучастие значительным числом населения возведено в достоинство, так что товарищи коммунисты, ежели не упоены собственным успехом до глухоты, должны бы расслышать сигнал тревожный, приглашение на свалку истории.

Наконец, признаем, что выиграл человек неординарный, во всяком случае любопытный, которого ни с кем не спутаешь. Он недурен собою, телегеничен, умело овладевает аудиторией, говорит с толпою зажигательно и завлекательно. Есть у него неутомимое упорство и воля. На месте проигравших я бы у него поучился. И если бы снималась новая киноверсия «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», я бы его пригласил на роль Остапа. Никто лучше его не произнесет: «Командовать парадом буду я!»

Между прочим, идея: почему б не дать ему и покомандовать малость? А чего, в самом деле, пусть попашет! Пусть он постарается — накормить голодных, расселить и обогреть бездомных, напоить страждущих чарующим

Откуда взялся Жирик?

национальным напитком по шести рублей литр. Пусть выполнит хотя бы одно из бесчисленных своих обещаний. Получится у него — и слава богу. А не получится — что ж, увидит тогда горькую усмешку своего избирателя, услышит его убийственный вопрос:

— Жирик, так где ж твоя Аляска?

Московские новости. 1993. 31 декабря
Радио «Свобода»

ТОЛЬКО ЧТО ЖЕ ОН СМОЖЕТ ОДИН...

К возвращению Солженицына

Что бы ни делал этот человек, почти любой его поступок может быть прочтен как жест, имеющий значение символическое.

Почему с Владивостока начинается его возвращение в Россию? Было бы логичнее изгнаннику высадиться на том же Шереметьевском аэродроме, откуда его вывозили под охраной, — при этом торжествовало бы законное чувство реванша. Но дело в том, что не изгнанник возвращается, который мог бы это сделать три года назад, возвращается отшельник, совершивший между делом кругосветное путешествие, возвращается писатель, прервавший свои труды ради того, что он считает важнее. И над кем, собственно, торжествовать ему? Над обитателями погоста у стен Мавзолея, двадцать лет назад состряпавшими свой позорный указ? Над братьями-писателями из гвардии секретарей, которые не защитили его и даже поспособствовали изгнанию и которым самой судьбой отмщено, чьи книги изъяты из обращения рыночной торговли, а капиталами распорядилась инфляция? Не победитель возвращается — та Россия, которую мы приобрели в результате общих наших усилий, наших действий или бездействий, не снилась и самым безжалостным преобразователям. И знакомство со своей милой родиной, навер-

ное, лучше начать с ее первых страниц, освещаемых солнцем, с первых часовых поясов.

Полвека назад арестованный на западе, он так же, как и тогда, возвращается в срединную Россию с востока. Об этом очевидном сходстве, но больше — о различии, я писал Александру Исаевичу в декабре, поздравляя с 75-летием. Показалось мне, читая его статью «Как нам обустроить Россию», — он несколько эйфорически видит свое будущее на родине, свою роль и участие в ее обустройстве. Я на это смотрел с надеждой, но и с опаской — нынешнее возвращение из Вермонта будет не легче, а много труднее, чем некогда из лагеря и ссылки. И тогда и теперь это возвращение не в ту страну, которую покинул. Но тогда его приняли дружественные руки, в том числе и наши — людей молодых тогда и по молодости не чересчур завистливых, приняли могучие руки Твардовского, который единственный захотел и смог пробить дорогу в печать «Ивану Денисовичу». А без этого не состоялось бы явление Солженицына или состоялось бы вовсе не празднично, и, может быть, закончил бы он свои дни в старческой психушке, подобно Варламу Шаламову. В России нынешней — вражда поколений небывалая, а командные высоты захвачены вполне бессовестными ситуантами, которые в трудные времена помалкивали и даже очень убедительно обосновывали свое невмешательство, а теперь, когда можненько, рвутся к почетным званиям, наградам и премиям ничуть не ленивее тех секретарей, что изгоняли его. Дорвавшись до власти материальной, они, естественно, замахиваются и на духовную — и тут Солженицын, никуда не примкнувший, избежавший всех мафий, всяческой стадности, которую называл Пастернак «прибежищем неодаренности», будет костью в горле, досадным конкурентом, которого постараются сообща свалить.

Оказалось, он не питает никаких иллюзий и на происходящее в России смотрит много трезвее, чем я мог предположить. В ответном письме, из которого я осмелюсь без согласия автора процитировать совсем немного, он пишет вот что:

«Да, я отдаю себе полный отчет, что возвращаюсь в Россию на тяжелый жребий; ничто не дается легко, все будет встречать сопротивление и злобу с разных сторон. И, может быть, в пределах моего жизненного срока ничто существенное и не удастся. Но надо попробовать...»

Что же такое он попробует? Еще строчка из его письма:

«Сегодняшнее бедственное положение нашей родины — необозримо, неисчерпаемо, неперечислимо».

Понятно, что именно это может заставить человека советливого прервать свои труды и поспешить на помощь родной стране. Только чем же он ей поможет?

Возраст не позволит выставить себя в президенты. Да и что может в России президент? Я сомневаюсь, что у Александра Исаевича по части рыночных отношений концепции более верные и прогрессивные, чем у Явлинского или Гайдара. Сотрудничество с какой-либо партией, разумеется, придаст ей веса, но за счет потери его у давшего ей свое имя. Так от веку складываются у нас взаимоотношения писателя и партии.

Все свои книги он уже написал. Их прочли — и ничто не перевернулось. Перевернется ли от того, что автор будет жить рядом со своими читателями? Однако и не пройдет незамеченным. К счастью или к сожалению, но люди склонны по-разному оценивать истины — в зависимости от того, чьи уста произносят их.

Всем известно, что брать взятки и лгать нехорошо, но есть люди, в присутствии которых это почему-то особенно неудобно делать. Не то чтобы стыдно, а неудобно как-то, не гладко сходит с рук подличать, занимать не свое место, навязывать себя в лидеры огромной стране с многовековой ее историей, великой культурой. В свое время роли нравственных судей, точнее сказать — нравственных свидетелей, сыграли Твардовский и Сахаров. Теперь я склонен думать, что Россия не останется безразличной к присутствию Солженицына. По крайней мере там, где он находится, уже неинтересно слушать Жириновского, хотя говорит он занятно. Вот что и предстоит

Только что же он сможет один...

Солженицыну попробовать, вот в чем и будет заключаться миссия человека, крещенного войной, восемью годами несвободы, опасной болезнью, изгнанием из отечества и теперь возвращением к ограбленному дому, а все-таки не сдавшегося, не поднявшего рук перед тяжестью испытаний. Только одно следует понять — исполнить эту миссию он не сможет без помощи всех нас.

Не об идеях речь — и, наверное, ничего нового из его уст мы не услышим, но, может быть, тверже усвоим, что без нравственного стержня невозможна не только жизнь духовная, но и прежде всего жизнь хозяйственная, любое достойное существование.

Будет восточный базар, говорят экономисты. Но я думаю, и его не будет. Там, где как будто даже принято плутовать и где это составляет неотъемлемую прелесть купли-продажи, там вовсе не беспредел, там свой закон и порядок — старинная духовная традиция, много выше наших теперешних.

Итак, быть костью в горле, быть режущей соринкой в глазу, быть песчинкой, царапающей общественную совесть, — много это или мало? Бесконечно много, если общество сознает нужду в моральном авторитете. И бесконечно мало, если оно единственного желает — чтобы ему не мешали соскальзывать к пропасти.

Вот почему, созная всю чудовищную трудность задачи, выпавшей человеку очень немолодому и усталому, я желаю ему: «Счастливого Вам свидания с Россией, обоюдного с нею согласия. Хлеб да соль!»

Русская мысль. 1994. 2—8 июня
Московские новости. 1994. 5—12 июня
Радио «Свобода»

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?

Пятнадцать лет назад, в январские дни 1980-го, на квартире у Сахаровых сочинили мы знаменитый «афганский» документ «Хельсинкской группы» за № 119, призыв к мировой общественности сделать все возможное, чтобы пресечь советскую интервенцию. Подписали то обращение восемь человек, затем еще шесть, крохотная горстка, но и ее было достаточно, чтобы разбить безгласное «единодушное одобрение»; к тому же и мировая общественность была тогда немножко другая. Она назвала нашу «братскую помощь» агрессией, а «бандформированиям» моджахедов присвоила статус защитников отечества и веры, которым следует помочь оружием, продовольствием, базами в соседнем Пакистане, военными консультантами и «врачами без границ». Сегодня чеченцам так не помогает никто, и мы бы не знали, к кому, собственно, мы обращаемся.

Патентованный демократ Ричард Пайпс находит российского президента даже обязанным навести порядок в Федерации, притом всеми средствами, иначе ведь и другим тоже захочется чеченской независимости, а тогда — полный распад. Президент США Билл Клинтон считает инцидент в Чечне внутренним делом россиян, в которое не следует вмешиваться. Бундесканцлер ФРГ Гельмут Коль

и министр иностранных дел Клаус Кинкель хоть и опечалены человеческими жертвами и материальным ущербом, но не берутся поговорить с Ельциным по-мужски, должны же они заботиться о климате сложившихся отношений Германии и России. Так четыре весьма представительных джентльмена выражают сегодняшнее отношение Запада к обоюдной трагедии Чечни и России. Ричард перенимает логику наших продавщиц, для которых индивидуальный подход к покупателю был бы концом света («вас таких много, а я одна»), Билл повторяет заповеди Брежнева о невмешательстве в наше внутреннее дело — давить инакомыслящих, Гельмут и Клаус не хотят осердить Бориса.

И положение чеченцев, да и наше тоже, было бы совсем безнадежным, если бы мы сами не изменились за прошедшие годы — и так разительно, что осудившие агрессию уже составляют 57 процентов опрошенных, в статистике это считается подавляющим большинством. Журналисты не воспевают подвиги армии и не оправдывают ее потерь, сама армия выказывает явные признаки нежелания воевать, генералы отказываются командовать наступлениями и выходят в отставку, не желая запятнать честь мундира (Эдуард Воробьев). Такого в пору Афганистана не было. Оказалось, есть еще генералы в России! К сведению некоторых штатских, генерал — это не только чин или звание, это поступок и характер.

А было ли, чтоб осуждали интервенцию коммунисты? Вот и для них уроки Афгана даром не прошли, им уже не кажется, что покорить бедную и необустроенную страну легче, нежели богатую и благоустроенную. А если ничему не научился Жириновский, так ведь фашизм у нас еще так молод! Что в самом деле печально, то, что уроки истории не усвоены президентом Ельциным и его присными. Трудно бывает нам разобраться в хитросплетениях политики, но есть закон простой и однозначный: никакого позитивного решения любой проблемы не добиваются оружием. Война — самая бездарная из всех такого рода попыток, и тут не должно сбивать нас с толку учение Ильича о войнах справедливых и несправедливых. Необходимейшие для

России победы над Бонапартом и Гитлером все же не принесли ей ни счастья, ни процветания, никакой выгоды. Применение же меча для развязывания запутанных узлов — занятная, не больше того, легенда.

Говорят теперь о Ельцине как о политике опасном и непредсказуемом. Опасный — да, но предсказание о нем было, и знаменательное, только не всеми отмеченное: снос Ипатьевского дома в бывшем Свердловске, уничтожение национальной реликвии, которую недостало характера Борису Николаевичу отстоять. А ведь посчитался бы с его упрямством Леонид Ильич, сам побывавший некогда секретарем обкома. Ныне точно так же недостает характера и упрямства противостоять алчным интересам не чересчур многочисленных людей, которым не претит выстраивать свое благополучие на страданиях многих других людей и даже целых народов. И с горьким чувством прощаемся мы с тем великолепным президентом, который в августе 1991-го взшел на танк и пожал руки танкистам и объявил наступившей эру демократии в России.

Горько желать поражения своему народу, своей армии. Но именно отступления перед войсками Джохара Дудаева я желаю в новом, 1995-м году. Потому что два последствия могут быть у нашей возможной победы — неизвестно, какое страшнее. Первое из них касается президента: надеется ли он после этой кровавой, осуждаемой едва не всем обществом авантюры победить на следующих выборах — досрочных или очередных — или он выборов не хочет? А тогда чего же он хочет? А чего могут хотеть все умученные неудачами политики — чрезвычайных полномочий, неограниченной власти. Чтобы нам забыть о выборе между двумя или несколькими и вернуться к выборам одного из одного, притом — пожизненного.

Другое последствие видится мне в тех чеченских камикадзе, которые обвязываются гранатами, чтобы кидаться под русские танки. Война в Чечне, одновременно и гражданская, и национальная, приобретает еще и черты религиозной войны, джихада. Не забудем — в Афганистане впервые ислам одержал военную победу над

Третья мировая?

«иноверцами», теперь его воинственный дух не смирится никогда. И добровольцы со всего Кавказа уже спешат разделить судьбу несчастной Чечни. Если не прекратить немедленно эту войну, кому-то показавшуюся трехдневной прогулкой, она вполне может перерасти в мировую — на сей раз между странами ислама и странами христианскими. Участия, неизменно жертвенного, в третьей мировой войне за один лишь XX век не перенесет Россия, погибнет как государство и как семья народов.

Московские новости.
1995. 25 декабря—1 января

МЫ ЖИВЁМ В СТРАНЕ,
ГДЕ ПОКАЯНИЕ ВСЕГДА ЗАПАЗДЫВАЛО,
НО НИКОГДА
НЕ ОКАЗЫВАЛОСЬ ИЗЛИШНИМ

Речь на встрече старого Нового года
и празднике журнала «Знамя»

Литературные премии дают награжденному то преимущество, что его хотят послушать. Награжденного дважды — очевидно, внимательнее вдвойне. Лауреату же приличествует благодарить устроивших ему «именины сердца», и я не уклонюсь от традиции — в сущности, довольно приятной, только прошу извинить меня, получающего премию впервые в жизни, за возможные нарушения протокола.

Я прежде всего благодарю трибуну, представившую меня немалой аудитории, то уникальное явление, которое называется российским толстым журналом. На его страницах вы видны отовсюду, как ни на одном книжном прилавке. К тому же прилавку вы безразличны, ему бы скорее от вас избавиться, журналу — хочется вас приобрести надолго, и он группирует вокруг себя авторов, которые уже поэтому должны друг с другом раскланиваться и иногда собираться в застолье. Стараниями Григория Бакланова задубелое кожевниковское «Знамя» сделалось первым журналом в стране, и таков был посыл, что и поныне сохраняется его лидерство. В конце концов, моего «Верного Руслана» приютил бы кто-нибудь другой, но когда это требовало некоторой смелости и усилий, позвонил в мою эмигрантскую Тмутаракань именно Бакланов. Естественно было мне сохранить верность «Знамени», когда его подхватили критики Наталья

Мы живем в стране, где покаяние всегда запаздывало,
но никогда не оказывалось лишним

Иванова и Сергей Чупринин. (Кадетское воспитание велит мне упомянуть даму первой.) Их гостеприимство и радушие мне трудно забыть, не меньше значило одобрение их предшественника, фронтовика и автора военной прозы.

Далее моя благодарность обращается к методу, который никак не помешал, а скорее помог роману «Генерал и его армия» снискать интерес читателя. Это все тот же добрый старый реализм, говоря по-научному — изображение жизни в формах самой жизни. Наши суетливые Бобчинские и Добчинские по обе стороны Атлантического океана, спешащие хоть конец света объявить радостно, лишь бы первыми, этот постылый реализм уложили в гроб, отпели и погребли, справили по нему поминки. Но вот стоило ему пошевелиться, и повышенный читательский интерес привлечен к роману, вполне консервативному, в котором нет привычных уже авангардных выкрутасов и постмодернистских загогулин. Похоже, надоело читателю эти выкрутасы и загогулины, точнее — надоело делать вид, что они ему интересны, захотелось чего-то внятного, где были бы на месте начало и конец, завязка и развязка, экспозиция и кульминация, все по рецептам старика Гомера. Секрет прост: что жгуче интересно автору, то будет и читателю. Не обязательно таинства секса, не обязательно скандальная «ненормативная лексика»; в журнальном варианте нет постельных эпизодов, ни даже поцелуя в губы, и кажется, только дважды — в диалогах персонажей, — прорывается нечто не для любых ушей. Да и за эти два раза я прошу извинения. Толстому, при описании войны, где люди выражаются чуть поглубже, чем на светских раутах, не понадобилось и одного. Достойно внимания также, что интерес проявлен к шестидесятнику, из того все не уходящего поколения, которое деятелям авангарда, постмодерна и андерграунда хочется перестрелять. Не туда наступаете, молодежь за сорок с лишком. Убейте в себе желание убивать, оно ведет к бесплодию, лучше усвойте, что все уходы от реализма кончаются покаянным возвращением к нему. Этот единственный укорененный в жизни ствол будет еще века держать и питать соками зеленеющую крону.

Я благодарен также и критикам, которые так дружно, несмотря на свои междоусобицы, поддержали мою рискованную попытку остаться старомодным. Да будет порицаем тот, кто определил место критики в лакейской. Ничего подобного, ее место — в гостиной, у камина, в покойных креслах, со стаканом виски в одной руке и сигарой в другой. Ее участие в литературном процессе по-особенному ощущает изгнанник, которому не видны лица его читателей и только статьи и рецензии приносят благую весть, что он не забыт, что его ждали.

Что касается другой премии — за стремление к идеалам просвещенного патриотизма, то, я надеюсь, учредители уже знали мою позицию, изложенную в новогодних «Московских новостях». Сегодня просвещенный патриотизм сводится к тому, чтоб не желать победы своей родине. Чем так провинились они перед нами, гордые чеченцы, что мы их все покоряем и покоряем, что Старший Брат все требует любовь младшего и добивается лишь законной ненависти? То, что творится вновь под небом воюющей России, показывает нам, в какое зыбкое время мы живем и как прост переход от мира к бойне. Боюсь, мы еще увидим, как вся страна пожелает мира, а война будет продолжаться, потому что так пожелает один, от которого все зависит, и те немногие, кто его окружает и кому это выгодно. А в основе непостижимого упрямства — даже не генеральская дурь, которая на самом деле есть разновидность русского ума, но особая обкомовская спесь, порождение семидесяти советских лет.

Получив слово, к кому обратиться его, кроме вас, кто мое мнение и без того разделяет? Может быть, к женщине, которой надлежит быть началом умиротворяющим, но чьего влияния мы до сих пор не ощутили? А ведь Вы, Наина Иосифовна Ельцина, не только первая леди Российской Федерации, должна заботиться обо всех в ней живущих, Вы еще и жена главнокомандующего. Фельдмаршал Кутузов оценивал жену главнокомандующего в две дивизии, так высоко ставил ее роль в успехе или неуспехе кампании. Есть же в России традиция самостоятельного участия женщины, жены, в политической жизни, зачастую независимого от

Мы живем в стране, где покаяние всегда запаздывало,
но никогда не оказывалось лишним

позиции супруга. Так жены декабристов, не разделяя экстремизма своих мужей, едва ли зная об их замыслах, выиграли сражение, ими проигранное. Так великая княгиня Елизавета Федоровна вошла в камеру террориста и простила того, кто сделал ее вдовой. Так в недавние годы жена Сахарова ему нередко противоречила — и тем помогала найти решение. Я это наблюдал и свидетельствую. Супруг Ваш производит впечатление человека, уже неспособного слушать никого, кроме своих неведомых нам информаторов; и разве только жена, которую он не заподозрит в интригах и в желании отобрать власть, сможет ему раскрыть глаза. Вас не видно в дорогих магазинах модной одежды и косметики, но не думаю, чтобы Вы оставались равнодушной и бездеятельной к тому, что могли бы увидеть по телевизору. Или российское телевидение Вам не показывает то, что ужасает весь мир? Так попросите внуков настроить Ваш транзистор на любую русскую станцию. Вы услышите и поймете, что война уже проиграна морально — в тот час, когда не российский президент, а чеченец Дудаев, имеющий право и обязанный сопротивляться, призвал свои войска прекратить борьбу. Но можно, сделав ответный благородный шаг, все же сохранить большее, чем президентство, для некоторых большее, чем жизнь, сохранить — честь. Мы живем в стране, где покаяние всегда запаздывало, но никогда не оказывалось излишним.

В заключение моей затянувшейся речи мне пора наконец поблагодарить наградивших меня — «Книжную палату» и Совет по внешней и оборонной политике — за их, наверное, трудный выбор. И напоследок вас благодарю, мои читатели и коллеги, набравшиеся терпения меня выслушать. Я всем вам желаю безбедного года, а себе — возвращения.

Нидернхаузен

Передано по факсу

Русская мысль. 1995. 19—25 января
Знамя. 1995. № 3

ЧТО ЖЕ ОНА, ПОДЛЯЯ, СДЕЛАЛА?

Чем дальше она уходит от нас, майская Победа, тем более вырастает в наших глазах. В последний ее юбилей, еще принадлежащий веку двадцатому, уверенно можно сказать: Великая Отечественная война была самым значительным в этом веке событием истории России. Пожалуй, Октябрьская революция, наш мир перекроившая до неузнаваемости, и та с нею не сравнится ни размахом, ни числом участников, ни своими многими последствиями, среди них и благотворными. Если поискать метафору, позволившую бы нам сопоставить эти два события, то октябрьский переворот, вероятно, покажется кратким мигом, когда захлопнулись, лязгая, челюсти капкана, Великая Отечественная — предстанет началом долгого, кровопролитного, богатого жертвами освобождения.

В сущности материальная история Октября, привязанная своими вехами к ноябрю, самому противному месяцу в году, в ноябре и закончилась — в тот промозглый день 1989 года, когда толпы народа принялись рушить одно из самых нелепых и позорных сооружений — Берлинскую стену. Пожалуй, следовало бы ее оставить — хотя бы фрагментами — для вечного напоминания, что приносит с собою коммунизм помимо лозунгов всемирного братства, но тогда бы толпа непременно разрушила что-

нибудь другое, и это было бы жалко. Духовная же история Октября скончалась еще раньше — когда разрозненные анекдоты о Ленине сложились в пышную ветвистую лениниану. «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», — не кем-нибудь, а Марксом было сказано. И так велико желание расстаться, что черный юмор истории не щадит даже мучеников. «Бьется в тесной печурке Лазо», и народная симпатия выводит в советские Уленшпигели 32-летнего утопленника Чапаева. «Василий Иванович, — взывает к нему анекдот вполне сочувственный, — брось чемодан, не выплывешь!» Великая Отечественная война таких персонажей не знает. Самый короткий ее анекдот — орден «Победа» Брежневу — это все же из другого времени, еще одна гримаса «застоя», даже и не смешная.

Октябрь не имеет будущего, Великая Отечественная перешагнет порог века, и в новом тысячелетии напишут книги о ней рожденные после Победы. Будут меняться взгляды на нее, вызревать новые концепции — по мере того, как она будет открывать одни свои тайны и заманивать другими. Одну концепцию уже пора бы сменить. Много лет мы все твердим о нападении «военной машины гитлеризма», но не одни военные приглядели наши земли до Урала, целый народ, угнетенный своим жизненным пространством, уже рассчитал на них свое хозяйственное будущее, ждал из полунищей страны богатых посылок; время сказать, что против нас и воевал народ, из самых великих европейских, умелый, трудоупорный, с высокой обучаемостью, отважный, выносливый, свято поверивший в своего вождя и в «новый порядок», который следует принести на штыках и броне и назначить другому народу, — как и мы верили своему вождю и тому, что нам выпало осчастливить мир новым откровением. Народная война была с обеих сторон — и это не менее страшно, чем война гражданская. Плата, принесенная с той стороны, не так мала, как принято думать. По Францу Гальдеру, начальнику Генштаба сухопутных сил, экономные немцы в летние успешные месяцы 1941 го-

да теряли убитыми по тысяче в день, в позднейшие неуспешные больше, а сколько теряли мы, говорить не станем — и чтобы лишний раз не расстраиваться, и потому, что мы их до сих пор не подсчитали, как следовало бы. Еще желтеют кое-где по лесам и болотам кости непогребенных, и, значит, война, согласно некоторым теориям, вообще не считается законченной.

Но отчего же, когда заходит речь о ней, светлеют лица фронтовиков, отчего слезы печали? Разве что о Курской дуге избегают говорить, но то была, как мне объяснил один побывавший там, «не война, а какая-то молотилка». Стало быть, война в ее нормальном облике, если так позволительно выразиться, имеет не одни лишь мрачные и страшные стороны, было и нечто, о чем вспоминается с улыбкой и теплотою. Никак не могу согласиться с Солженицыным, что победы нужны правителям, для народов же благодетельны поражения. Эта победа была нам нужнее, чем любому другому народу, чтоб не считать себя быдлом, которым всякий проходимец может повелевать. Как нельзя быть свободным, угнетая другой народ, так невозможно и рабом оставаться, противясь порабощению иноземному. Рассказывают нам, что в сырых окопах, под снегом или под дождем — атмосферным и пулеметным, было тогда познано истинно человеческое меж людьми — дружба, взаимовыручка, сознание своей необходимости ближним. Там познали мы истину горькую — что, наверное, всякая война обойдется нам большой кровью, это, пожалуй, наша национальная черта, мы иначе не воюем, и об этом должны были помнить генералы, готовившие план блицкрига в Чечне. Познали и другое: что Победа была делом наших рук, а не получена из рук вечной нашей кормилицы — партии. Отказавшись принять на себя всех мертвецов и всех нерожденных, даже подсчитать их точно, вправе ли она считать себя совестью нации? Так явилось нам самосознание и так началось освобождение от ложных воззрений, искалечивших нашу жизнь.

Будущему исследователю не покажется ли странным, что первым поспособствовал этому освобождению глав-

ный палач и тюремщик, позднее присвоивший себе все лавры? Такие лучше всего соображают со страху, и он первым сообразил в дни поражений, панического бегства и трехмиллионной сдачи в плен, что не так много поляжет животов за ценности передового учения, иное дело обида национальная, и поменял флаги, вернув из забвения «великие тени наших предков». На этом пути трудно остановиться, и свою спасительную идею он довел до абсурда, преследуя космополитов и всех сомневавшихся, что изделие Можайского могло оторваться от земли; но начало было благое — и оно целиком обязано войне. Есть мнение — и все чаще теперь высказывается, что лучше было бы нам покориться нашествию, был бы сейчас на Руси порядок (о, как жаждем мы его, самые беспорядочные на свете и находящие в беспорядке особую прелесть и блаженство!), но те, кто так считает, лучше бы вспомнили, как бы они реагировали на плевок в лицо, на любое оскорбление, унижение достоинства; почему же наши дедушки и бабушки обязаны были — и во имя чего — вытерпеть зрелище публичной порки или повешения с недельным запретом хоронить трупы? Яснополянский миролюбец, учивший нас непротивлению злу насильем, и тот не возражал, что бывает святая обязанность взять в руки первую попавшуюся дубину.

Трудно, почти невозможно представить себе, как было бы, если б не эта война, как утвердилась бы, закаменела на века власть большевиков. Есть, правда, мнение и другое — что, победив, тем спасли сталинский режим. Это похоже на правду, но сдается мне, сам товарищ Сталин так не думал. По крайней мере не повел себя, как триумфатор, спасенный своей армией, скорее как Тамерлан, которому и победа не праздник, если не попировать на раздавленных телах побежденных. Изменника Власова, напугавшего его до дрожи, он, разумеется, не мог не казнить лютой казнью, тут еще помнилось, как считали немцев избавителями и встречали хлебом-солью, покуда они не доказали, что не уступят большевикам; тут следовало самую мысль удавить, что не все лад-

но в нашем воспетом отечестве, и настолько неладно, что можно принять и помощь врага. Но было ли так обязательно удавливать старичков-генералов гражданской войны — Краснова, Семенова, Шкуро? Ведь они социализму не присягали и не могли поэтому ему изменить. Да и своих генералов пощелкали неясно из каких выкладок — Понеделина, Гордова, попросту вздорного Кулика. Право, больше бы выгадали, проявив милость ко всем. Да не о престиже была забота, это мы переносим на наших правителей собственные дряблые представления, а они в корень зрят — и правы по-своему. А на каких радостях учреждены были 25-летние сроки и каторга? Черствые жестокие полководцы Рима, «солдатские императоры», уважали этикет победителя: на съедение львам отдать можно пленных, своим полагались бесплатный хлеб и зрелища. Полагалось, по случаю праздника, что будут освобожденные из темниц, кого-то избавят от казни. Многие ли помнят, на какой день после Победы была у нас массовая амнистия? Она была на 22-й день по смерти диктатора, 27 марта 1953 года — широчайшая для блатных, непролазно узкая для «врагов народа». И понадобилось еще три года, чтоб повалили из лагерей миллионы, загнанные туда торжествующим победителем. Вина их была велика и непростительна — все то же пробудившееся самосознание. Победивший народ стал страшнее, им стало труднее вертеть, и следовало бы ему скорее забыть о победе. Вспомним же, 9 мая не всегда было праздником, долгие годы — по желанию самих трудящихся — оно было рядовым буднем. И вспомним, что вместе с расправой над военными начался и новый семестр воспитания интеллигенции — постановлением о «Звезде» и «Ленинграде».

Чем так допекла его в дни войны интеллигенция? Казалось бы, терпела, голодала наравне со всеми, когда надо — поднималась в атаки и увлекала других. Попробую ответить на уровне гипотезы, догадки. В мемуарах маршала Жукова отдается должное немецким генералам — высокообразованным, знающим свое дело, дерз-

ким и самостоятельным в своих решениях; высказано одобрение немецкому солдату — храброму, самоуверенному, способному поставить себе самому боевую задачу и выполнить ее средствами достаточными и разумными. А вот офицерское звено маршал не жалуется — оно чванливо, спесиво и в то же время робко в принятии на себя ответственности, целиком в плену инструкций и циркуляров. Косвенно можно так понять, что маршалу хотелось бы в нашей армии отметить, напротив, именно офицерское звено. Разумеется, все конвенансы исполнены в отношении генералов, сказаны самые высокие слова в адрес нашего жертвенного солдата, так густо полегшего от Немана до Волги и обратным путем до Эльбы и Шпрее, но в качестве главной командной фигуры все же справедливее возвести на пьедестал наших «навечно 19-летних», наших мальчишек-лейтенантов, недоучившихся в институтах и пошедших добровольцами, нашего Ваньку-взводного, самого большого начальника, имеющего в подчинении больше людей, нежели командарм, управляющий пятью-семью комдивами. Этих интеллигентных мальчишек, вытянувших безнадежную войну, и держал в злой своей памяти лучший друг молодежи, когда топтал и оплеывал почитаемых ими Ахматову и Зощенко. И не только мальчишек держал, но и тех высоколобых специалистов, загнанных в «шарашки», кто за вторую миску похлебки, за внеочередное свидание с женой сделали ему, вседержителю, лучший в мире танк, лучший самолет-штурмовик, лучшую полковую пушку, лучший автомат ПППШ — ну как было не отомстить им, что не они виноваты, если этого лучшего у нас так долго оказывалось меньше, чем у противника — худшего. Нормальный мозг отказывается это понять, но мы имели счастье подчиняться мозгу вывихнутому, едва ли не больному.

А за что, спросим, так ненавидел он деревню? Зачем еще больше было ее закрепощать, не отменить хоть закона о колосках? Она ли не клала головы в нужных количествах? Был знаменитый случай с матерью, отдавшей войне десять сыновей, всех, кого родила и вырастила. И не

так эта покорная мать изумляет меня, как тупое безразличие военкомов, отнимавших у нее очередного сына по убытии предыдущего: ни один не догадался (и авторы чувствительного документального фильма не посмели сказать), что надо же оставить ей хоть одного, хоть самого младшего не брать на войну, даже запретить ему, если рвался добровольцем. В проклятой царской России, с ее 25-летней солдатчиной и шпицрутенами, не забривали единственного кормильца. Вот символический образ нашей деревни, тем ему и ненавистной, что была покорна, что несла вину жертвы, а главной вины все же за нею не было — что не смогла накормить армию, что приходилось нашим фронтовикам идти в атаки, разделив 400 граммов американской тушенки на четверых (а мы им пожалели банки шпротов без очереди).

Они спасли сталинский режим, потому что спасли мир. Но они же этот режим и погубили, позволив всем нам взойти на такую ступень сознания, куда ему было за нами не поспеть, разве что тащить за собою в пропасть. И первой мыслью Никиты Хрущева (а есть догадки, что даже Лаврентия Берии), когда он сменил Сталина, было как можно скорее отмежеваться от него, с этого и началась «оттепель». И Михаил Сергеевич, затеяв отправить на заслуженный отдых наших засидевшихся геронтов и тем начать свою перестройку, разве не был родом из военного детства? «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?» — спрашивает поэт. А то и сделала, что мы стали другими.

Вижу — во весь экран — лицо Веденкина, молодого фашиста, лицо холеное, сытенское, эллипсом, с широко расставленными глазами, чем-то наводящее на подозрение, что у владельца нелады с гормонами; изящный дамский ротик с наслаждением изрыгает в камеру: «Их не так много, и мы их сразу всех расстреляем, при полном, уверяю вас, одобрении народа». Кого так люто он ненавидит, я не знаю, — ну, «дерьмократов», кого же еще, — но знаю точно, что при Иосифе Виссарионовиче, которого, без сомнения, чтит Веденкин, его бы за такие речи расст-

Что же она, подлая, сделала?

реляли в 24 часа, не заводя следственного дела. Этот, с позволения сказать, мужчина выказывает свою смелость, ничем, собственно, не рискуя. Чтоб не расстреливали Веденкина, чтобы он мог безнаказанно выражать свою собачью злобу на мир, и погибли солдаты наши и офицеры на крутых правобережьях европейских рек, на ступенях рейхстага. Это она тоже сделала, война!

Сколько еще осталось у нас фронтовиков, знают, наверное, военкоматы, но сурово хранят государственную тайну. Судя по тем льготам, что сыплются на них в последнее время, осталось немного. Вот недавно всех наградили орденами «Отечественной войны», оскорбив тем самым не доживших, еще один короткий анекдот, в придачу к брежневской «Победе». Время таких анекдотов подходит к концу — и это отчасти жалко. Может быть, еще пять-шесть лет будем видеть их редешные группки в скверике у Большого театра, послушаем их рассказы о том, какой зверский мороз был, когда резали проволоку, лежа в снегу, или еще про что-нибудь столь же занимательное, отчего-то вызывающее у них слезы. Демократия наша пусть никогда не забудет о них, заложивших первый камень ее здания. Они так надеялись, что их война будет последней. Но, кажется, последним будет нынешний юбилей. Другого такого юбилея, с участием живых, мы, пожалуй, и не соберем.

Московские новости. 1995. 16—23 апреля

Радио «Свобода». 1995. 9 мая

Бостонское время. 1995. 10 мая

ВЕЧЕР В БОСТОНЕ

Ответы читателям

Спрашивают: «Кто ваш любимый писатель? Не Набоков?» Отвечаю — Толстой. Что до Набокова — это огромный мастер, но, к сожалению, произведения его зачастую расходятся с нравственной традицией русской литературы. В романе «Дар», вы помните, он издевается над Чернышевским. Там было над чем поиздеваться, но Набоков высмеивает такие его поступки, такие черты характера, за которые человека можно только уважать. Вот он описывает — с какой-то, непонятной мне, ухмылкой — гражданскую казнь Чернышевского, его спокойствие на эшафоте, которое кажется автору тупым равнодушием, или как Чернышевский сидит 14 лет в Вилуйске и свою серебряную ложку, черпая кашу из миски, уже наполовину стер, тогда как ему достаточно сказать несколько слов покаяния, извиниться перед вилуйским губернатором, перед царем, и его освободят, он вернется в Петербург, к своей деятельности. В чем другом, а тут-то как раз этот деятель и велик, он не просит прощения за свои высказывания, за убеждения, это было бы для него смертью личности. В «Приглашении на казнь» жена осужденного приходит к нему в тюрьму — и попутно заводит шашни с тюремщиками, даже как будто спит с его будущим палачом. Простите, но это

неправда. Это, как говорил Белинский, «клевета на человеческое сердце». Какая б она ни была, эта жена, но она пришла к мужу-смертнику, что-то же толкнуло ее прийти... Такие вещи писатель себе позволить не может, не должен...

Читаю вопрос: «Вашими коллегами на соискание премии Букера были авангардисты. Как вы к ним относитесь?» Отвечаю: моими соперниками были как раз реалисты: Олег Павлов и Василий Федоров. И в речи на церемонии я сказал, что по крайней мере один из них мог бы получить эту премию — и надеюсь, получит ее в будущие годы, — просто на этот год расположение звезд сложилось в мою пользу.

Вопрос — о посмертной публикации дневников Варлама Шаламова в «Знамени». Я должен вас ввести в курс дела, поскольку суть вопроса, как я понимаю, сводится к критике Солженицына в этих дневниках. Шаламов там несколько раз нападает на Солженицына, обвиняет его в спекуляциях на очень больных темах, в жизни по лжи. Я имел честь быть знакомым с Варламом Тихоновичем Шаламовым, когда работал в «Новом мире» — единственном журнале, куда Шаламов мог прийти, где он был желанным гостем, хотя мы не напечатали ни одной его строчки. Он приходил и приносил нам по рассказу в неделю из своего знаменитого колымского цикла — просто чтоб мы с Алексеем Ивановичем Кондратовичем, зав. отделом прозы, их почитали, без всякой надежды, что Симонов отважится это напечатать. И еще до появления «Ивана Денисовича» я имел уже некоторое представление о том, что собой представляет лагерь, что такое архипелаг ГУЛАГ. Так что «Иван Денисович» не был для меня ошеломительной сенсацией. На XXII съезде КПСС Твардовский выразил желание напечатать что-то о лагерях, намекнул, что хорошо бы иметь в портфеле такое произведение, да, к сожалению, нет его пока.

Солженицын пишет, что он этот зов услышал и решился дать своего «Зэка Щ-854». Ну а мы с Кондратовичем вспомнили о «Колымских рассказах» Шаламова. Твардовский, однако, увлекся уже повестью рязанского учителя и решил «пробивать» ее. У него были здравые, на мой взгляд, основания. Нужно было первым дать такое произведение, которое бы объяснило тем, кто ничего об этом не знал, не ведал, что такое лагерь. Нужен был *путеводитель по лагерю*. И таким путеводителем оказался «Иван Денисович». Эта вещь сообщала читателю все необходимые реалии и позволяла составить достаточно полное представление о чудесном архипелаге. Ни один рассказ Шаламова такого представления не дает, нужно взять несколько рассказов — может быть, два десятка, — чтоб получилась более или менее ясная картина. Да, это очень сильная литература, в ней чувствуешь ледяное дыхание Колымы. Но — существует цензура, и она непременно выгрызет что-то, «отвоюет» со снайперской точностью один-два рассказа, чтоб все запуталось и сделалось непонятным. Вещь Солженицына прогремела, принесла ему мировую славу, а бедный Варлам Тихонович так и не дождался увидеть свою книгу изданной на родине. Он, если я не ошибаюсь, увидел лишь западное издание «Колымских рассказов», но, кажется, уже не смог оценить свою победу по достоинству, поскольку это было совсем незадолго до его смерти. Это печальная и страшная судьба. И вот человек такой судьбы бросает свой упрек собрату, жизнь которого сложилась лучше, обвиняет его в отходе от нравственных принципов, в спекуляциях, в том, что свое заключение он превратил в товар, который можно продать выгодно.

Мне в связи с этим вспомнилась статья Дмитрия Писарева «Популяризаторы отрицательных доктрин», где он говорит о двух типах человеческого поведения. Говорит он о людях типа Джордано Бруно или Яна Гуса, которым «был прямой расчет идти на костер», потому что никаких других доказательств своей правоты у них не было. Обы-

ватель, видя, что человек пошел в пламя за свои убеждения, задумывался, что, наверное, что-то же истинное в этих убеждениях есть, не просто «за так», из пустой амбиции, идут на такую страшную смерть. А, скажем, у Галилея уже такой необходимости не было. В его время публика верила уже не столько клятвам, сколько научным доказательствам. Так что Галилей мог и отречься перед инквизиторами, признать, что Земля не вертится, — ну, а попозже, в других обстоятельствах, если верить легенде, мог и обратное утверждать: нет, все-таки вертится! Тем самым он продлил свой век и высвободил себе время для научных занятий. И в конце концов он только выиграл. Далее Писарев говорит о Вольтере, у которого был в характере этакий «чичиковский элемент». При всем том, что Вольтер был несомненный боец, он был еще и замечательный проныра. Он переписывался со всеми монархами Европы, льстил им, всячески старался им понравиться, получал от них богатые подарки, деньги, титулы, ордена, — и все же ни у одного благодетеля не возникло мысли, что они могли бы подкупить Вольтера, то бишь заставить его отступить от своих убеждений. Так вот, сравнивая путь Шаламова и путь Солженицына, я вижу, что один из этих путей — гибельный, тупиковый, но предельно честный, благородный, вызывающий к себе огромное уважение, а другой путь — победительный, выигрышный, хотя при этом, быть может, и оказывается несколько нарушенной нравственностью. Я никого не осуждаю, не осмеливаюсь указывать, чей путь — правильный, пусть каждый выбирает себе по душе. Но хочу заметить одно: когда выбираешь второй путь, то не надо призывать своих соотечественников «жить не по лжи». Это их способ выживания. Да жизнь, по-моему, и невозможна совершенно без всякой лжи. Вот и в животном мире без нее не обходится. Когда птица уводит охотничью собаку от гнезда, притворяясь полудохлой и такой доступной, она ведь тоже лжет, но это ложь благородная, ложь во спасение.

Спрашивают о месте Солженицына в сегодняшней России. В газете «Московские новости» и в «Русской мысли» я приветствовал его возвращение, из своего изгнания пожелал Александру Исаевичу хлеба-соли на родной земле, а еще пожелал ему стать чем-то вроде скребущей песчинки для нашей общественной совести. Это, если помните, у Карела Чапека сказано, что писатель должен быть «скребущей песчинкой в отлаженном механизме государства». Ну а в нашем-то, неотлаженном, тем более. И это — не мало для писателя, это огромная роль. Однако ж, по приезде Солженицын сделал, на мой взгляд, три крупные ошибки. Он, во-первых, устроил какую-то невероятную помпу из своего прибытия. Меня-то поначалу очень привлекло, что он решил заехать в Россию с востока. Ну, думаю, как прекрасно — совершил виток вокруг земного шара и вернулся, против всех ожиданий, не с той стороны, откуда его «выдворили», не стал добиваться копеечного «реванша». Теперь, думал я, он сядет в поезд, как любой нормальный гражданин, займет там два купе, ну три, ну четыре, и будет себе ехать и смотреть Россию. А оказалось, что это какой-то зафрахтованный, отцепляемый на некоторых станциях вагон, как у Фрунзе или у Троцкого, только что не plombированный, и к этому вагону сходятся для докладов, сгибаются в поклонах. По-человечески я его понимаю: хотелось поставить советскую власть по стойке «смирно». Все-таки надо учесть, как грубо его «выдворяли», не спросив даже, в какую страну он хотел бы выехать. Но ведь кроме советской власти есть еще народ, которому тоже надлежит принять какую-то стойку перед этим отцепляемым вагоном. Мы ведь — страна спецраспределителей, спецпайков, спецрейсов, спецмашин, и вот появляется спецвагон, и к нему спешат граждане со спецхлебом и спецсолью. Что за притча такая — и зачем она? Если уж замаячили восточные ассоциации, то хорошо бы вспомнить «вермонтскому отшельнику»: пророки так не приезжают. Они приез-

жают на осле, на ишаке, в рваном бешмете и в запыленной чалме, а то они и пешком приходят, босые, у них ноги разбиты в кровь. А что же, во времена пророков не было другого транспорта? Почему же не было, были прекрасные арабские скакуны. Но их почему-то легенда не предоставляет пророкам, это — для воителей, для полководцев, для прочих оперных персонажей. Вот так... Затем он совершил еще две ошибки: он пошел выступать в Думу и он встретился с глазу на глаз с президентом. То есть и в том и в другом случае воспользовался привилегиями — и нобелевского лауреата, и незаслуженного изгнанника. Но у писателя не может быть никаких привилегий. Особенно если он собирается стать скребущей песчинкой. Я бы, скажем, не мог выступить в Думе, меня туда не пустят. Я не смог бы и с Ельциным поговорить с глазу на глаз, хотя мне тоже, может случиться, было бы что сказать ему. Ни у меня, ни у моих коллег таких привилегий нет. И вот когда оттеснили Солженицына от телевидения, это, конечно, хамство, это против его заслуг и его славного имени, но это, возможно, и расплата за те три ошибки. И вот это всего печальней.

Спрашивают о новой вещи — «Долог путь до Типперэри», из которой я вам сейчас прочел главу. Этот роман начинается с моего похода к Зошенко, в августе 46-го года, после доклада Жданова, и заканчивается августом 91-го. Видите, сколько годков надо уложить приблизительно в три журнальных номера. Это страшно трудно, приходится изобретать разного рода приемы. А в целом — это вещь о том, как, однажды став на тропу сопротивления, трудно, да почти невозможно с нее сойти. В конце концов она приводит к изгнанию, к отчуждению, к весьма нежелательным переживаниям. Там будут эпизоды из моей ленинградской и московской жизни — Суворовское училище, университет, арест матери, — и эмиграция будет, мое нынешнее житье в Германии, все каким-то боком должно войти.

Вот какой вопрос: как-то Иосиф Бродский сказал, что ему не важно, где стоит его письменный стол, ему пишется одинаково хорошо и в Ленинграде, и в Нью-Йорке, и меня в связи с этим спрашивают, уютно ли мне в Германии, не планирую ли я вернуться в Россию. Мне, пожалуй, тоже все равно, где стоит мой стол, но не все равно — где жить. Я всегда считал, что писатель должен подвергаться тому же давлению жизни, которое испытывает его читатель. Жить одной с ним жизнью, болеть его болячками. Тогда мотор души получает достаточно топлива, чтоб не терять интереса к своим согражданам. Я предпринимал попытки вернуться, но пока ощущаю к этому странное сопротивление. Мои коллеги написали письмо президенту, чтоб мне возвратили квартиру в Москве, по существу конфискованную в 83-м году, но тут решает Лужков — если вообще кто-нибудь что-то там решает, — а Лужков сказал: «У нас и своим квартир не хватает». Очевидно, я для него — не свой. Что, впрочем, и всегда я подозревал насчет чиновников. У Бродского вопрос стоял иначе, для него невозможно было возвращение в Россию. Нельзя, — говорил он, — возвращаться к бывшим возлюбленным. Но я никогда не переставал любить своих возлюбленных, и я бы хотел иметь возможность, как Аксенов или Войнович, жить на два дома. Я мало повидал Запад, хотел бы еще повидать, но если возьму российский внутренний паспорт, выехать мне будет трудненько. То, что другим можно, мне почему-то всегда было низзя...

Два вопроса на одну и ту же тему: «Как вы относитесь к власовскому движению, к Власову? В романе, в журнальном варианте все это было сказано не до конца». Отвечаю: я ведь не ставил себе целью написать роман о генерале Власове. Я хотел изобразить его всего в одном эпизоде. Но я так работаю, так изучаю материал, что если мне предстоит написать одну страничку, я прочту сто пятьдесят книжек по этой теме. И мой инте-

рес к власовскому движению был сразу же замечен славными нашими чекистами. Они, подозреваю, и родили эту легенду — будто бы я пишу роман о генерале Власове. Это им было нужно, чтобы прийти в мою квартиру с обыском. И они первым делом хватали мои листки и тут же при мне читали. Но я всей рукописи не держал дома, а если где-то упоминался Власов, то под именем «генерал Андреев». Удивительно, но и такую простую, прозрачную шифровку эти пинкертонеры разгадать не смогли... Как я отношусь к этому движению? Как к большой народной трагедии, всю глубину которой наша литература еще не постигла и не выразила. При этом меня не столько сам Власов интересует, сколько те люди, которые за ним пошли, повернули оружие против своих. К сожалению, многое скрыто в архивах, а хранители этих архивов — люди сверхнадежные. Из-за этого появляются и бродят разные слухи и домыслы — например, о зверской казни, которой подверглись Власов и его подельники. Будто бы их, после страшных пыток, подвешивали крюком под ребро или под челюсть или на рояльной проволоке, которая их резала до кости, и умирали они часами от кровопотери. Но вот недавно в Германии по телевидению показали фильм «Генерал Андрей Власов», там были кадры суда и казни. И меня поразило изумление на лицах этих двенадцати человек, когда им зачитывают смертный приговор. Похоже, они ожидали чего-то другого. Может быть, им обещали смягчение наказания, если покаются чистосердечно. Возможно, и такой был ход — но ведь он исключает пытки. И последний кадр — виселица, на ней шестеро, крайний справа — Власов, но на лицах не видно больших страданий, шрамов, следов крови. Может быть, для съемки привели трупы в порядок, это у нас умеют. Но я все же думаю, что была немудрящая пеньковая веревка, обычное трибунальское удушение. Помещается на виселице шестеро — ну, стало быть, в две смены, через пятнадцать минут, как положено...

Спрашивают, почему у меня не сложились отношения в журнале «Грани». Отвечаю: и журнал «Грани», и все издательство «Посев» принадлежат НТС, Народно-Трудовому Союзу российских солидаристов, организации сильно подозрительной и, как не раз подтвердилось, «бывшей в употреблении» — в борьбе с Демократическим движением в России. На сей счет бытуют два мнения: одни говорят, что если бы этой «партии» не существовало, КГБ ее непременно бы придумал, а другие — что и придумал, что это попросту его филиал на Западе. И какой же удобный филиал: вы помните знаменитое дело Якира-Красина, на чем их «раскололи», за что пригрозили статьей 64-й, предусматривающей высшую меру? Вместо того чтобы доказывать состав преступления, довольны лишь доказать «связь с НТС», а это куда как проще! Курьер их посетил, литературку оттуда получали — вот и связь. Ни с какой другой организацией этот номер бы не прошел, а «солидаристы» — они же сотрудничали с гитлеровцами. И только на этом двое непримиримых и неподкупных борцов с режимом — сломались. Мне из России виделась картинка даже трогательная: маленькая, но идейно сплоченная организация отважно борется с могучим и всепроникающим КГБ, и никак он ее раздавить не может. А здесь понемногу начинаешь понимать, что КГБ должен бы с этой организации пылинки сдувать, так она ему нужна, до зарезу.

Что касается чисто издательских моих отношений с «Посевом», то вели себя эти люди со мною грязно, просто жульнически, присваивали мои гонорары с переводных изданий — еще когда я жил в Москве и подвергался гонениям — вы уже догадались — «за связь с НТС». Выяснилось это поздно, когда более десяти лет прошло и миновал срок хранения документов, о чем они меня с большой радостью известили. Более подробно, с живыми фигурами и картинками, расскажу в романе «Долог путь до Типперэри».

Последний, кажется, вопрос: «Нравится ли вам быть писателем?» Это интересный вопрос. Очень не нравится. И что там может нравиться? Тяжелая и нудная работа, которая непонятно кому нужна, ведь тиражи стремительно падают. Тут вот спрашивали, как я отношусь к авангардистам. Так вот, помимо всех прочих причин, их вина, или вклад, тоже есть — они отогнали, отвратили читателя от журналов. Долгое время они были в «подполье», и мы многие говорили, что это несправедливо, нужно их печатать, дать им возможность проявить себя. Но едва они из своего «подполья», из своего «андерграунда» вылезли, как стали выталкивать из литературы шестидесятников, которые им помогли вылезти, зачастую помогали материально, поселяли в своих квартирах или на дачах. Ну что ж, спасибо им за это. Подтвердили тот постулат, что люди не прощают добра. Но главное — что же это за «авангард», который вот уже десять лет существует и никакой следующий авангард его не сменяет? Извините, но так с авангардами не бывает; одна заря, как сказал поэт, спешит сменить другую... И был у них исторический шанс — утвердить себя, да они его не смогли использовать, за десять лет не создали ни одного маломальски значительного произведения (кроме слова «милищанер» и тугой струи, которая звонко бьет в унитаз!), то есть такого произведения, которым бы они свою марку подкрепили: да, вот это авангард, не баран чихал! Чтобы как-то удержаться на плаву, они к себе пристегивают знаменитые имена — к примеру, Ерофеева Венедикта. Но он же к ним никакого отношения не имеет, он сугубый реалист, родоначальник нового жанра — реалистического абсурда. А вот читателя они отвратили. Я помню, когда в «Знамени» печатался «Верный Руслан», тираж был 985 тысяч, это же почти миллион, а сейчас осталось — тысяч 15—17. Та же трагедия у «Нового мира», только ему пришлось падать с высоты чуть не четырех миллионов. Вот что такое — быть писателем.

Есть мнение, что миновала эпоха «толстых» журналов, что компьютерная «виртуальная реальность» отвлекает людей от книги, и вообще-то писательство — профессия вымирающая. Объяснение, я бы сказал, некорректное. Ну, скажем, если б журнальный номер стоил не 10 тысяч рублей, а, как при Твардовском — 80 копеек, то и подписчиков было бы раз в 10—20 больше, и мы бы не говорили об угасании «толстого» журнала — нашей национальной формы общения писателя и читателя. А книга — величайшее изобретение человечества — вообще никогда не умрет, и она в конце концов поставит компьютер на его надлежащее место — быть вспомогательным инструментом, очень удобным и насущно необходимым, но не господствующим в культуре. Дело в другом — мы все высказались наконец, мы сказали все, что хотели сказать, и были выслушаны с пониманием и сочувствием; за такую свободу приходится платить, и мы платим обесцениванием нашего слова — надеюсь, кратковременным. Надо понять, что читатель прав — жизнь переменялась круто и меняется с каждым днем, другие проблемы волнуют читателя, и он ждет от нас нового слова. Наступает экзамен, неизбежный для всякого пишущего, — показать, насколько он готов это новое слово произнести. Выяснилось, что далеко не все эту переэкзаменовку выдерживают. Да уж такая наша доля — всю жизнь сдавать экзамен на зрелость, сколько бы лет ни отделяло нас от невозвратимой школьной поры и какие бы высокие отметки мы ни получали в прошлом...

Бостонское время. 1996. 9 октября

Из репортажа о творческом вечере Г. Владимирова в Morse Auditorium Бостонского университета. США, 20 сентября 1996 года.

СОДЕРЖАНИЕ

К спору о Ведерникове	5
О диалоге	45
Так начиналась победа	73
Три дня из жизни Холдена	80
Письмо в Президиум IV съезда писателей СССР	90
Письмо в Правление Союза писателей СССР	95
Лик моего народа? <i>К процессу Александра Гинзбурга</i>	100
Ответ Рою Медведеву на его «Открытое письмо Р.Б. Лерт»	104
К 60-летию А.Д. Сахарова	111
Письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Ю.В. Андропову	113
О лишении советского гражданства	118
Бремя свободы <i>Выступления на 35-й Посевской конференции</i>	120
Никаких неожиданностей не будет	125
Тамиздат и его влияние на процессы в России	132
Двадцать второе января	150
Вокруг 64-х клеток	156
Необходимое объяснение	162
Нужна «посадочная площадка» <i>Интервью журналу «Форум»</i>	175

Георгий Владимов. Бремя свободы

Письмо Андрея Тарковского 207

К 70-летию

Джерома Д. Сэлинджера 217

Трагедия верного Руслана

Интервью газете «Московские новости» 222

Ответы на анкету журнала «Иностранная литература» 230

Средняя икона 237

Москва, 1993,

или Какими вы не будете 249

Письмо Льву Аннинскому о «Верном Руслане» 256

Человек на все времена

На смерть А.Д. Сахарова 264

Какой зефир струит эфир 271

Три ошибки заговорщиков 276

А напоследок я скажу...

Из цикла «Вечера на хуторе близ Лубянки» 278

«Правда безобразна.

Мы встречаем ее с молитвой и мужеством»

Предновогодние ощущения 293

«Еще не покроются цветом деревья...» 300

Россия, которую мы не потеряли 310

Надо ли было идти к Белому дому? 316

К 60-летию Войновича 326

К 70-летию Григория Поженяна 332

Смена караула 338

Не перековываются мечи на орала 349

Сто тысяч «не» 355

В веках не померкнет 362

«Моей подписи там не найдёте»

Открывать архивы или не открывать? 364

Содержание

Ешьте икру ложками	375
По ком не звонит колокол	386
Дайте нам эвтаназию	
<i>Комментарий к одному интервью</i>	394
Великолепная семерка	403
К 70-летию Григория Бакланова	406
На другое утро	416
Кое-что о факторе глупости	419
Откуда взялся Жирик?	425
Только что же он сможет один...	
<i>К возвращению Солженицына</i>	430
Третья мировая?	434
Мы живём в стране, где покаяние всегда запаздывало, но никогда не оказывалось излишним	
<i>Речь на встрече старого Нового года и празднике журнала «Знамя»</i>	438
Что же она, подлая, сделала?	442
Вечер в Бостоне	
<i>Ответы читателям</i>	450

Георгий Николаевич Владимов

Сочинения

БРЕМЯ СВОБОДЫ

литературная критика • публицистика

Выпускающий редактор

А.В. Чубрикова

Мл. редактор

Е.А. Моргунова

Художественный редактор

С.А. Виноградова

Технический редактор

С.С. Басипова

Оператор компьютерной верстки

Е.В. Абрамова

Корректоры

Р.Ф. Зайнуллина, Е.В. Мартынова,

П. корректоры

В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Подписано в печать 18.07.2005.

Формат 84×108¹/₃₂.

Печать офсетная. Бумага писчая.

Тираж 3000 экз. Заказ № 713.

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

e-mail: vagrius@vagrius.com

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru